М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"



ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ
СКАЗКИ

ЛЕНИНГРАД «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1977

Р1
С16

РИСУНКИ М. ТАРАНОВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ Я. ЭЛЬСБЕРГА

СОСТАВЛЕНИЕ СБОРНИКА
И ПРИМЕЧАНИЯ М. ПОЛЯКОВА

$С \frac{70803-112}{М101(03)-77} 147-77$

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ





ПЕРВЫЙ РАССКАЗ ПОДЬЯЧЕГО[1]

Свежо предаиие, а верится с трудом...

— ...Нет, нынче не то, что было в прежнее время: в прежнее время народ как-то проще, любовнее был. Служил я, теперича, в земском суде[2] заседателем, триста рублей бумажками[3] получал, семейством угнетен был, а не хуже людей жил. Прежде знали, что чиновнику тоже пить-есть надо, ну, и место давали так, чтоб прокормиться было чем... А отчего? оттого, что простота во всем была, начальственное снисхождение было — вот что́!

---

[1] Подьячий — в дореформенной России мелкий чиновник, писец в канцелярии.

[2] Земский суд — уездный полицейско-следственный и судебный орган; был упразднен в 1862 году.

[3] «Триста рублей бумажками». — В дореформенной России деньги делились на бумажные (ассигнации) и серебряные. По старому денежному счету рубль серебром равнялся $3^1/_2$ рублям ассигнациями.

Много было у меня в жизни случаев, доложу я вам, случаев истинно любопытнейших. Губерния наша дальняя, дворянства этого нет, ну, и жили мы тут как у Христа за пазушкой; съездишь, бывало, в год раз в губернский город, поклонишься чем бог послал благодетелям и знать больше ничего не хочешь. Этого и не бывало, чтоб под суд попасть или ревизии там какие-нибудь, как нынче, — все шло себе как по маслу. А вот вы, молодые люди, поди-ка, чай, думаете, что нынче лучше, народ, дескать, меньше терпит, справедливости больше, чиновники бога знать стали. А я вам доложу, что все это напрасно-с; чиновник все тот же, только тоньше, продувнее стал.. Как послушаю я этих нынешних-то, как они и про экономию-то и про благо-то общее начнут толковать, инда злость под сердце подступает.

Брали мы, правда, что брали — кто богу не грешен, царю не виноват? да ведь и то сказать, лучше, что ли, денег-то не брать, да и дела не делать; как возьмешь, оно и работать как-то сподручнее, поощрительнее. А нынче, посмотрю я, всё разговором занимаются, и всё больше насчет этого бескорыстия, а дела не видно, и мужичок — не слыхать, чтобы поправлялся, а кряхтит да охает пуще прежнего.

Жили мы в тѐ поры, чиновники, все промеж себя очень дружно. Не то чтоб зависть или чернота какая-нибудь, а всякий друг другу совет и помощь дает. Проиграешь, бывало, в картишки целую ночь, всё дочистà спустишь, — как быть? ну, и идешь к исправнику[1]: «Батюшка, Демьян Иваныч, так и так, помоги!» Выслушает Демьян Иваныч, посмеется начальнически: «Вы, мол, сукины дети, приказные[2], и деньгý-то сколотить не умеете, всё в кабак да в карты!» А потом и скажет: «Ну, уж нечего делать, ступай в Шарковскую волость подать[3] сбирать». Вот и поедешь; подати-то не соберешь, а ребятишкам на молочишко будет.

И ведь как это все просто делалось! Не то чтоб ис-

---

[1] Исправник — начальник уездной полиции в царской России. Ои объедннял в одиом лице адмннистративную власть, следователя и судью.

[2] Прнказные — чиновннкн, служащие в приказе (в стариину — правительственное учреждение).

[3] Подать — подушный налог, взнмавшнйся с крестьяи и мещан царской России.

тязание или вымогательство какое-нибудь, а приедешь этак, соберешь сход.

«Ну, мол, ребятушки, выручайте! царю-батюшке деньги надобны, давайте подати».

А сам идешь себе в йзбу да из окошечка посматриваешь: стоят ребятушки да затылки почесывают. А потом и пойдет у них смятение, вдруг все заговорят и руками замахают, да ведь с час времени этак-то прохлаждаются. А ты себе сидишь, натурально, в избе да посмеиваешься, а часóм и сотского[1] к ним вышлешь: «будет, мол, вам разговаривать — барин сердится». Ну, тут пойдет у них суматоха пуще прежнего; начнут жеребий кидать — без жеребья русскому мужичку нельзя. Это, значит, дело идет на лад, порешили идти к заседателю, не будет ли божецкая милость обождать до заработков.

— Э-э-эх, ребятушки, да как же с батюшкой-царем-то быть! ведь ему деньги надобны; вы хошь бы нас, своих начальников, пожалели!

И все это ласковым словом, не то чтоб по зубам да за волосы: «Я, дескать, взяток не беру, так вы у меня знай, каков я есть окружной!» — нет, этак лаской да жаленьем, чтоб насквозь его, сударь, прошибло!

— Да нельзя ли, батюшка, хоть до покрова обождать?

Ну, натурально, в ноги.

— Обождать-то, для че не обождать, это все в наших руках, да за что ж я перед начальством в ответ попаду — судите сами.

Пойдут ребята опять на сход, потолкуют-потолкуют, да и разойдутся по домам, а часика через два, смотришь, сотский и несет тебе за подожданье по гривне с души, а как в волости-то душ тысячи четыре, так и выйдет рублев четыреста, а где и больше... Ну, и едешь домой веселее.

А то вот у нас еще фортель какой был — это обыск повальный. Эти дела мы приберегали к лету, к самой страдной поре. Выедешь это на следствие и начнешь весь окольный народ сбивать; мало одной волости, так и другую прихватишь — всех тащи. Сотские же у нас были народ живой, тертый — как есть на все руки. Сгонят человек триста, ну, и

[1] Сотский — низшее должностное лицо сельской полиции, избиравшееся сельским сходом.

лежат онн на солнышке. Лежат день, лежат другой; у иного н хлеб, что из дому взял, на нсходе, а ты себе сндишь в избе, будто взаправду заннмаешься. Вот как вндят, что время уходнт — полевая-то работа не ждет, — ну, н начнут засылать сотского: «нельзя лн, дескать, явнть мнлость, спросить, в чем следует». Тут и смекаешь: коли ребята сговорчивые, отчего ж нм удовольствие не сделать, а колн больно много артачнться станут, ну н еще погодят денек-другой. Главноё тут дело характер нметь, ие скучать бездельем, ие гнушаться нзбой да кнслым молоком. Увндят, что человек-то дельный, так н поддадутся, да и как еще: прежде по гривенке, может, проснл, а тут шалишь! по трн пятака, дешевле не могн н думать. Покончнвшн это, н переспросншь нх всех скопом:

— Каков, мол, такой-то Трнфон Сндоров? мошеннпк?

— Мошеннпк, батюшка, что н говорнть — мошеннпк.

— А ведь он лошадь-то у Мокея украл? он, ребята?

— Он, батюшка, он должно́.

— А грамотные из вас есть?

— Нет, батюшка, какая грамота!

Это говорят мужнчкн уж повеселее: знают, что, значит, отпуск сейчас им будет.

— Ну, ступайте с богом, да вперед будьте умнее.

И отпустишь через полчаса. Оно, конечно, дела немного, всего на несколько мннут, да вы посуднте, сколько тут вытерпншь: суткн двое-трое сложа рукн сндншь, кнслый хлеб жуешь... другой бы н жнзнь-то всю проклял — ну, ннчего такнм манером н не добудет.

Всему у нас этому делу учнтель н заводчнк был уездный наш лекарь. Этот человек был подлнино, доложу вам, необыкновенный н на все дела преостроумнейшнй! Мннистром ему быть настоящее место по уму; один грех был: к напитку нмел не то что прнстрастне, а так — какое-то остервененне. Увиднт, бывало, графин с водкой, так н задрожнт весь. Конечно, и все мы этого прндержнвалнсь, да всё же в меру: сидишь себе да благодушествуешь, н много-много что в подпнтнн; ну а он, я вам доложу, меры не знал, напнвался даже до безобразия лнца.

— Я еще как ребенком был, — говорит, бывало, — так мамка меня с ложечкн водкой понла, чтобы не ревел, а семи лет так уж и родитель по стаканчнку на день отпущать стал.

Так вот этакой-то про́йда[1] и наставлял нас всему.

— Мое, — говорит, — братцы, слово будет такое, что никакого дела, будь оио самой святой пасхи святее, ие следует делать даром: хоть гривеиник, а слупи, руки́ ие порти.

И уж выкидывал же ои колеиа — утешеиье вспомнить! Утонул ли кто в реке, с колокольии ли упал и расшибся — все это ему рука. Да и времеиа были тогда другие: нынче об таких случа́ях и дел заводить ие велеио, а в те поры всякое мертвое тело есть мертвое тело. И как бы вы думали: иу, утоиул человек, расшибся; кажется, какая тут корысть, чем тут попользоваться? А Иваи Петрович зиал чем. Приедет в деревию, да и иачнет утоплеиника-то пластать; натурально, поиятые[2] тут, и фельдшер тоже, собака такая, что хуже самого Иваиа Петровича.

— А иу-ка, ты, Гришуха, держи-ко покойиика-то за́ нос, чтоб мие тут ловчей резать было.

А Гришуха (из понятых) смерть покойиика боится, на пять сажеиь и подойти-то к нему не смеет.

— Ослобони, батюшка Иваи Петрович, смерть ие могу, нутро измирает!

Ну, и освобождают, разумеется, за посильиое приношение. А то другого заставляет виутренности держать; сами рассудите, кому весело мертвечииу ослизлую в руке иметь, иу, и откупаются полегоиьку, — аи, глядишь, и иаколотил Иваи Петрович рубликов десяток, а и дело-то все пустяковое.

Одиако и страх божий тоже имел: убийцу или душегуба не покроет.

— Вы, братцы, этого греха и иа душу ие берите, — говорит, бывало. — За этакие дела и под суд попасть можио. А вы мошеиника-то откройте, да и себя не забывайте.

— Да как же, мол, это так, Иваи Петрович? — спрашиваем мы.

— А вот как. Убийца-то он одии, да зиакомых да сватовей у иего чуть не целый уезд; ты вот и поди перебирать всех этих зиакомых, да и преступиика-то подмасли, чтоб он

---

[1] Пройда — проходимец.

[2] Понятые — свидетели, приглашаемые во время ареста, следствия и т. п.

побольше народу оговарнвал: был, мол, в таком-то часу у такого-то крестьяннна, не пошел лн от него к такому-то, а часы выбнрай те, которые нужно... ну, и привлекай и прнвлекай. Еслн умен да дело знаешь, так много тут божьего народа спутать можно; а потом и начннай распутывать. Разумеется, все этн оговоры вздор и кончатся пустякамн, да ты-то дело свое сделал: и мужичка от напраслнны очистил, н сам сердечную благодарность получил, н преступннка уличил.

А то была у нас и такая манера: заведешь, бывало, следствне, прнмерно хоть по конокрадству; облупишь мошеннника, да и пустишь на волю. Смотрншь, через месяц опять попался — опять слупншь и опять выпустншь. До тех, сударь, пор этак действуешь, покуда на голубчике, что называется, лягушечьего пуха не останется. Ну, тогда уж шалишь, любезный, ступай в острог н взаправду. Оно, вы скажете, скверно преступннка покрывать, а я вам доложу, что не покрывать, а прнмерно, значнт, пользоваться обстоятельствамн дела. Ведь мы знаем, что он наших рук не минует, так отчего ж н не потешить его?

Жил у нас в уезде купчина, мнллионщик, фабрику нмел кумачную, большне дела вел. Ну, хоть что хочешь, нет нам от него прнбыли, да н только! так держнт ухо востро, что на̀поди. Разве только ннogда чайком попотчует да бутылочку холодненького разопьет с нами — вот и вся корысть. Думалн мы, думалн, как бы нам этого подлеца купчншку на дело натравить — не ндет, да н все тут, даже зло взяло. А купец вндит это, смеяться не смеется, а так, равнодушествует, будто не замечает.

Что ж бы вы думалн? Едем мы однажды с Иваном Петровнчем на следствне: мертвое тело нашли неподалеку от фабрнкн. Едем мы это мнмо фабрнки н разговарнваем меж себя, что вот подлец, дескать, нн на какую штуку не лезет. Смотрю я, однако, мой Иван Петровнч задумался, н как я в него веру большую нмел, так н думаю: выдумает он что-ннбудь, право выдумает. Ну и выдумал. На другой день снднм мы это утром и опохмеляемся.

— А что, — говорнт, — дашь половнну, колн купец тебе тысячи две отвалнт?

— Да что ты, Иван Петровнч, в уме лн — две тысячи!

— А вот увндишь; саднсь н пншн: «Свнногорскому 1-й

гильдии[1] купцу Платону Степанову Троекурову. Ведение. По показаниям таких-то и таких-то поселян (валяй больше), вышепоименованное мертвое тело, по подозрению в насильственном убитии, с таковыми же признаками бесчеловечных побоев, и притом рукою некоего злодея, в предшедшую пред сим ночь скрылось в фабричном вашем пруде. А посему благоволите в оный для обыска допустить».

— Да помилуй, Иван Петрович, ведь тело-то в шалаше на дороге лежит!

— Уж делай, что говорят.

Да только засвистал свою любимую *При дороженьке стояла,* а как был чувствителен и не мог эту песню без слез слышать, то и прослезился немного. После я узнал, что он и впрямь велел сотским тело-то на время в овраг куда-то спрятать.

Прочитал борода[2] наше ведение, да так и обомлел. А между тем и мы следóм на двор. Встречает нас бледный весь.

— Не угодно ли, мол, чаю откушать?

— Какой, брат, тут чай! — говорит Иван Петрович. — Тут нечего чаю, а ты пруд спущать вели.

— Помилуйте, отцы родные, зá что разорять хотите!

— Как разорять! Видишь, следствие приехали делать — указ есть.

Слово за словом, купец видит, что шутки тут плохие, хочь и впрямь пруд спущай, заплатил три тысячи, ну и дело покончили. После мы по пруду-то маленько поездили, крючьями в воде потыкали и тела, разумеется, никакого не нашли. Только, я вам скажу, на угощенье, когда уж были мы все выпивши, и расскажи Иван Петрович купцу, как все дело было; верите ли, так обозлилась борода, что даже закоченел весь.

Чудовый это был человек, нечего и говорить. За что ни возьмется, все у него так выходит, что любо-дорого смотреть. Кажется, пустая вещь оспоприиванье, а он и тут сумел найтись. Приедет, бывало, в расправу и разложит все эти аппараты: токарный станок, пилы разные, подпилки, свёрла, на-

[1] Гильдия — один из разрядов, на которые делилось купечество в зависимости от величины капитала; к первой гильдии принадлежали наиболее богатые купцы.

[2] Так чиновники презрительно называли купцов.

ковальни, ножи такие страшнейшие, что хоть быка ими резать; как соберет на другой день баб с ребятами — и пошла вся эта фабрика в действие: ножи точат, станок гремит, ребята ревут, бабы стонут, хоть святых вон понеси. А он себе важно этак похаживает, трубочку покуривает, к рюмочке прикладывается да на фельдшеров покрикивает: «точи, дескать, вострее». Смотрят глупые бабы да пуще воют.

— Смотри, тетка, ведь совсем робенка-то изведет ножищем-то. Да и сам-то вишь пьяный какой!

Повоют-повоют, да и начнут шептаться, а через полчаса, смотришь, и выйдет всем одно решенье: даст кто целковый — ступай домой, а не даст, так всю руку на́прочь.

Или вот, сударь, холера; в ту пору она к нам в первый раз в гости пожаловала; однако губернию нашу бог миловал. Получаем мы это из губернского города указ, что, мол, так и так, принять бдительные меры. Думали мы долго, какие тут меры брать, и все не придумали, а насупротив воли начальства идти не осмеливались. «Дураки, говорит, вы все; вот посмотрите, какие я меры приму». И точно, поехал он на другой день в уезд и взял с собой — что бы вы думали? да нет, не угадаете! — взял, сударь, один клистир!!! В какую волость приедет, народ собьет и говорит:

— Вот, ребята, холера промеж вас ходит, начальство лечить велит; раздевайтесь все.

— Да помилуй, Иван Петрович, мы как есть всем здоровы.

— Это ты, дура-борода, глупым делом так рассуждаешь, а вот видишь указ!

— Видим, батюшка.

— А вот это видите, православные?

Показывает им клистир.

— А штука эта такая, что начальством самим для вас прислана, и кто даст за лекарство двугривенный, тому будет только кончик, а кто не даст, весь всажу! Поняли?

Мнутся мужички, не надувает ли, мол, лекаришка, да нет, бумагу показывает, и не белую бумагу, а исписанную. Ну, и кончается дело, как всегда. Таким-то манером он все до одной волости изъездил; сколько он тогда денег привез! да над нами же потом и смеется!

И ведь не то чтоб эти дела до начальства не доходили: доходили, сударь, и изловить его старались, да не на того

напали — такие штуки отмачивает под носом у самого начальства, что только помираешь со смеху. Был у нас это рекрутский набор[1] объявлен; ну, и Иван Петрович, само собою, живейшее тут участие принимал. Такие случаи, доложу вам, самые были для него выгодные, и он смеючись набор своим сенокосом звал. На ту пору был начальником губернии такой зверь, что у!!! (и в старину такие скареды прорывались). Вот и вздумал он поймать Ивана Петровича, и научи же он мещанинишку: «поди, мол, ты к лекарю, объясни, что вот так и так, состою на рекрутской очереди, не по сущей справедливости, семейство большое, не будет ли отеческой милости». И прилагательным снабдили, да таким, знаете, всё полуимперьялами[2], так, чтоб у лекаря нутро разгорелось, а за оградой и свидетели и все как следует устроено: погиб Иван Петрович, да и все тут. Только узнал он об этой напасти за́годя, от некоторого милостивца, и сидит себе как ни в чем не бывало. Ну, и подлинно приходит это мещанинишка, излагает все обстоятельно и прилагательное на стол кладет. Как он все это рассказал, как взбеленится мой Иван Петрович да на него:

— Ка-а-к! ты подкупать меня! Да разве я фальшивую присягу-то принял! Душе, что ли, я своей ворог, царствия небесного не хочу!

Да как хватит кулаком по столу — золотушки-то и покатились по полу, а сам еще пуще кричит:

— Вон с моих глаз, анафема![3] гони его, вот так, в шею его, кулаками-то в загорбок!

Мещанинишку выгнали да на другой день не смотря и забрили в присутствии[4]. А имперьяльчики-то с полу подняли! Уж что смеху у нас было!

Женился он самым, то есть, курьезнейшим образом. Обещал ему тесть пять тысяч, а как дело кончилось — не дает, да и шабаш. И не то чтоб денег у него не было, а так, сквалыга был, расстаться с ними жаль. Ждет Иван Петрович месяц, ждет другой: кажной-то день жену бьет, а тестя непри-

[1] Рекрутский набор — призыв новобранцев в солдаты.

[2] Полуимперьял — пять рублей золотом (империал — русская золотая монета в 10 рублей; после 1897 года — в 15 рублей).

[3] Анафема — здесь: проклятый.

[4] «Забрили в присутствии» — то есть взяли в солдаты в рекрутском присутствии (учреждении по набору новобранцев).

стойно обзывает — не берет. А деньги получать надо. Вот и слышим мы как-то: болен Иван Петрович, в белой горячке лежит, на всех это кидается; попадись под руку ножик — кажется, и зарежет совсем. И так, сударь, искусно он всю эту комедию подделал, что и нас всех жалость взяла. Жену бил пуще прежнего, из окошка, сударь, прыгал, по улицам в развращенном виде бегал — вся срамота как есть наружу! Городничему[1] — уж на что был душевный друг — непристойностью все лицо перепакостил и усы заклеил. Вот, покуролесивши этак с неделю, выходит он однажды ночью — и прямо в дом к тестю, а в руках у него по пистолету.

— Ну, — говорит, — подавай теперь деньги, а не то, видит бог, пришибу.

Старик перепугался.

— Ты, — говорит, — думаешь, что я и впрямь с ума спятил, так нет же, все это была штука. Подавай, говорю, деньги или прощайся с жизнью; меня, — говорит, — на покаянье пошлют, потому что я не в своем уме — свидетели есть, что не в своем уме, — а ты в могилке лежать будешь.

Ну, конечно-с, тут разговаривать нечего: хочь и ругнул его тесть, может и чести коснулся, а деньги все-таки отдал. На другой же день Иван Петрович как ни в чем не бывало. И долго от нас таился, да уж после, за пуншиком, всю историю рассказал, как она была...

И не себя одного, а и нас, грешных, неоднократно выручал Иван Петрович из беды. Приезжала однажды к нам в уезд особа, не то чтоб для ревизии, а так — поглядеть.

Однако пошли тут просьбы да кляузы разные, как водится, и всё больше на одного заседателя. Особа была добрая, однако рассвирепела. «Подать, — говорит, — мне этого заседателя».

А он, по счастью, был на ту пору в уезде, на следствии, как раз с Иваном Петровичем. Вот и дали мы им знать, что будут завтра у них их сиятельство, так имели бы это в предмете, потому что вот так и так, такие-то, мол, их сиятельство

[1] Городничий. — До середины XIX века так назывался начальник уездного города, которому были подчинены все городские власти (полиция и низшие судебные учреждения).

речи держит. Струсил наш заседатель, сконфузился так, что и желудком слабеть начал.

— А что, — говорит Иван Петрович, — что дашь? выручу из беды.

— Да жизни не пожалею, Иван Петрович, будь благодетель.

— Что мне, брат, в твоей жизни, ты говори дело. Выручать так выручать, а не то выпутывайся сам как знаешь.

Сторговались они, а на другой день и приезжают их сиятельство ранёхонько. Ну и мы, то есть весь земский суд, натурально, тут, все в мундирах; одного заседателя нет, которого нужно.

— А где заседатель Томилкин? — спрашивают их сиятельство.

— Имею честь явиться, — отвечает Иван Петрович.

Мы так и похолодели.

А их сиятельство и не замечают, что мундир-то совсем не тот (даже мундира не переменил, так натуру-то знал): зрение, должно полагать, слабое имели.

— На вас, — говорят, их сиятельство, — множество жалоб, и притом таких, что мало вас за все эти дела повесить.

— Невинно, видит бог, невинно оклеветали меня враги перед вашим сиятельством; осмелюсь униженно просить выслушать меня и надеюсь вполне оправдаться, но при свидетелях ощущаю робость.

Их сиятельство уважили; пошли они это в другую комнату; целый час он там объяснял: что и как — никому не известно, только вышли их сиятельство из комнаты очень ласковы, даже приглашали Ивана Петровича к себе, в Петербург, служить, да отказался он тем, что скромен и столичного образования не имеет.

А ведь и дел-то он тех в совершенстве не знал, о которых его сиятельству докладывал, да на остроумие свое понадеялся, и не напрасно.

Один был грех на его душе, великий грех — инородца[1]

[1] Инородцами в царской России официально называли людей, принадлежавших к какой-либо из народностей, составлявших национальное меньшинство. В этом названии отразилась великодержавная политика царской России.

загубил. Вот это как было. Уезд наш, известно вам, господа, лесной, и всё больше живут в нем инородцы. Народ простодушнейший и зажиточный. Только уж очень неопрятно себя держат, и болезни это у них иностранные развелись так, что из рода в род переходят. Убьют они это зайца, шкуру с него сдерут да так, не потроша, и кидают в котел варить, а котел-то не чищен, как сделан; одно слово, смрад нестерпимый, а они ничего, едят все это месиво с аппетитом. С одной стороны, и не сто́ит этакой народ, чтоб на него внимание обращать: и глуп-то, и необразован, и нечист — так, истукан какой-то. Вот ходил один инородец белку стрелять, да и угораздил его каким-то манером невзначай плечо себе прострелить. Хорошо. Само собой, следствие; ну, невзначай так невзначай, и суд уездный решил дело так, что предать, мол, это обстоятельство воле божьей, а мужика отдать на излечение уездному лекарю. Получил Иван Петрович указ из суда — скучно ехать, даль ужасная! однако вспомнил, что мужик зажиточный, недели с три пообождал, да как случилось в той стороне по службе быть, и к нему заодно заехал. А у того между тем и плечо-то совсем зажило. Приехал, теперича, прочитал указ.

— Раздевайся, — говорит.

— Да у меня, бачка́, пле́чом савсем здоров, — говорит мужик, — уже пятым неделем здоров.

— А это видишь? видишь, идолопоклонник ты этакой, указ его императорского величества? видишь, лечить тебя велено?

Делать нечего, разделся мужик, а он ему и ну по живому-то месту ковырять. Ревет дурак благим матом, а он только смеется да бумагу показывает. Тогда только кончил, как тот три золотых ему дал.

— Ну, — говорит, — бог с тобой.

Понадобились Ивану Петровичу опять деньги, он опять к инородцу лечить, да таким манером больше году его томил, покуда всех денег не высосал. Исхудал мужичонка, не ест, не пьет — бредит лекарем. Однако как заметил, что тут взятки-то гладки, перестал ездить. Отдохнул мужик и смотреть веселее стал. Вот однажды и случилось какому-то чиновнику, совсем постороннему, проезжать мимо этой деревни, и спроси он у посе́лян, как, мол, живет такой-то (его многие чиновники, по хлебосольству, знавали). Вот и говорят мужику,

что тебя, мол, какой-то чиновник спрашивал. Что ж, сударь? представься ему, что это опять лекарь лечить его хочет; пошел домой, ничего никому не сказал, да за ночь и удавился.

Ну, это, я вам доложу, точно грех живую душу таким родом губить. А по прочему по всему чудовый был человек, и прегостеприимный — после, как умер, нечем похоронить было: всё, что ни нажил, все прогулял! Жена до сих пор пó миру ходит, а дочки — уж бог их знает! — кажись, по ярмонкам ездят: из себя очень красивы.

Так вот-с какие люди бывали в наше время, господа; это не то что грубые взяточники или с большой дороги грабители; нет, всё народ аматёр[1] был. Нам и денег, бывало, не надобно, коли сами в карман лезут; нет, ты подумай да прожект составь, а потом и пользуйся.

А нынче что! нынче, пожалуй, говорят, и с откупщика[2] не бери. А я вам доложу, что это одно только вольнодумство. Это все единственно, что деньги на дороге найти, да не воспользоваться...

— Как же вы-то попались, Прокофий Николаич, если в ваше время все так счастливо сходило?

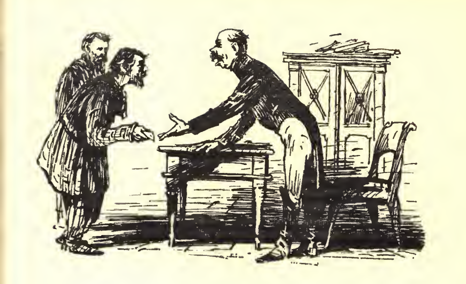
— Ох, уж и не говорите! На таком деле попался, что совестно сказать, — на мертвом теле. Эта у нас музыка-то по нотам разыгрывалась, а меня на ней-то и попутал лукавый. Дело было зимнее; мертвое-то тело надо было оттаять; вот и повезли мы его в что ни на есть большую деревню, ну, и начали, как водится, по домам возить да отсталого собирать. Возили-возили, покуда осталась одна только изба: солдатка-вдова там жила; той и заплатить-то нечего было — ну, там мы и оставили тело. Собрали на другой день понятых, — ну, и тут, разумеется, покорыстоваться желалось: так чтоб не разошлись они по домам, мы и отобрали у них шапки, да в избу и заперли. Только не совсем осторожно это дело состроили, больно многие это заприметили. А на ту пору у нас губернатор — такая ли собака был, и теперь еще его помню, чтоб ему пусто было. Сейчас это отрешили от должности, и пошла писать. Уличить-то меня доподлинно не уличили, а

[1] Аматёр — любитель, охотник до чего-нибудь.
[2] Откупщик — купец, который за деньги приобретал право на какой-нибудь род государственных доходов или налогов в царской России.

облакостили всего да суду предали. И верите ли, ведь знаю я, что меня *учинят от дела свободным,* потому что улик прямых нет, так нет же, злодеи, истомили всего. Лет десять всё волочат: то справки забирают, то следствие дополняют. А я вот сиди без хлеба да жди у моря погоды.

1856 г.





ВТОРОЙ РАССКАЗ ПОДЬЯЧЕГО

— А вот городничий у нас был — этот другого сорта был мужчина, и подлинно гусь лапчатый назваться может. Прозывался он Фейером, родом был из немцев; из себя не то чтоб видный, а больше жилистый, белокурый и суровый. То и дело, бывало, брови насупливает да усами шевелит, а разговаривает совсем мало. Уж это, я вам доложу, самое последнее дело, коли человек белокурый да суров еще: от такого ни в чем пардону[1] себе не жди. Снаружи-то он будто и не злобствует, да и внутри, может, нет у него на тебя негодования, однако хуже этого человека на всем свете не сыщешь: весь как есть злющий. Уж что забрал себе в голову — не выбьешь оттоль никакими средствами, хошь режь ты его на куски. Уж на что Иван Петрович, а и тот его побаивался. Говорил он басом, как будто спросонья, и все так кратко — одно-два

[1] То есть пощады, прощения.

слова, больше изо рта не выпустит. А на дела и на всю эту полицейскую механику был предошлый: готов не есть, не пить целые сутки, пока всего дела не приделает. Начальство наше все к нему приверженность большую имело, потому как, собственно, он из воли не выходил и все исполнял до точности: иди, говорит, в грязь — он и в грязь идет, в невозможности возможность найдет, из песку веревку совьет, да ею же кого следует и удавит.

По той единственной причине ему все его противоестественности с рук и сходили, что человек он был золотой. Напишут это из *губернии* — рыбу непременно к именинам надо, да такая чтоб была рыба, кит не кит, а около того. Мечется Фейер как угорелый, мечется и день и другой — есть рыба, да все не такая, как надо: то с рыла вся в именинника вышла, скажут: личность; то моло́к мало, то перо́м не выходит, величественности настоящей не имеет. А у нас в губернии любят, чтоб каждая вещь в своем, то есть, виде была. Задумается Фейер, да и засадит всех рыболовов в сибирку[1]. Те чуть не плачут.

— Да помилуй, ваше благородие, где ж возьмешь эку рыбу?

— Где? А в воде?

— В воде-то, знамо дело, что в воде; да где ее искать-то в воде?

— Ты рыболов? говори, рыболов ли ты?

— Рыболов-то я точно что рыболов...

— А начальство знаешь?

— Как не знать начальства: завсегда знаем.

— Ну, следственно...

И являлась рыба, и такая именно, как быть следует, во всех статьях.

Или, бывало, желательно губернии перед начальством отличиться. Пишут Фейеру из губернии, был чтоб бродяга, и такой бродяга, чтобы в нос бросилось. Вот и начнет Фейер по городу рыскать, и все нюхает, к огонькам присматривается, нет ли где сборища.

Попадаются все больше бабы.

— Откуда? — спрашивает Фейер.

— Да я, ваше благородие, оттуда, из села из того...

---

[1] Сибирка — здесь: арестантское помещение, тюрьма.

— Откуда? — повторяет Фейер.

— А вот, ваше благородие, по сиротству, по четвертому годку от родителей осталась...

— Обыскать ее!

Однако от начальства настояние, а об старухе какой-нибудь безногой докладывать не осмеливается. Вот и нападет уже он под конец на странника заблудшего, так, бродягу бесталанного.

— Ты, — говорит, — кто таков?

— А я, ваше благородие, с малолетствия по своей охоте суету мирскую оставил и странником нарекаюсь; отец у меня царь небесный, мать — сыра земля; скитался я в лесах дремучих со зверями дикими, в пустынях жил со львы лютыми; слеп был и прозрел, нем — и возглаголал. А более ничего вашему благородию объяснить не могу, по той причине, что сам об себе сведений никаких не имею.

— А это что?

Возьмет он сумку странническую, а там всё цветнички да записочки разные, а в записочках-то уж чего-чего не наврано! И «горнего-то Иерусалима жителю», и «райского жития ревнителю», и «паче звезд небесных добродетелями изукрашенному»!

— Это что́? — спрашивает Фейер.

— А это так-с, ваше благородие; намеднись на базаре ходил, так в снегу в тряпочке нашел-с.

— Марш!

Повлекут раба божия в острог, а на другой день и идет в губернию пространное донесение, что вот так и так, «имея неусыпное попечение о благоустройстве города» — и пошла писать. И чего не напишет! И «изуверство», и «деятельные сношения с единомышленниками», и «плевелы», и «жатва» — все тут есть.

Случалось и мне ему в этих делах содействовать — истинно-с диву дался. Выберем, знаете, время — сумеречки, понятых возьмем, сотских человек пяток, да и пойдем с обыском. И все врассыпную, будто каждый по своему делу. Как подходишь, где всему происшествию быть следует, так не то чтоб прямо, а бочком да ползком пробираешься, и сердце-то у тебя словно упадет, и в роту сушить станет. Ворота и ставни — все наглухо заперто. Походит Фейер около дома, приищет скважинку и начнет высматривать, а мы все стоим молчим,

не шелохнемся. Собака начнет ворчать, у него и хлебца в руке есть, и опять все затихнет. Как все заприметит, что ему нужно, ну и велит в ворота стучаться, а сам покуда все в скважинку высматривает.

— Кто тут? — кричат изнутри.

— Городничий.

Известное дело, смятение; начнут весь свой припас прятать, а ему все и видно. Отопрут наконец. Стоят они все бледные; бабы, которые помоложе, те больше дрожат, а старухи так совсем воют. И уж все-то он углы у них обшарит, даже в печках полюбопытствует и все оттоль повытаскает.

Смолоду, однако, жизнь его совсем не такая была. Отец у него был человек богатый и дворянин и нашему Фейеру, сказывают, восемьсот душ оставил. Однако он не долго с ними носился: годика через два все спустил. И не то чтоб на что-нибудь путное, а так все прахом пошло. Служил он где-то в гусарах — ну, на жидов охоту имел: то возьмет да собаками жида затравит, то посадит его по горло в ящик с помоями да над головой-то саблей и махнет, а не то еще заложит их тройкой в бричку, да и разъезжает до тех пор, пока всю тройку не загонит. Таким-то родом и прожил он все, да как остался без хлеба, так откуда и ум взялся. Такой ли зверь сделался, что боже упаси.

Женат он не был, а жила с ним девица не девица, а просто мадам. Звали ее Каролиной, и уж, я вам доложу, этакой красоты я и не привидывал. Не то чтоб полная была или краснощекая, как наши барыни, а тонкая да беленькая вся, словно будто прозрачная. Глаза у ней были голубые, да такие мягкие да ласковые, что, кажется, зверь лютый — и тот бы не выдержал — укротился. И подлинно, грех сказать, чтоб он ее не любил, а больше так все об ней одной и в мыслях держал. Известно, могла бы она и попридерживать его при случае, да уж очень смирна была; ну, и он тоже осторожность имел, во все эти дрязги ее не вмешивал. Придет, бывало, домой весь измученный и пойдет к ней. И сделается такой, сударь, ласковый да нежный: «Каролинхен да Каролинхен», и все это ей ручки целует и головку гладит. Или возьмет начнет немецкие песни петь — оба и плачут сидят. Выходит, у всякого человека есть пункт, что с своей дороги его сбивает.

Прислан был к нам Фейер из другого города за отличие,

потому что наш город торговый и на реке судоходной стоит. Перед ним был городничий старик, и такой слабый да добрый. Оседлали его здешние гражда́не. Вот приехал Фейер на городничество и сзывает всех заводчиков (а у нас их немало, до пятидесяти штук в городе-то).

— Вы, мол, так и так, платили старику по десяти рублёв, ну, а мне, — говорит, — этого мало: я, — говорит, — на десять рублёв наплевать хотел, а надобно мне три беленьких[1] с каждого хозяина.

Так куда тебе, и слушать не хотят.

— Видали мы-ста эких щелкопёров[2], и не таких угоманивали; не хочешь ли, мол, этого выкусить!

Известно, народ все буян был.

— Ну, — говорит, — так не хотите по три беленьких?

— Пять рубликов, — кричат, — ни копейки больше.

— Ладно, — говорит.

Через неделю, глядь, что ни на есть к первому кожевенному заводчику с обыском: «кожи-то, мол, у тебя краденые». Краденые не краденые, однако откуда взялись и у кого купил, заводчик объясниться не мог.

— Ну, — говорит, — не давал трех беленьких, давай пятьсот.

Тот было уж и в ноги, нельзя ли поменьше, так куда тебе, и слушать не хочет.

Отпустил его домой, да не одного, а с сотским. Принес заводчик денег, да все думает, не будет ли милости, не согласится ли на двести рублёв. Сосчитал Фейер деньги и положил их в карман.

— Ну, — говорит, — принеси остальные триста.

Опять кланяться стал купец, да нет, одеревенел человек, как одеревенел, твердит одно и то же. Попробовал, еще сотню принес: и ту в карман положил и опять:

— Остальные двести!

И не выпустил-таки из сибирки, доколе всё сполна не заплатил.

Видят парни, что дело дрянь выходит: и каменьями-то ему в окна кидали, и ворота дегтем по ночам обмазывали, и собак цепных отравливали — неймет ничего! Раскаялись.

---

[1] Беленькая — денежный знак достоинством в 25 рублей.
[2] Щелкопёр — здесь: бахвал, обирала.

Пришли с повинной, принесли по три беленьких, да не на того напали.

— Нет, — говорит, — не дали как сам просил, так не надо мне ничего, коли так.

Так и не взял: смекнул, видно, что по разноте-то складнее, нежели скопом.

Как сейчас помню я, приехал к нам в город сынок купеческий к родным погостить. Ну, все это ему нипочем, цигары, теперича, не цигары, лошади не лошади, пальто не пальто — кути, душа! Соберет это женский пол, натопит в комнате, да и дебоширствует. Не по нутру это Фейеру, потому что насчет чего другого, а насчет нравственности лев был! — однако терпит сидит. Видит купчик, что ничего, все ему поблажает, он и тон задавать начал. Стали доходить до городничего слухи, что он и там и в другом месте чести его касался. «Я, мол, — говорит, — и любовницу-то его куплю, как захочу; слышь вы, девки, желательно вам, чтоб городничий танции разные представлял? Это нам все наплевать; пошлем две сотни и сделаем себе удовольствие!»

Молчит Фейер, только усами, как таракан, шевелит, словно обнюхивает, чем пахнет. Вот и приходит как-то купчик в гостиный двор в лавку, а в зубах у него цигарка. Вошел он в лавку, а городничий в другую рядом: следил уж он за ним шибко, ну, и свидетели на всякий случай тут же. Перебирает молодец товары и все швыряет, все не по нем, скверно, да похабно, да все тут; и рисунок не тот, и добро́та скверная, да уж и что это за город такой, что, чай, и ситцу порядочного найтить нельзя.

Ну, купец ему и то и сё, и разные резоны говорит.

— Ты, — говорит, — молодец, не буянь да цигарку-то кинь, — не то, чего доброго, городничий увидит.

— А плевать я, — говорит, — на вашего городничего...

В эвто в самое время как быть к вечерне ударили.

— Ты бы, — говорит лавочник, — хоть бога-то побоялся бы да лоб-то перекрестил: слышь, к вечерням звонят...

А он заместо ответа такое, сударь, тут загнул, что и хмельному не выговорить.

Оборачивается, а Фейер тут как тут, словно из земли вырос.

— Не угодно ли, — говорит, — вам повторить то, что вы сейчас сказали?

— Я... я ничего не говорил, ей-богу, не говорил...

— Православные! слышали?

— Слышали, ваше высокоблагородие.

— Марш!

На другой день рассказывает нам городничий всю эту историю.

— Поздравьте, — говорит, — меня с крестником.

Что́ бы вы думали? две тысячи взял, да из городу через два часа велел выехать: «чтоб и духу, мол, твоего здесь не пахло».

Да и мало ли еще случаев было! Даже покойниками, доложу вам, не брезговал! Пронюхал он раз, что умерла у нас старуха раскольница[1] и что сестра ее сбирается похоронить покойницу тут же у себя, под домом. Что ж он? ни гу-гу, сударь; дал всю эту церемонию исполнить, да на другой день к ней с обыском. Ну, конечно, откупилась, да штука-то в том, что каждый раз, как ему деньги занадобятся, каждый раз он к ней с обыском: «Куда, — говорит, — сестру девала?» Замучил старуху совсем, так что она, и умирая, позвала его, да и говорит: «Спасибо тебе, ваше благородие, что меня, старуху, не покинул, венца мученического не лишил». А он только смеется да говорит: «Жаль, Домна Ивановна, что умираешь, а теперь бы деньги надобны! да куда же ты, старая, сестру-то девала?»

А то еще вот какой случай был. Умер у нас в городе купец, и купец, знаете, не из мелконьких. Служил он как-то в городе, головой[2] ли, бургомистром ли, доподлинно теперь не упомню, только мундирчика по закону не выслужил. Ну, родственники, сами изволите ведать, народ безобразнейший, в законе не искусились: где же им знать, что в правиле и что не в правиле? Вот, сударь мой, и решили они семейным советом похоронить покойника во всем парате[3]. Пронюхал сначала всю эту штуку стряпчий. Человек этот был паче пса го-

---

[1] Раскольница — последовательница религиозного движения, направленного против официальной церкви. Раскол возник в России в XVII веке и, несмотря на религиозно-фанатические, консервативные убеждения его верхушки, принял форму народного движения против феодального гнета.

[2] Голова (то же, что бургомистр) — выборный городской голова, высшее лицо городского самоуправления.

[3] То есть в полном параде, в парадном мундире.

лодного и Фейером употреблялся больше затем, что, мол, ты только задери, а я там обделаю дело на свой манер. Приходит он к городничему и рассказывает, что вот так и так, «желает, дескать, борода в землю в мундире лечь, по закону же не имеет на то ни малейшего права; так не угодно ли вам будет, Густав Карлыч, принять это обстоятельство к соображению?»

— Можно, — говорит, — валяй отношение.

А купчину тем временем и в церковь уж вынесли... Ну-с и взяли они тут, сколько было желательно, а купца так в парате и схоронили...

А впрочем, мы, чиновники, этого Фейера не любили. Первое дело, он нас перед начальством исполнительностью в сумненье приводил, а второе, у него все это как-то уж больно просто выходило, — так, ломит нахрапом сплеча, да и все. Что ж и за удовольствие этак-то служить!

Однако в городе эти купчишки да мещанишки лет десять с ним маялись-маялись и, верите ли, полюбили под конец. «Нам, — говорят, — лучше городничего и желать не надо!» Привычка-с.

1856 г.





РАЗВЕСЕЛОЕ ЖИТЬЕ

Рассказ

> Станет царь-государь меня спрашивати:
> Ты скажи, детинушка, крестьянский сын!
> Уж ты с кем воровал, с кем разбой держал?
>
> Бурлацкая песня

— Развеселое, брат, это житье! Ни перед тобой, ни над тобой, ни кругом, ни около никакого начальства нет; никто, значит, глаза тебе не мозолит, никто тебя не спрашивает, а при случае всяк сам же тебе ответ должóн дать.

Так скажу: коли нет у тебя роду-племени, или обидел-заел кто ни на есть, или сердце в тебе стосковалося — кинь ты жизнь эту нуждную, кинь заботу эту черную, поклонись ты лесу дремучему: «лес, мол, государь, дремучий бор! ты прими меня, странного, ты прими бессчастного-бесталанного. Разутешь ты, государь, душу мою горькую, разнеси тоску мою

по́ свету вольному! Чтобы знал вольный свет, какова есть жизнь распрелютая, чтобы ведали люди прохожие-проезжие, как сиротское сердце в груди встосковалося, в вольном воздухе душа разыгралася!»

Народу у нас предовольно. И из Рязани, и из Казани, и из-под самого Саратова; есть и казенные, есть и барские...[1] однако больше барские. Бывают и кавалеры: эти больше от «зеленых лугов» в лесу спасаются[2]. Народ всё тертый: и в воде тонул и в огне горел; стало быть, как зачнет тебе сказы сказывать — заслушаешься. Иной, братец, головы два раза лишался, а все голова на плечах болтается; иной кавалер и за отечествие ровно уж слишним отличку показал, и в паратах[3] претерпение видел, а все в живых стоит. Никто как бог. Один кавалер рапортовал: пуля ему в самый лоб треснула, разлетелась это голова врозь, посинели руки-ноги, ну и язык тоже: буде врать, говорит... Что ж, сударь? к дохтуру — не помог; к командиру — не помог; сам брихадный[4] был — не помог, а смоленская помогла! Значит — сила!

Таким родом живучи, на людях и сиротство свое забываешь. Ну, и другое еще: свычка. Это значит: коли к чему человек привыкнет, лучше с жизнью ему расстаться, нежели привычку свою покинуть. Сказывал один кавалер, что по времени и к палке привычку сделать можно. Ну, это, должно быть, уж слишним, а с хорошим житьем точно что можно слюбиться.

Да и хорошо ведь у нас в лесу бывает. Летом, как сойдет это снег, ровно все кругом тебя заговорит. Зацветут это цветы-цветики, прилетит птичка-малиновочка, застучит дятел, закукует кукушечка, муравьи в земле закопошутся — и не вышел бы! Травка малая под сосной зябёт — и та словно родная тебе. А почнет этта лес гудеть, особливо об ночь: и ветру не чуть, и верхи не больно чтоб шаталися, — а гудёт! Так гудёт, что даже земля на многие десятки верст ровно стонет! Столь это хорошо, что даже сердце в тебе взыграет!

[1] «Есть и казенные, есть и барские» — то есть казенные крестьяне (принадлежавшие государственной казне) и барские — крепостные.

[2] «Бывают и кавалеры: эти больше от «зеленых лугов» в лесу спасаются» — то есть беглые солдаты, спасающиеся от наказаний палками.

[3] То есть в бегах.

[4] Брихадный — бригадный командир, генерал.

Бывают, однако, и напасти на нас, а главная напасть: зима. Первое дело, работы совсем нет: стужа-то не свой брат, не сядешь ждать на дороге, как слезы из глаз морозом вышибает; второе дело, всякий в ту пору в лес наезжает: кому бревешко срубить, кому дровец надобно — ну, и неспособно в лесу жить. Значит, в зимнее время все больше по чужим людям, аки Иуда, шманаемся: где хлебца подадут, а где и пирожка укусишь. Только чудно́й, право, наш народ: хлебца тебе, христовым именем, подаст, даже убоинкой[1] об иную пору удовлетворит, а в и́збу погреться не пустит — ни-ни, проваливай мимо! Таким родом, все по гумнам и имеем ночлег. Иной раз разнеможешься — просто смерть! Спину словно перешибет, в голове звенит, глаза затекут, ноги ровно бревна сделаются — а все ходи! Еще где до свету, запоют это петухи, потянешь носом дымок — ну, и вставай, значит, покидай свое логово. А не уйдешь, так тебя, раба божия, силой из-под соломы выволокут, да на суседнее поле и положат: отдыхай, мол, тут сколько тебе хочется. Зверь-народ.

Однако, брат, штука это — жизнь! Иной раз даже тошнехонько: и на свет бы не глядел и руки бы на себя наложил — ан нет, словно нарочно все так подстроится, чтоб быть тебе живу — жив и есть. Ровно она сама к тебе пристает, жизнь-то: живи, мол, восчувствуй! Ну, и восчувствуешь; пойдешь это в кабак, хватишь косушку[2] императорского — разом и простынет в тебе зло, благо сердце у нас отходчиво.

Случилась однажды со мной оказия. Иду я по Доробину, а на дворе стала ночь; только иду я и, идучи, будто думаю: и холодно-то мне, и голодно-то, и нет-то у меня роду-племени, нету батюшки, нету матушки, и все, знашь, так-то на фартуну свою жалуюсь, что уж очень, значит, горько мне привелось. Только вижу, у Мысея в избе огонь горит. Полюбопытствовал я и гляжу в окошко; ну, известно, что в избе делается. Посередь горницы молодуха прядет, в углу молодяк за станом[3] сидит, на земи робятки валяются, старый лапти на лавке ковыряет... то есть видал и перевидал я все это. Однако тут бог-с знает что со мной сталось: растопилось это во мне сердце, даже затрясся весь. Взошел в избу: «Бог в по-

[1] Убоинка — мясо.
[2] Косушка — полбутылки водки.
[3] Стан — домашний ткацкий станок.

мочь, — говорю, — господа хозяева! Не пустите ли странного обогреться?»

«А ты отколь?» — спрашивает Мысей, и смотрит на меня старик зорко. Ну, сам, чай, знаешь, трудно ли тут соврать? Сказал, что из Гай либо из Лыкошева, и дело с концом! Ан, вот те Христос, не посмел солгать, язык даже не повернулся: стою да молчу. «Ин, дай ему, Марьюшка, хлебца, христа ради! — говорит Мысей-то. — А ты, — говорит, — странный, ступай — бог с тобой!»

Ну, и пошел я; только всю эту ночь я промаялся. Горе, что ли, меня больно задавило, а это точно, что глаз сомкнуть не мог. Все это будто сквозь туман либо Мысей представляется, либо робятки малые, либо молодуха... и ровно рай у них в избе-то!

Вторая наша напасть — полиция; однако с нею больше на деньгах дело имеем.

Вздумал этта становой[1] нас ловить, однако мамоне спраздновал[2]. Вот как дело было. Призвал он к себе от «Разбалуя» целовальника[3]: «Ты, — говорит, — всему этому делу голова; ты, стало быть, и ловить должóн».

«Помилуйте, ваше благородие! — говорит Михей Митрич. — У нас в заведении, окроме как тихим манером выпить, никаких других делов не бывает; одно слово, — говорит, — монастырь... сосновый-с!» Однако становой на него затопал: «Знать, — говорит, — ничего не хочу!» Ну, Михей Митрич за Батыгой: так и так, мол, утекайте пока до беды. Затосковал Батыга, денно и нощно горькую пил, а из беды-таки выручил. Зарядивши себя таким родом, пошел он... как бы ты думал, куда? К самому, то есть, к становому!

«Я, — говорит, — есть тот самый Батыга, об котором ваше благородие узнавать изволили...» Так становой-то даже обеспамятел весь от злости. Подлетел это к нему, вцепился с маху в бороду, и ну волочить. Даже говорить ничего не говорит, а только рот разевает да дышит. Только Батыга все претерпел, ни в чем не перечил, а как увидел, однако, что его бла-

---

[1] Становой, или становой пристав, — полицейский чиновник, начальник стана (административно-полицейского подразделения в уезде).

[2] «Мамоне спраздновал» — то есть не устоял перед соблазном (мамона — в переносном значении: утроба, желудок).

[3] Целовальник — здесь: кабатчик, содержатель кабака.

городию маленько будто полегчило, повел и он свою речь. «А я, мол, к вашему благородию с лаской», — говорит. Ну, и опять обеспамятел становой: «Сотских! — кричит. — Кандалы сюда!» И все-таки в кандалы не заковал, а порешили наше дело промеж себя полюбовно: от нас ему в месяц пятьдесят целковых, а нам воровать с осторожностью.

А по прочему по всему житье нам хорошее.

Попал я на эту линию постепенно. Человек я божий, обшит кожей, не граф, не князь, а попросту, по-русски сказать, дворовый господина Ивана Кондратьевича Семерикова холоп. Ну, холоп — стало быть, хам; в бархатах, значит, не хаживал, на золоте не едал, медовой сытой[1] не запивал, ходил больше в нанке[2] да в пеструшке[3], хлебал щи, а пил воду. На этом, брат, коште[4] не разжиреешь, а если и разжиреешь, так, значит, не от себя и не от господ, а никто как бог. Поступил я спéрва-наперво в барский дом в мальчишки. Должность эта небольшая: на погреб за квасом слетай, в обед за стулом с тарелкой постой, ножи вычисти, тарелки перемой да из чулка урок свяжи, — только и всего. А жалованья за эту послугу получал: в день три пинка да семь подзатыльников; иногда прибавлялось и сеченье. Так-то я и рос. Помню даже теперь, как, бывало, облизываешься, глядя на господ, как они кушать изволят. Иной раз так забудешься, что и рот по-ихнему разевать начнешь — ну, и сечь сейчас, потому что ты лакей и, стало быть, должен за стулом стоять смирно.

Хоть барин у нас и богатый, однако ихний тятенька, еще у всех дворовых на памяти, в ближнем кабаке Михей Митричем сидел; сидел-сидел, да и попал, братец ты мой, во дворяне... однако, стало быть, не за это. По этому самому случаю, а больше, может, и для того, чтоб себя перед благородством оправдать, Иван наш Кондратьич свою честь держал очень строго. Не то чтобы к кабаку, как к истинному своему отечествию, льнуть, а все норовит, бывало, как бы в большие хоромы вгрызться. А с нашим братом рабом, окромя «холоп» да «скотина», «цыц» да «молчать», никакого другого

---

[1] Сыта — медовый взвар на воде.
[2] Нанка — желтая грубая хлопчатобумажная ткань.
[3] Пеструшка — пестрядь: грубая бумажная ткань из разноцветных ниток.
[4] Кошт — содержание.

и разговору не было. Самый, то есть, был господни для слуги неприятный.

Нашн дворовые былн Иван Кондратьнчем недовольны и называлн его больше брюханом и нзменщиком (потому как он кабаку, своему отцу-матерн, нзменнл). Особлнво обнжался им буфетчик Петр Филатов. Прежде-то былн мы, слышь ты, княжие (Овчиннна князя Сергей Федорыча, может, слыхал?), да князь-то нас дохтуру в карты проиграл, а дохтур уж Семерику продал. Ну, стало быть, Петру-то Филатычу н точно что будто обндненько было после князя какой-инбудь, с позволения сказать, мрази служнть.

А приятный для слуги господии какой должен быть? Тот господин для слугн прнятен, который его слушается, который обиход с ним имеет и на совет слугу своего беспременно зовет. В стары годы, сказывают, на этот счет просто было: господа с слугами в шашки игрывалн и завсегда с ннмн компанню важивали. Он же, Петр Филатов, сказывал, что, бывало, господа друг с дружкой беседу ведут, а слуги у дверей сберутся да временем н свое словечко в господскую речь пустят. Ну, коиечно, что этак-то будто лучше, а впрочем, это не мое, а Петра Фнлатова рассужденне, потому как я на это дело давно уж плюнул н ногой, братец ты мой, его растер.

Сказывал иам Петр Фнлатыч н другнх поученнй миого. Сказывал, примерио, что те, кои в сем мире рабы, на том свете господами в пресветлом сиянин будут, что паука убнть — сто грехов убавится, а муху убить — сто же грехов набавится. А как я от бариа своего бежал н через эвто самое, как бы сказать, в здешией жизни не претерпел, будущей своей жизни лишнлся, то, помия Петра Филатыча слова, всякнй раз как паука вижу, беспремеиио его убиваю, а муху, напротнв того, пнтаю и презреваю.

Пречудиой был этот старик. Начнет, бывало, про князя рассказывать — что твой соловей заливается, — н ие заткиешь ничем. «А как же, мол, тебя князь-то в карты продул?» — «А отчего ж, — говорит, — ему и не продуть? разве князь в достоянни своем не властен? Я, — говорит, — ие об том скорблю, что холоп — потому как на мие первородный грех есть, и от этого самого я холоп, — а об том, что вот, на старости лет, Семерику служить привелось». И пойдет это губами шамкать, даже весь посниеет от злости, что

князя его обижать смеют. Такая уж, видно, линия на роду человеку написана.

На четырнадцатом годку свезли меня в Москву к повару-французу в ученье; жил я в поваренках четыре года и, хвастать нечего, свету большого из-за плиты не видал. Потом, однако, пустили господа по оброку, чтоб еще больше, значит, в науке своей произойти.

Про Москву так должен сказать: множество видел я городов, а супротив Москвы не сыщется. В Москве всякий в свое удовольствие живет: господа в гости друг к дружке ездят, а простой народ в заведениях. Блаженство! Возьмем, примерно, трактиры одни, чего там нет? И чай, и водка, и закуски... и все, значит, сам! Машина «Ветерок» тебе сыграет, приказный от Иверских ворот вприсядку отпляшет; в одном углу тысячные дела промеж себя решают, в другом просьбицу строчат, в третьем обнимаются, в четвертом слезы проливают... Жизнь! К этакому-то житью как попривыкнешь, ни на что другое и не смотрел бы. Так тебя и тянет с утра раннего все в трактир да в трактир.

Барин, к которому я нанялся (а нанялся я к нему в лакеи, а не в повара), очень меня полюбил; смирный, добрый был этот барин, не ругатель и не озорник, а к простому народу особливо был жалостлив. Служить он нигде не служил и занимался, по своей охоте, все больше книжками, а по вечерам господа молодые к нему собирались.

Что уж у них там с господами промеж себя было, доказать тебе этого не могу, только попал, братец ты мой, он по этому случаю на замечание, что вот, дескать, человек молодой, служить не служит, а разговорами занимается... так что, мол, это значит? А московская наша полиция — черт, а не полиция: коли захочет человека достать, так хоть он в треисподнюю спрячься, и в треисподней его достанет.

Вот и препоручили они одной мамзели пропастной, чтобы она, значит, нашего Михайлу Васильича полегоньку им предоставила. На моих глазах и дело это случилось. Жили мы тогда в Столешниковом, а напротив нас, в Лихтеровом доме, эта француженка квартиру имела. Учительница, что ли, она была или только сказывалась так, а уж из себя точно что писаная красавица была. Сядет, бывало, с книжкой к окошку, волосы для приманки распустит, ручку беленькую-беленькую будто ненароком покажет — так бы, кажется, и глаз не ото-

рвал от нее! Однако наш Михайло Васильич сначала будто дичился ее: она к окну, а он от окна благим матом да в угол забьется. А все-таки, как ни вертелся, как ни отбивался, а кровь, по времени, свое взяла...

Вот и слюбились они. Уж что, братец мой, с ним в ту пору сталось — и рассказать того нельзя. Поначалу ровно он обезумел; бросился ее целовать — ну, я и двери за ними запер. А потом, слышу, плачет, да тяжко таково, даже ровно кричит... И мне все сердце изорвал, да и на улице слышно. Так это на него действовало. Уж на что она дошлая девка была, а и она испугалась; выбежала в одной юбчонке, кричит: воды! Насилу мы его в ту пору в чувство привели.

И пошла у них тут масленица. Совсем он переменился, словно расцвел — растопился весь. Живой да веселый стал; на щеках румянец заиграл; даже ходит, бывало, — так ровно земли под собой не чувствует.

И господам ее своим всем представил; соберутся, бывало, они повечеру в кружок, ну, и она тут завсегда с ними присутствует, разговор ихний слушает, а сама тем временем либо будто дремлет, либо к Михайле Васильичу ласкается.

Только стал я, по времени, примечать, что мимо нашего дома полицейский переодетый похаживает, и сам, знаешь, будто рыло свое скосит, а между тем все на наши окна посматривает. Подивился я этому, однако ничего, смолчал. Однажды иду я к нашей мамзели с запиской от барина, всхожу на лестницу, а сверху идет встречу мне опять этот полицейский, и опять переодетый. Ну, и она, увидевши меня, словно смутилась... что за чудо? Стал я после этого за ней присматриваться, стал примечать, что она куда-то раны́м-ранехонько похаживает, однако все думал, что по амурам. Раз как-то и полюбопытствовал я; она со двора, и я полегонечку...

И куда ж бы ты думал, однако, она меня привела?

. . . .

Сказал я об этом тогда же Михайле Васильичу, да уж поздно было. В тот же день вечером пришли к нам гости незваные и тут же дело наше покончили.

Так вот, брат, какова бывает на свете полиция!

После того вскорости пришел ко мне от нашего бурмистра приказ в деревню явиться.

Уж как мне эта деревня тошна́ после Москвы показа-

лась — даже рассказать нельзя. Первое дело, призывает меня к себе Семерик и приказывает на конюшню идти, за то, мол, что в Москве не в повара, а в лакеи самовольно нанялся. Хорошо; пошел и на конюшню. На другой день еще приходит приказ: отобрать у Ивана хорошее платье и дать ему старый армяк. Ну, армяк так армяк — и на том спасибо! Однако, думаю, за что же? Пожаловал Семерик как-то на конный двор и видит, что я горя мало хожу; прошелся мимо меня раз, прошелся другой: все ждет, что я в ноги к нему паду. Однако с тем и ушел, что не дождался; только уходя, словно погрозился на меня и молвил: «Дойму я тебя, зверь бесчувственный!»

Второе дело, содержанье в деревне больно уж безобразное. Настанет, бывало, время обедать идти, так даже сердце в тебе все воротит. Щи пустые, молоко кислое — только слава одна, что ешь, а настоящего совсем нет. Тем и отведешь себе душу, что господ на чем свет обругаешь...

И так-то иной весь свой век отживет, ни единой, то есть, радости не видавши, ни единой себе минуты спокою не знавши... так и снесет поп в могилу!

Однако, хоть и всячески я себя перемогал, чтобы только Семерику похвастаться было нельзя, что вот, дескать, на что Ванька зверь, и того, мол, сокрушил, а по времени невмоготу стало. И сделалось со мной тут словно чудо какое. От думы, что ли, или оттого, что, в Москве живши, себя уж очень изнежил, только стал я мучиться да тосковать, даже ровно страх на меня от всех этих мученьев напал. «Господи! — думаю, бывало. — Неужто ж и взаправду мне в этой трущобе, как червю, сгнить придется?» А сердце вот так и рвет, так и ноет в груди!

Даже работать совсем перестал. Знаю и сам, что худо это, что другие, может, и лучше тебя, за тебя работают, однако принужденья сделать себе не в силах. Ну, и дай бог нашим здоровья: пожалели меня, до барина этого не довели.

Вот только один раз повечеру — господа наши в гости уехали — пошел я во двор поглядеть, как наши сенные девушки[1] в горелки бегают. Только бегают это девки, а во флигеле на крылечке какая-то барыня на них смотрит. Ну, и

[1] Сенная девушка — крепостная дворовая девушка, горничная.

наши все тут в кучу собрались; идет промеж них хохот да балагурство; увидели меня, на смех тоже подняли: «Что́ пришел? или, мол, смирился?» — «Ан нет, — говорит Филатов, — он к Марье Сергевне на поклон явился!» Тут только я и узнал, что эта барыня сама Марья Сергéвна и есть.

А Марья Сергевна у нашего барина вроде как экономка жила. Была она просто-напросто пастуха нашего дочь, только Семерик и в панёве[1] ее облюбовал и по этому самому отца-то из пастухов в дальнюю деревню в старосты произвел, а ее в горницы к себе определил. Ну, взяли сердечную, вымыли, вычесали, в платье немецкое одели и к Семерику представили; барыня наша, сказывают, много об этом в ту пору стужалася[2].

Однако любопытно мне стало поглядеть на нее. Сам знаешь, баринова сударка; стало быть, сила. Коли не настоящее, значит, тебе начальство, так еще хуже того — как же тут утерпеть, не посмотреть? Подошел я к крылечку и гляжу на нее.

И вот, братец ты мой, даже до сей минуты вспомнить я об ней не могу: так это и закипит-задрожит все во мне! Ровно подняло во мне все нутро, ровно сердце в груди даже заиграло, как взглянула она на меня! И нельзя даже сказать, чтоб уж очень из себя пышна или красива была, а такой это был у нее взгляд мягкий да ласковый, что всякому около нее тепло и радошно становилося. Ну, и усмешечка эта на губах тихонькая... ровно вот зоренька утренняя сквозь облачка́ поигрывает...

Много видел я барынь красивых; и из нашего звания тоже хороши девушки из себя бывают, а все-таки Маши другой не встречал. Доброта в ней большая была, а по тому, может, самому краса ее силу имела, что душа у ней на лице всякому объявлялася. Так скажу: не знай я теперь, что давно она от тиранств барских в могилу пошла, жизни бы не пожалел, в кабалу бы себя опять отдал, только бы на лицо ее насмотреться, только бы голоса ее милого наслушаться!

---

[1] П а н ё в а — домотканая шерстяная клетчатая или полосатая юбка, поверх которой вшивается или надевается кусок материи.

[2] С т у ж а л а с я — огорчалась, расстраивалась.

Ну, и она, увидевши меня будто в первый раз, тоже полюбопытствовала.

— Не вы ли, — говорит, — новый повар, что из Москвы онамеднись выслали?

— Я, — говорю.

— Отчего ж, — говорит, — вы в таком платье ходите?

— А оттого, мол, что на то есть барская воля.

— Так вы барина попросили бы... он ведь только горд очень, а добрый!

— Нет, — говорю, — я просить не буду, потому что вперед знаю, что если стану с барином говорить, так уж это беспременно, что ему нагрублю.

— Что ж так?

— Да так; больно уж много нам обид от них было, Марья Сергевна... за что, примерно, он меня платья моего лишил?

— Вот вы какие! пожили в Москве, да и стали уж слишком спесивы! А вы бы глядя на других делали!

Ну, я против этих ее слов ничего сказать не решился: стою да молчу.

— А хорошее, — говорит, — в Москве житье?

И сама, знаешь, тяжелехонько этак вздыхает.

— И везде, — говорю, — хорошо, где, то есть, жить нам мило.

— А где, по-вашему, мило? — спрашивает.

— А там, — говорю, — мило, где у нас милый друг находится.

Сказал это, да и смотрю на нее, и даже чувствую, как меня всего знобит. И она со слов моих словно зарделась вся; опустила это головоньку и задумалась.

— Вам, может, желательно, чтоб я за вас барина попросила, — говорит.

— Коли ваше желание на то есть, — говорю, — так от вас я принять милость не откажусь.

Больше в тот вечер я с ней не говорил. Только стало мне с той минуты словно легко и незаботно на свете жить. Пошел я к себе на сеновал спать и всю-то ночь вместо спанья только песни пропел.

Да и ночь-то на ту пору какая случилась! Теплая да звездная, ровно даже горит это наверху от множества звезд! И все это кругом тебя спит; только и слышишь, как лошадь

около яслей на мякину фыркнула или в деннике[1] жеребенок в соломе спросоньев закопошился.

Наутре позвали меня к барину. Не могу об себе сказать, чтоб из робких был, однако на ту пору так сробел, что даже сердце во мне упало. Барин принял меня в лакейской, перед всеми людьми, и очень что-то грозно.

— Ну что, — говорит, — прочухался?

Я молчу.

— Что ж ты не отвечаешь, зверь?

Я опять молчу. Только слышу, что по-за дверью ровно зашуршало что. Задрожал-затрясся я весь.

— Виноват, — говорю.

— То-то, мол, виноват! А не знаешь, видно, как слуга должен у господина своего прощенья просить?

Пал я на колени... Ну, и простил он меня, на кухню определить велел... Только как вспоминаю я теперь про это, даже во рту скверно становится...

. . . .

Стали мы после этого чаще видаться, только больше всё при людях. Иной раз и встретишься где-нибудь один на один, однако смешаешься, оробеешь — ну, ничего и не скажешь. Об одном только и в мыслях, бывало, держишь, как бы с ней встретиться, или бы шорох от платья ее услышать, или бы вот хоть издальки на нее полюбоваться. Ну, и она словно заметила, что усмешечка ее шибко мне нравится: как ни пройдет мимо меня, всякий раз беспременно усмехнется... Так и протянулось наше дело до осени.

По осени, так около введеньева дня, стали наши господа в Москву собираться. Пошел это по дому треск да шум; возы с поклажей сряжают, экипажи дорожные излаживают — ну, как у больших господ обыкновенно водится. Слышу я, что и Маша с господами уезжает, а мне приказу ехать не объявляют. Стал я стороной от людей узнавать: кто говорит, Павлу-повару ехать, кто говорит, мне ехать, а настоящего нету. Времени меж тем все меньше остается — смерть, да и полно!

Порешил я под конец, чтоб мне самому с Машей об этом переговорить. Выбрал время, как ей из дому во флигель на

---

[1] **Денник** — закрытое стойло в конюшне.

ночь идти, стал и жду у крылечка. Только вижу, что вдали огонек забрезжил и прямо-таки ко флигелю бежит, словно вот искорка, откуда ни взялась, одна сама собой в воздухе летает.

— Вы, — говорю, — Марья Сергевна?

Спервоначалу она было испугалась, даже оступилась и упала, однако голосу не дала. Я ее бережненько поднял, посадил на крылечко и фонарь затушил.

— Вы, — я говорю, — не опасайтесь меня, Марья Сергевна!.. Я с тем нарочно и пришел, чтоб вас видеть... Мочи моей больше нет; все у меня сердце от тоски изорвалось!

Подошел я поближе к ней, взял ее за рученьку и слышу, что она словно лист вся трясется.

— Вы вот с господами в Москву сбираетесь, — говорю, — стало быть, расставанье будет нам долгое... Поэтому я так теперь об себе понимаю, что самый я без вас буду несчастный человек, и, стало быть, ничего мне другого желать не надо, как только ру́ки на себя наложить или в леса от таких мученьев бежать...

— Да ведь и вы, чай, с нами в Моску́ву поедете? Чтой-то уж и бежать собрались!.. словно и разуму своего вы лишились!

— Нет, — говорю, — в Москву я с вами не поеду, да и вы, коли меня жалеете, барина от этого намеренья отклоните. Потому, первое, что в Москве я надежды на себя не имею, и верно это знаю, что барин либо в солдаты меня отдаст, либо в ссылку сошлет. А второе дело, мне и здесь на ваше житье смотреть совсем непереносно стало.

Как выговорил я ей это, она словно даже ручьем залилась.

— Так вот, — говорит, — чем вы меня попрекаете! точно сами не знаете, какова́ моя здесь жизнь!

— Я, — говорю, — не с тем это сказал, чтоб вас попрекать, а с тем, что при моих к вам чувствах смотреть мне на эти дела не приходится.

Только она еще пуще на это заплакала, а меня ровно тут дух такой обуял! Бросился я к ней, поднял это ее к себе на руки... И жалко-то мне ее, и душу-то бы я за нее отдал, и злость, однако, за сердце словно вот клещами хватает: пропадай, мол, все, не доставайся она ни мне, ни ему! Даже закоченел весь, даже не слышу ничего; мну да тираню ее,

сердечную, в руках, будто задушить хочу... А она только потихоньку стонет, а рваться от меня не рвется.

— Ваня! — говорит. — Что ты надо мной сделать хочешь!

Опамятовался я под конец, выпустил ее из рук. Тяжко мне тут сделалось, так тяжко, что и сказать нельзя. Смотрю это на барский двор и сам бог знает что думаю; смотрю тоже и на большую дорогу и на лес дальний, и все это будто перемешалось во мне, точно не сам я, а именно лукавый во мне думает.

И такова была в ней душа ангельская, что она не токма́ что тиранства моего не попомнила, а меня же, зверя лютого, утешать бросилась.

— Ваня, — говорит, — голубчик ты мой! ах, да посмотри же, посмотри же ты на меня! пожалей ты меня! Легче бы мне в пропасть теперь сгинуть, чем сердце твое на себе видеть!

И вот, братец ты мой, хоть зима на дворе стояла: значит, и тёмнеть, и сивир[1], и снег, однако краше для меня эта ночь самой теплой летней ночи показалася! Все эти звезды, что на небе горят, словно в сердце у меня загорелися!

Наутро прикинулась в ней горячка. Доложили об этом барину и послали за дохтуром. Дохтур обозрил ее и сказал, что в Москву ехать никак нельзя. Сокрушился Семерик; однако такую к Маше привычку взял, что даже поездку в Москву хотел отложить. Только тут ихняя супруга, дай бог ей здоровья, за наше счастье вступилася. Семерик говорит: «Не поеду!» Семеричиха кричит: «Врешь, поедешь!» И опять Семерик свое долбит, а Семеричиха так на него и заливается: «И без того я от тебя нивесть что безобразиев терплю, чтоб смел ты меня, кабачник, на всю жизнь в деревню запереть!» Много у нас тут страму на весь дом было. Однако Семеричиха, как была генеральская дочь, одолела. Стали сбираться; вышел и мне приказ быть готовым.

«Ну нет, — думаю, — это, видно, подождать придется!» И удумал я тут штуку. Явился к Семерику и, как ни воротило мне сердце, пал к нему в ноги взаправду.

— Позвольте, — говорю, — в деревне остаться.

— Это еще что за штуки? — говорит. — И как ты смел прямо на глаза мои показываться?

— Я, — говорю, — по слабости моей, в Москве надежды

[1] **Сивир** (сивер) — северный, холодный ветер.

на себя не имею, потому как там и знакомство у нас большое и случаев больше есть, а в деревне все одно что в монастыре...

Понравилось это Семерику. А пуще всего то по сердцу пришлось, что вот, мол, лютого зверя в смирение привел!

— Ну, — говорит, — коли есть твое желанье, чтоб в исправленье своем укрепиться, так я препятствовать этому не могу... взять в Москву Павлушку!

Уехали.

Остались мы с Машей в доме почесть что одни. Молодых всех господа еще с обозом в Москву угнали, а в деревне оставили только стариков да конюхов. К Маше старуху Матрену Ивановну приставили — золотая это была душа! Стало быть, очень нам было свободно. Поначалу она еще слабость в себе чувствовала, а недельки через две и поправляться стала. А Семерик то и дело что из Москвы гонца за гонцом шлет да строго-настрого наказывает, чтоб Машу к нему в самой скорой скорости выслать. Однако врешь.

И словно рай промеж нас тогда поселился. По времени даже смелость такая у нас проявилась, что и людей совсем опасаться перестали. Заложишь, бывало, о́бвечер жеребца с барской конюшни в охотницкие сано́чки, укутаешь ее, голубушку, в шубку, и пошел по полянкам гулять — даже дух занимается! А ночи-то, брат, лунные да морозные, и снегом-то кругом тебя обдает, и ветром-то жжет... жизнь! У Маши, бывало, даже глазенки заискрятся — столь это хорошо!

Ну, и домой тоже приедешь, отогревать ее станешь, на руках, словно робеночка, баюкаешь...

Да, брат, как подумаешь да погадаешь, что все это жило да сплыло, да быльем поросло и что всему этому житью Семерик на всяк час поперек может стать — даже страх тебя какой-то берет!

И скажи ты мне на милость, отчего бы, например, мне, дворовому господина моего, Ивана Кондратьича Семерикова, человеку, счастливым не быть? И отчего, например, вздумал я раз в жизни радость свою иметь, и тут вышло, что радость та не моя, а господская? От этой, брат, думы и ушел я в леса, чтобы больше она меня не тревожила.

Проведал, однако, прознал он, шельмецкий сын, про нашу любовь. Бурмистр, что ли, ему отписал — этого доказать

не могу, только раз приезжаем мы вечером с поля, ан в барском доме огни горят. Маша моя так и ахнула... Ну и я тоже маленько будто посумнился.

— Что, — говорю, — Машенька! гаркнуть разве, и поминай как звали?

Только говорю я это, а сам вижу, что она ни жива ни мертва в санóчках сидит. «Ну, — думаю, — плохо, значит, наше дело: пришлось в разделку идти». Надеялся было я на первых порах во флигеле ее схоронить — ан и тот заперт.

Привели нас к Семерику. Ну, он словно зверь страшонный на меня кинулся и начал меня что есть силы-мочи бить. А Маша забилась в угол да только стонет. Однако ее не тронул: по старой памяти, что ли, или уж потому, что, меня бивши, ровно дыханье все истерял.

Ну, видевши я Машенькин такой страх, опять себя перемог. Повалился ему в ноги, клялся-божился, что вечным буду его рабом, только бы на Машеньке мне жениться дозволил. На это такую он резолюцию дал: посадить его на ночь в холодную, а наутро в рекрутское присутствие везти. А Машу в ту же ночь на скотный двор сослали, а через три дня в деревню за вдовца за детного замуж отдали.

В эту ночь много я от холоду вытерпел, а пуще того от думы да от тоски сокрушился. Объявились мне тут все обиды его тяжкие; объявилась и жизнь вся эта нуждная, лютая, и кабальство мое горькое; объявилось и счастье мое вчерашнее... То будто зима-зимская морозная перед глазами носится, и полянки эти дальние, и санóчки малые, и Маша, разлюбушка моя, тут... И словно свет голубой мне в глаза бьет, и в этом свете голубом она, моя голубушка, ровно в воздухе и дрожит и колышется... залило меня горе всего! Сейчас думаю: не будет же по-твоему, огрызок кабацкий! пропадай моя голова, коли не вырву я ее у тебя! А через минуту и то опять в голову лезет: куда ж иттить? Куда ни беги, везде твое тело его будет!..

Порешил я, однако, бежать. Не то чтоб солдатства крепко боялся, а словно дело это для нас необычное, да и с Машей расстаться жалко: все, думаешь, не закопают же ее живую в могилу, — авось можно свидеться как-нибудь.

Вот на другой день подняли меня раным-ранёхонько. Вывели, всего обшарили. На дворе подвода стоит, и отдаг-

чик[1] с подводчиком наготове ожидают. Пришли родные, пришла дворня вся; бабы воют да стонут, особливо матушка. Измаяли они меня.

Привелось нам мимо скотных дворов ехать. Не утерпел я и стал проситься, как бы Машу мне повидать. Известно, отдатчик вместо ответа велел лошадь стегать, однако я вскочил и зачал его за горло душить. «Мне, — говорю, — заодно терпеть, а тебе не быть живу, варвары вы этакие!» Ну, испугался, пустил. Вошел я в избу: избенка эта темная да смрадная, — словно хлев коровий.

— Много лет здравствовать, Марья Сергевна! — говорю.

Только услыхала она мой голос, бросилась это ко мне, уцепилась за полушубок.. даже ровно замерла тут.

— Погубил я тебя, Машенька! — говорю. — Не будет мне за это счастия в сей земле!

— Жить... нет... нет! — говорит, а сама так и дрожит, так и трясется вся, и в лице ни единой кровиночки нет.

Сел я на лавку, положил ее на колени к себе и стал это целовать да миловать. Только чую, будто слезы у меня горят, да и сердце в груди ровно ширится. Ну, думаю, плакать так плакать... в остатний раз! Плачу я это, даже дух у меня от слез словно захлестывает... только и могу выговорить: «Машенька! Машенька!.. ах, да каково ж это больше не свидеться!» А она даже и не отвечает ничего; завернулась, голубка, головонькой под полушубок ко мне, да только руками обеими меня удерживает... И сладко-то, и тоскливо-то мне!

Только, видно, дали в двор знать, что двоим со мной не сладить; прибежало еще человек с пять на подмогу. Стали ее отымать от меня; ну, и она поначалу ровно не поняла, что с ней делается, даже взять себя допустила... Однако как начал я скотнице Аграфене в ноги кланяться, чтоб она ее, сиротку, пригрела да приголубила, вдруг она словно разразилася: взвизгнула это, застонала и зачала из их рук рваться... даже я сам поскорей из избы выбежал.

Еду я дорогой да все думаю: «Уйду я от них, беспременно уйду!» Гляжу это на поле дальнее: вон в стороне вихорик закружился, вон пеленку снежную взбуровил... уйду, мол, от них, беспременно уйду! Вон мостик ветхонькой через речку

[1] Отдатчик — человек, сдающий новобранца в рекрутское присутствие.

лежит; по краям у речки ледок, словно хрусталь чистый, скипелся, а середочка плещется, ровно живая журчит.. уйду я от них, беспременно уйду! Вон лесок впереди засинелся: ишь ты, какой лес частый да береженый!.. вон и в деревню въехали... пошли санóчки по ступеня́м тук-тук... ах, да уйду я от них, беспременно уйду!

— Пусти, Потап! — говорю отдатчику.

— Что ты, — говорит, — чай, я не об двух головах!

— Пусти, Потап, в могилу за тебя живой лягу, души не пожалею... пусти!

Не пустил... Да уйду же я от тебя, беспременно уйду!

Приехали мы на постоялый двор ночевать. Сели ужинать, а я все одно думаю: уйду да уйду. Положили они меня, для верности, промеж себя спать, даже полушубок с меня сняли да под головы себе сунули. Однако я не сплю и все в уме одно держу: уйду, мол, я от них, беспременно уйду! Вот только слышу я: загудело мужичьё; были тут, кроме нас, извозчики; наедятся они на ночь, так ровно начнет их коробить во сне-то. Иной, знаешь, не своим голосом во сне зарычит, другой даже вскочит спросоньев, посидит-посидит словно полоумный, перекрестится, да и опять спать. Ну, и я попытать их сначала хотел: вскочил что есть мочи, не шелохнется ли, мол, кто?.. Однако никто голосу не дал; только Потап спросоньев стал около себя шарить, да не на ту сторону, сердечный, попал и нащупал проезжего извозчика. Только я ползком да ползком... чу, сверчок за печкой затрещал... чу, вздохнул кто-то — не Потап ли? чу, кого-то словно душит во сне... И всего-то до двери пять шагов, а столько я тут от одной думы измаялся, что лучше бы, кажется, пять верст на своих на ногах сделать... А все-таки дополз под конец! Тут на лавке чей-то полушубок порожний обóзрил — и его про запас смахнул.

Вышел я на задворки, и — веришь ты? — кажется, недолго мученья мои тянулись — и всего-то с сутки! — а словно я тут впервóй воздухом свежим дохнул! Даже ослаб весь, и ноги подкашиваются, и грудь будто расшаталася... Вышел я на задворки; однако как начал делом смекать: «Плохо, — думаю, — это я сделал; таким манером они меня как раз по следу накроют; лучше на большую дорогу пойти». Вышел да не думая, словно из лука стрела, пустился в обратный бежать.

Бежал я без отдыху версты с три, даже грудь начало саднить. А ночь-то месячная да светлая, и поле кругом чистое да ровное — версты за две человека видно! Вижу я: коли дальше идти, первое дело, из сил выбьюсь, а второе дело, хватиться могут, и кто ж их знает, в какую сторону их леший повернет! Показалась в стороне деревушечка, я и повернул в проселок. Только она, распроклятая, точно дразнит меня: вот, кажется, рукой подать, так и вертится перед глазами, однако за ихними мужицкими вавилонами[1] добрых я с полчаса маялся, доколе дошел.

Тут я впервóй познал, что такое беглый человек значит. Пришел в деревню, смотрю около себя, а куда идти, не смыслю. Словно уж судьба сама за меня промышляла да в овин привела; зарылся я в солому да два дня оттоль и не выходил — так не евши и лежал... После сказывали мне наши, что и в этой деревнишке меня отыскивали, однако, стало быть, не постарались.

Через два дня вышел. Ну, прежде всего есть до смерти хочется. На дворе еще тёмнеть была, только кой-где огни в избах виднелись: значит, исправная баба уж печку затопила. Подошел я к одной избе, вышиб кулаком подворотню, подлез скрозь нее и прямо в избу к бабе.

— Подавай хлеба! — говорю.

Только она как была с ухватом в руках, так тут на месте и обмерла. Я к столу; достал хлеба, взял кстати и ножик...

— Только ты пикни у меня, — говорю. — Не ноне, так завтра так дойму, что навек языка лишишься!

И точно, дай бог ей здоровья, — не пикнула.

Наелся и опять в солому залег сумерек дожидаться. Теперь, думаю, хорошо: и сыт, да и ножик при мне есть: стало быть, какова пора ни мера, а живой в руки не дамся. И все-то меня к дому да к дому тянет.

Вот в сумерки встал от своего логова и пошел-таки прямо в деревню. Вижу еще издалеча, что в кучерской у нас свет горит. Не думавши долго, прямо туда.

— Ребята, — говорю. — Кто из вас против меня изменщиком хочет быть?

Только они сидят да помалчивают, да промеж себя переглядываются.

---

[1] Вавилоны — извилины.

— Если кто меня выдать хочет, — говорю, — так я тут весь; а не желаете выдать, так обогрейте да накормите меня!

Никто, однако, против своего брата изменщиком быть не согласился. Тут я узнал, что в тот самый день Машу на деревню что ни на есть за гадючего мужика отдали замуж: а Семерик, сделавши эко праведное дело, как ни в чем не бывало сейчас после свадьбы в Москву укатил.

Загорелось во мне: хочу да хочу Машу видеть, даже есть не могу; так всего и поднимает меня.

Пошел на деревню, вижу, стоит на краю избенка развалившая; подошел к окошку, думаю, нет ли гульбы у них? Однако, видно, бедность шибко мужика одолела либо совесть на народе зазрила, только не чуть в избе никого, кроме хозяев. Горит это посередь горницы лучина, и ровно чад да дым от нее идет, а свету почесть ничего-таки нет; в углу на полу ребята вповалку спят... ну, одно слово, и голодно-то и холодно-то в этой избе, совсем, кажется, и жить-то нельзя. Одно мне чудно́ показалось, что они ровно век вместе жили — сидят около светца [1]; Маша бельишко кой-какое деткам починивает, а Трофим сапоги на продажу тачает. Долго я так смотрел на них, все думаю: взойти или не взойти. Однако Маша будто почуяла что: встала с места и слушает; ну, и Трофим к окошку побрел.

— Это я, — говорю, — Трофим Петрович! я, мол, беглый Иван! Пустишь, что ли?

Услышавши меня, он поначалу даже от окна отшатнулся, однако вскоре опять поправился.

— Пустить, что ли, Марьюшка? — спрашивает.

Только она ровно испугалась: побежала это от светца прочь и за печку спряталась.

— Пусти, — говорю, — Петрович! вот тебе бог, что только проститься хочу; одной минуты не пробуду больше!

Взошел я в избу, помолился богу, сел на лавку.

— Бог в помочь! — говорю.

Только она вышла ко мне, мертвая-размертвая. Однако идет твердо.

— Прости меня, Иванушко! — говорит.

Я заплакал; сижу это на лавке и словно баба малодушествую. Господи! как мне горько-то, горько-то в ту пору было!

---

[1] Светец — подставка для лучины, освещающей избу.

Словно темь кругом меня облегла, словно страх да ужас на меня напал, словно тянет, сосет все мне сердце!

— Прощай, Иванушко! — опять говорит она, а у самой слезиночка в голосе дрожит.

Вскочил я; хотел в охапку ее схватить, однако вижу — в углу Трофим стоит и словно у него зуб на зуб не попадает. И она тоже руки вперед протянула, будто как застыдилася... Ну, думаю: стало быть, нашему делу и взаправду окончанье пришло!

— Прощай, — говорю, — Маша! Прощай и ты, Трофим! Молчат оба.

— Видно, мол, не свидеться нам?

— Да, видно, не свидеться! — молвил Трофим.

Словно ожгло меня это слово.

— Зверь ты! — говорю.

— Нет, — говорит, — не я зверь, а тот зверь, кто ее до настоящего довел. Ты, — говорит, — рукой махнул да в леса бежал, а ей весь век со мной в голоду да в нужде горе мыкать приходится... Так ин лучше не замай ты нас!

Смотрю я на нее; все думаю: не скажется ли в ней хоть на минуточку наше прежнее разлюбовное время-времечко?..

Ну, и нет, как нет! стоит она как без чувств совсем, глазами в землю смотрит; только верхняя губа будто дрожит легонько.

— Ну, — говорю, — ин и взаправду, Маша, прощай! Однако все-таки на росстанях, чай, поцеловаться надо!

Подошел к ней и обнял. Ну, ничего; и обнять и поцеловать себя дала, одно только обидно мне показалося: я ее целую, а она словно мертвая стоит... даже тепла в ней не чуть!..

. . . .

Так наше дело и кончилось. Вышел я от них как без памяти. Отхватал я, брат, в эту ночь верст тридцать с лишним. Иду это да иду вперед, а куда иду — даже понятие потерял. Снег мокрый глаза залепляет, ветер в лицо дует, ноги в сугробах тонут, а я все иду и все об чем-то думаю, хоть истинной думы и нет во мне. Все это как во сне от одного к другому переходит: и Маша-то тут, и не едал-то я, и сена вон стог в поле стоит, и ночь-то была в пору холодная да темная... Останови да спроси, об чем, мол, сейчас думал? — ни в свете ответу не дашь!

Однако наутре уморился, и понятие это ко мне измором воротилось. Тут только догадался я, что заместо того, чтоб к нашим на конный двор вернуться, я верст тридцать в сторону шагнул. Ну, не судьба, значит!

Вижу, навстречу мне мужичок с дровами едет. Мужичоночко этакой худенькой да мозгляевенькой. «Ну, на что такому мозглецу топор?» — думаю. Подошел к нему.

— Продай, мол, топор, дяденька!

Он перепугался.

— Христос, — говорит, — с тобой, молодец! топор-от, чай, мой!

— Известно, — говорю, — что твой, только и для нас он словно надобен!

Ну, он столько учтив был, что больше со мной не разговаривал.

Таким манером прошло больше месяца, что я все дальше да дальше пробирался.

Веришь ли, даже не обогрелся ни разу порядком, ни разу путем не поел. Привычки-то к ночному рукомеслу еще не было, да и шел я все глухим местом да проселком — так и в питейный-то зайти не с чем. И страх тоже одолел, потому что зима для беглого человека самое некорыстное время; кругом это суметы[1], ни бежать, ни схорониться некуда: того гляди, как зайца изымают!

Однако около благовещения словно потёплило, а в деревнях в это время, на пригреве, об ину пору даже жарко бывает. Тут, братец мой, только я восчувствовал, какова на свете жизнь хороша есть. Сядешь, бывало, в сторонке около стожка, солнышко прямо в лицо тебе поглядывает, ветерки словно бархатные кругом поигрывают, в стороне, чу, вода русло себе просасывает, наверху всякая птица кишнем кишит, и не видать ее в вышине, а словно стон сверху вниз стелется... Журчит это, шумит все, точно и не один ты в свете, точно завсегда кто ни на есть с тобой присутствует... самое развеселое это время!

Тут и поживишка у меня порядочная случилась. Иду я раз сумёрьками своим трактом и вижу, что посередь самой большой дороги кибитка стоит; лошади, пара, сзади привязаны, ямщика нет. Подхожу я к кибитке, слышу — разговор

[1] Суметы — сугробы.

там идет; один седок, должно быть, заслышал меня, встал и смотрит через кибитку... Купец.

— Много лет здравствовать, господа хозяева! — говорю. Только он думает, что меня, значит, ямщик помогать им прислал.

— Скоро ли же ямщик-то вернется? — спрашивает.

Пошел я вперед, будто кибитку осматриваю, а сам примечаю, как бы за дело мне половчей взяться. Вижу, впереди зажора[1], у кибитки одна оглобля напрочь отломлена; значит, ни взад, ни вперед нет возможности.

— Да ты что за человек? — спрашивает купец.

А другой его товарищ, даже не видевши еще ничего, забился вглубь, да только, знай, стонет. Вижу я, что они ребята ласковые, и в разговор с ними взошел.

— Вы, — говорю, — хозяева, просто, что ль, едете?

— Нет, — говорит, — без топора тоже не ездим.

Ну, и топор показывает.

— А коли есть топор, так дайте, значит, пять целковых — и бог с вами! А не то будем силу пробовать!

Заартачился было купец, да товарищ его, спасибо, на выручку мне подоспел. Застонал это, заревел пуще прежнего: «Отдай да отдай пять целковых!»

Рассчитались.

Пошел я после того в кабак, да там и забылся. Об ину пору хорошо это бывает. Придет это тошно да смутно так; назади некорыстно, да и вернуться туда уж нельзя, а впереди словно туман да тéмнеть висит... куда идти? Думаешь-думаешь, даже головой об стену шаркнешься. Косушка вина много тут помощи делает. Выпьешь одну — в сердце словно радуга просияет; выпьешь другую — словно по морю по окияну плывешь; выпьешь третью — ни земли, ни воды под тобой нет, да и люди — ровно точки в глазах мерещутся...

В кабаке я человека встретил. Показалось мне, что он на меня с первого раза слишним зорко посмотрел, да и с целовальником словно перемигнулся. Вот выпил я свою чарку и сел в углу на лавку, будто как благодушествую, а у самого даже муравьи по-за кожей заползали! Все, знаешь, по новости своей думаю, что на лазутчика попал. Только они промеж себя разговор ведут с целовальником.

---

[1] Зажора — подснежная талая вода на дороге.

— Худо, Савва Дементьич! — говорит человек. — Разве вот летом поправимся, а не то, видно, совсем отсель откочевывать придется.

— Что ж так?

— Да ровно уж слишним много порядков здесь завелось. Намеднись Сидорку на гумне изловили, отпустить-то отпустили, да уж и выкуп больно несообразный заломили. Надоело... Только бы вот товарищей таких подыскать, чтоб и в огонь и в воду охочи были идти, так, кажется, ни на минуту бы здесь не остался!

— И Дарьюшку ни́што не жалко?

— Что Дарьюшка! Только связался я с ней, а то давно бы нам это дело покинуть надо! Намеднись вот муж: «Ты, — говорит, — меня в окаянство ввел, ты меня вором сделал, да и жену теперь отнимаешь!» Как будто я задаром его вором-то сделал! И что еще, так это остервенел, что ухватил нож да с ножом зря вперед и лезет. Даже смотреть на него глупо.

Целовальник захохотал.

— Однако надо правду-истину сказать, — говорит, — и ты в его добре ровно слишним хозяйствуешь!

— Чего хозяйствовать! С ней, брат, всякий хозяйствовать может — была бы охота! Намеднись вот офицер проезжий ночевать у них становился, так мне даже тошно стало, как она перед ним привередничала...

— Так вот она какова́!

— Да уж так-то «какова́», что опять-таки говорю: найдись у меня теперь товарищ хороший, чтобы вместе бежать отсель, ни на минуту бы даже не задумался.

А сам говорит это да на меня поглядывает. Однако я молчу и все это думаю, что он меня испытывать хочет. Долго ли, коротко ли они промеж собой побеседовали, только он не утерпел, подошел ко мне.

— Да ты что, — говорит, — земляк, в землю глазами уткнулся да нюни распустил?

— А так, мол.

— Что такать-то, а ты говори дело! Отколь бредешь?

— Прохожий, мол; шел да зашел — и все тут!

— Прохожий Иван стащил на селе кафтан, идет на большую дорогу за шубой... так, что ли?

— Хоть бы и так, тебе что за дело?

— Больно ты, брат, горд либо труслив уж не в меру. Тебя же жалеючи спрашивают.

— Да ты сам-то кто таков?

— А я, — говорит, — человек небольшой, по прозванию сторож ночной; неподалечку бекет[1] здесь содержим да господ проезжающих в страхе божием держим!

Целовальник засмеялся.

— Да; и уму-разуму наставляем их, потому как без нашей науки они беспременно забылись бы... Вот еще онамеднись углицкие купцы тут ехали; ну, я точно что малую толику от них попользовался, однако за это и притчу им сказал: «Который, мол, зверь всех зверей лютее? лев; кто льва лютее? человек, потому человек человека погубляет, а лев льва никогда; кто человеков лютее? разбойник!.. Так вы, — говорю, — ваши здоровья, в этом месте поздно ночью не ездите, потому тут шалят»... Так хочешь, что ли, с нами, молодец?

Посумнился я тут с крошечку. Хоть и вижу, что кончанье для меня одно впереди, однако с непривычки все будто робостно.

— Что задумался? или, брат, по пословице: собака волка дерет, и драть не умеет и отстать не смеет? А ты, коли в тебе живая душа есть, говори прямо: хочешь другом быть?

— Ты бы ему поднес для куражу[2], Мироныч! — говорит целовальник. — А то вишь он как от дороги осовел!

Стали мы тут пить, и бражничали таким родом дня с три. На четвертый день такие ли други-приятели сделались, словно вот век только друг о дружке и сокрушалися. Так и решилась судьба моя в кабаке.

Привел он меня к своей любезной. Муж у ней тутотка на большой дороге въезжий двор держал... так, не больно чтоб очень корыстный. Место это самое глухое да неприютное, и стоял ихний двор словно торчок один-одинехонек, кругом верст на двадцать лес дремучий, по дороге песок по колена; ни воды, ни лужаечки нет — так, дичь одна. Как едет, бывало кто по дороге, так издалеча еще слышно, как по лесу словно щелканье пойдет. Стало быть, польза от постояльцев была самая пустая; разве уж больно кто обночает[3], или ко-

---

[1] Бекет — пикет, сторожевая застава; здесь: разбойничья засада.
[2] Кураж *(франц.)* — бодрость, храбрость, отвага.
[3] Обночать — запоздать.

ни в песках шибко замаются, так к Федоту Карпову на часок завернет, а прочие норовят, бывало, мимо поскорей проехать. Да и жили они как-то сумнительно; у других хозяев и работник и работница путные есть, а у них и всего-то одна работница, да и та немая да дурочка была. Ну, для приезжих господ оно и неприглядно; который и остановится случаем, так все по сторонам озирается, не хотят ли, мол, резать его.

А Федот Карпов самый из себя паренек мизирный да нескладный был. Махонькой да тощо́й такой, борода это клинушком, глазки маленькие да врозь разбегаются — даже смотреть гнусно. И все-то, бывало, или на полатях проклажается, либо в окошко сонно́й глядит, а начнет это работать, так и не глядел бы на него: только в навозе, словно боров, копошится... А со всем этим такой жада́й был, что как увидит монету — даже словно обеспамятеет весь: этим только и держал его Корней в узде.

Зато на Дарьюшку точно, что можно залюбоваться было. И высокая-то, и полная-то, и глаза большие навыкате, а тело белое да разбелое, словно вот пена молочная скипелася. Одно слово, отдай все, да и мало. Пойдет это по горнице или даже на месте шевельнется, так вся тебе кровь в голову вдруг и кинется... Песни тоже петь мастерица была: что хочет над тобой своим голосом сделает! И тоской-то тебя всего зальет и удалью да молодечеством сердце разутешит: словно вся человеческая душа в руках у ней была. Жила, вишь, она прежде у одного господина молодого в любовницах, однако вышел ему срок жениться, он и выдал грешным делом ее за Федота. От него и песни-то петь она выучилась.

Пришли мы к ним около полдён, смотрим, Дарьюшка у ворот сидит, на солнышке греется. Поздоровались.

— Жить, что ли, у нас будете? — спрашивает Дарьюшка, а сама все на меня исподлобья посматривает.

— Да, — говорит Корней, — покудова до тепла надобно будет прожить.

— А после куда?

— А куда путь лежать будет... верного еще ничего сказать теперь не могу.

Только она на эти его слова ровно умехнулася; только так-то нехорошо да обидно, что разом мне Корнеевы слова вспомнились, которые он целовальнику в кабаке говорил.

— Чего смеешься? правду говорю, что остатние дни у вас здесь валандаюсь! — говорит Корней.

— Ну, и с богом! — отвечает Дарьюшка, а сама все на меня да на меня поглядывает.

Словно помертвел Корней.

— Ишь ты, подлая! — говорит.

Однако она ничего; сидит себе да, знай, полегонечку посмеивается.

— Так неужто ж, мол, мне всем твоим прихотям подражать? — говорит. — Хочешь идти, так иди... плакать по тебе, что ли?

— И уйду; только так я тебя на прощанье приголублю, что век меня не забудешь... змея ты!

Чудно́ мне это показалось. «Будь, — думаю, — я на Корнеевом месте, не посмотрел бы на косы твои русые!» Однако он смолчал; только все у него нутро, словно у зверя лесного, зарычало.

В тот же вечер у них с Федотом Карповым дело чуть не до убивства дошло, и всё опять эта Дарьюшка на озорство завела.

— Слышал, — говорит, — Федот Карпыч, что Корней Мироныч от нас в дальны стороны сбирается?

Как сказала она это, Федот Карпов даже помертвел весь. Ну, и Корней словно потупился. А она, вместо того чтоб смирять их, только пуще друг на дружку натравливает.

— Сказывают, как это там хорошо да привольно, и реки-то, слышь, молочные, и берега-то кисельные, и воруют-то все безданно-беспошлинно... ин и тебе за ним уж бежать, Федот Карпыч?

Слушает это Федот, а у самого даже бороденка, словно лист, трясется.

— Правду, что ли, баба лает? — говорит.

Ну, солгать бы тут Корнею: пошутил, мол, и вся недолга; однако он или посовестился, или не нашелся с первого разу: пробормотал что-то невнятно в ответ и замолчал.

— Ан врешь ты! — говорит Федот. — Не посмеешь отсель уйти!

А сам и заикается-то и по столу-то кулаком бьет...

— Али люб тебе стал? — говорит Корней.

— Люб не люб, а у меня с тобой счеты есть... В кабалу ты ко мне шел!

Ну, лезет на Корнея, да и шабаш, даже на месте словно скачет; и кулачишком-то и головой-то ему в брюхо норовит — удивление, да и только!

— Ты, — говорит, — женой у меня завладал, так задаром чтоб я тебе ее отдал?

— Ишь тебя больно спрашивались!

А Федот все одно:

— Издохнешь, — говорит, — мне служивши! убью я тебя и в ответе не буду!.. потому ты вор... да, — говорит, — вор, вор, вор... разбойник ты!

Корней только, знай, рукой отмахивается, как он слишком на него наскакивать начнет.

А Дарьюшка, сделавши свое дело, ушла за перегородку, словно горя ей мало; только и слышно, как она там позевывает да потягивается.

— Часто этак-то у вас бывает? — спрашиваю я ее.

— А кто их знает? Каждый день все ссору да драку заводят... что на них смотреть-то! Да неужто взаправду Корней на чужую сторону сбирается?

— Да, взаправду.

— Куда?

— А куда глаза глядят.

— Ну, и бог с ним!

— Будто тебе его не жалко?

Так она, братец мой, не то чтоб поскучать или хоть бы задуматься — все же чужой человек перед ней! — даже засмеялась в ответ.

— Ты, — говорит, — с Корнеем, что ли?

— С Корнеем.

— Напрасно... кабы ты с нами остался, и Федот бы Карпыч Корнея отпустил.

Говорит это, да так-таки прямо в глаза мне и смотрит.

— А намеднись, — говорит, — офицер проезжий у нас становился, так раза с четыре ворочался: все бежать с собой меня сманивал! И опять приехать обещался...

— А Корней чего смотрел?

— Что Корней! Известно, в хлеву злобствовал! Разве его в горницу пущают, когда проезжие господа есть?

— Видно, ты таки охоча гулять-то!

— А для че не гулять, когда гулять можно... весело гу-

лять! Вот у меня барин был миленький — уж то-то мы с ним погуливали!.. Хочешь, что ли, песню тебе спою?

Сняла со стены гитару да словно разлилась тут вся:

> Ах, где, жена, была, где, сударыня, была?
> Я была, сударь, была, у попа в гостях...

И поет-то, и плечьми-то подергивает, и каблу́чками-то пристукивает... всякая словно жилка в ней вдруг заговорила!

А грудь-то белая да полная тяжеленько это под гитарой мечется, ровно моченьки у ней нет, ровно истомило ее всю, измаяло! Так оно хорошо да сладко, что и Корней с Федотом лаяться перестали, а у меня даже свет в глазах помутился!.. Как легли мы после того с Корнеем на сеннице спать, долго она мне сквозь сон все мерещилась!

Жили мы у них с месяц места, ничего не делавши; однако я укрепился, против товарища подлецом сделаться не хотел. Подивился я тут на Корнея! Уж на что, кажется, крепкий человек был, а перед ней и даже перед этим Федоткой, словно овца, смирялся: что хотели из него делали. Она, бывало, и за водой его посылает и кушанье стряпать велит — все справлял!

По времени, и совсем тепло установилось. Стал Федот Карпов нам докучать, что мы только руки склавши сидим да чужой хлеб едим. Начал и я Корнею вспоминать, что не затем в товарищи к нему пошел, чтоб у бабы под юбкой прятаться...

Вот вышли мы со двора поздно вечером, на самый егорьев день. За десять верст от двора и место у нас было такое назначено, чтоб с товарищами сойтись. Только идем мы опушкой, а у меня словно сердце в груди измирает: то, знаешь, робость непереносная всего обхватывает, то вдруг такую в себе силу и мочь почувствуешь, что, кажется, не шел, а летел бы вперед да вперед. И чего-чего тут не передумаешь! и стоны-то зáгодя тебе слышатся, и кровь будто перед глазами проливается...

И ничего-таки этого не бывает, и всё, братец ты мой, это один разговор. Настоящий разбойник никогда не убивает, убивает больше мелкий воришка, который с предметом своим совладать не может. А у нас всякое дело миром кончается: одна часть тебе, другая часть нам, и ступай на все четыре

стороны. Случается, правда, что бабы от страха пищат, — ну, и Христос с ними, пускай пищат!

Потому, какая для нас корысть человека жизни лишать! Первое дело — грех занапрасно на душу возьмешь, а второе дело — след беспременно оставишь. Иной, свою часть вручивши, погорюет-погорюет, да и бросит дело так, потому дорожному человеку с полицейскими связываться тоже не приходится. Ну, а как убьешь-то его, он волей-неволей на тебя пожалуется; пойдут это шарить да сыскивать, и хоть ничего настоящего не найдут, однако на целый месяц все дело тебе перепакостят.

В эту ночь мы барина остановили. Молоденькой такой да нежненькой, а трясется, сердечный, один на тележечке. Шибко он нас испугался, даже смешался совсем.

— Что ж ты не везешь, каналья ты этакая! — кричит ямщику, а сам почти плачет.

Ну, денег у него мы не густо нашли, потому домой в побывку налегке ехал, а взяли у него чемоданишко, часы золотые да перстенек с руки. Больно мне его жалко было. И то говорил Корнею: «Что́, мол, младость обижать?» Однако он не послушал: «Не смотри, — говорит, — что младость; вырастет, такой же супостат будет!»

В другую ночь видим, целый рыдван[1] по дороге шестериком ползет. Ну, так и мерещится мне, что Семериков это рыдван.

— Братцы! — говорю, — голубчики! никак, это *мой* едет!..

Однако вышел не он, а барин какой-то большой. Растянулся себе на подушках барин любезный, спит во всю ивановскую, а у самого крест на манишке болтается. Ну, мы его разбудили.

— Ваше благородие! — говорит Корней. — Извольте вставать, на станцию приехали!

Только он поначалу высоко было взял.

— Как вы смеете! — говорит. — Да вы знаете ли, — говорит, — что я вас туда упеку, куда Макар телят не гоняет!..

И все это на крест свой показывает — такой старикашка затейный! Однако Корней его сразу смирил.

— Чтобы тебе, ваше благородие, неповадно было вздор болтать, так я, — говорит, — креста этого тебя лишаю!

[1] Рыдван — большая дорожная карета.

Урезонился он маленько, стал прощенья просить. Много он нам ласковых слов говорил: что и воровать-то стыдно, что и братья-то мы все, что обижать нам друг дружку, стало быть, не приходится; однако как наше дело к спеху было, мы вслушаться в его речи настоящим манером не могли и так-таки вчистую его обобрали, что даже лошади после того от легости рысцой побежали.

Стащили мы нашу добычу в лес, в самую трущобу, и хворостом там ее завалили. Только в лесу долго оставаться еще неспособно было. И по дороге и в поле уж сухо, а в лесу еще земля словно не весь пар отдала. Приклонишься книзу, даже видишь, как земля на глазах твоих отходить начинает, а в иных местах, где поглуше, словно вот легкая-легонькая пеленочка еще лежит — ледо́к, значит. А из-подо льду уж и травка зелененькая выбивается.

Воротились мы на постоялый ранним утром, чуть еще солнышко показалось. В горнице, видно, еще спали; только немая работница за ворота вышла, позевывает да на восход крестится; да и та, увидевши нас, словно испугалась и вдруг ни с того ни с сего в ворота шарахнулась... что за чудо! Однако Корней, должно быть, чутьем беду свою почуял и сам за ней следом ударился...

Только я уж застал, как он Федота допрашивал. Вижу, на нем и звания лица нет, а Федот стоит у стены в одной рубашке, волосы-то растрепаны, рожа немытая, стоит да под рукой его, ровно комар, топорщится.

— Куда убегла? сказывай! — говорит Корней.

И не то чтоб шибко выкрикивает, однако даже мне от его голосу жутко стало.

Ну, и Федотке, видно, не до разговоров пришлось; лепечет чтой-то про себя да руками разводит.

— Продал ты, что ль, ее? — опять говорит Корней. — Сказывай, сказывай же ты мне, аспид[1] ты этакой!

Собрал он его, братец ты мой, в охапку и грянул об пол. Уж топтал он, топтал, уж возил он его по полу-то, возил!.. Давно и душонка-то его смрадная, чай, в тартарары[2] пошла, а он все сытости не чувствует... Возьмет это, поднимет его с полу и опять обземь как шваркнет!..

---

[1] Аспид — здесь: злой, коварный человек.

[2] Тартарары — преисподняя.

Ну, под конец и сам измаялся: грянулся это на лавку, да как завопит, да застонет... аж вчуже меня холодный пот прошиб!

Часа через два мы этот треклятый постоялый двор со всех четырех углов зажгли. Так и сгорел со всеми пожитками; даже немая, по глупости своей, выбежать не успела...

* * *

И пошли мы после того во путь во дороженьку, отреклись от мира прелестного, поклонилися бору дремучему, и живем, нече сказать, ни худо, ни красно, а хлеб жуем не напрасно.

Странствуем мы с ним по русскому царству, православному государству, странствуем по горам, по долам, по лесам, по полям, по зеленым лузям... а больше около большой дороги держимся.

Весело, брат! это уж говорить нечего... то есть, просто у нас житье-прежитье!.. Однако...

Идешь это иной раз по опушечке, и вдруг на тебя дурость найдет... Растужишься, разгорюешься и падешь где-нибудь под елочкой, тяжеленько вздыхаючи, горьки слезы роняючи, свою жизнь проклинаючи... И елочка это словно тебя понимает: так-то плавно да заунывно лапами своими над тобой помавает[1]: вздохни, мол, замученный! вздохни, бесталанный, бессчастный! вздохни, сирота ты, сиротский сын!

Одно нехорошо: не могу я вообразить, как бы с Семериком свидеться... Слушай ты! Недавно сплю я и вижу, будто передо мной Семеричище-горынчище стоит. Стоит это преогромный такой, и вширь и ввысь раздался, и всей будто тушей своей на меня налегчи хочет... Начал было я тут тосковать да вперед рваться, чтобы, то есть, жажду свою на нем утолить, однако словно вот сковало меня всего: лежу на земле, ни единым суставом шевельнуть не могу... И вот, братец ты мой, какое тут чудо случилось! Смотрю я на него и вижу, словно стал он, Семеричище, пошатываться да поколыхиваться; ну качался-качался, даже в лице исказился совсем, да как грохнется вдруг сам собой наземь! Налетели это птицы-коршуны, расклевали телеса его неженные, кости белые люты звери разнесли... И на том самом месте, где Семерик

[1] Помавать — кивать, махать.

стоял, выросло будто божье деревцо, божье деревцо живительное, от всех ран-скорбей целительное... Уж куда хорош этот сон!

И другой еще сон я видел: прихожу будто я в град некий, и прихожу не один, а с товарищами — такие приятели есть, сотскими прозываются. Подхожу это к палатам пространным: с четырех концов башни высятся, спереду́ стоят батюшки-солдатушки; стоят солдатушки, ружьем честь отдают, за белы́ руки меня принимают, принимаючи разутешными речами ублажают: «Ты войди, мол, к нам, вор-разбойничек! душегубишка ты окаянненький! отдохни ты у нас, в остроге каменном, за затворами крепкими-железными!»

Третий видел я сон: стою я на месте высокиим, и к столбу у меня крепко-накрепко руки привязаны... Собралось тут народу видимо-невидимо, всё на меня позевать-поглазеть, на меня, на шельмецкого-шельмеца, на разбойника!

И молился я тут спасову образу
И на все стороны низко кланялся:
Вы простите меня, люди божии!
Помолитеся за мои грехи,

За мои ли грехи тяжкие!
Не успел я на народ во́зрити,
Как отсекли мою буйну голову.
Что по самые плечи могучие...

Ну, этот сон нельзя сказать, чтоб пригож был...
Однако не лучше ли нам это бросить, позабыть...

Ах, в горе жить, некручинну быть!
А и горе-горе, гореваньице!
Ах, в горе жить, некручинну быть!
Нагому ходить — не стыдится!

1859 г.





МИША И ВАНЯ

Забытая история

В передней сидят два мальчика, Ваня и Миша, и ждут барыню из гостей. Скоро полночь, а барыня все не едет; сальный огарок оплыл и нагорел; тусклый и мелькающий свет его освещает только лица двух собеседников да стол, перед которым они сидят; вверху и по углам темно. В доме тихо, словно в гробу; горничные девки[1] давно уж поужинали, воротились из кухни и улеглись спать где попало, наказавши мальчикам разбудить их, как только приедет барыня. В окна по временам показывается что-то белое: мелькнет-мелькнет и опять скроется; это сыплет снег, но мальчики думают, что выглядывает голова мертвеца, и вздрагивают.

[1] Горничная девка — крепостная дворовая девушка, служанка.

Ваня — мальчик крепкий, быстрый, черноволосый и черноглазый; он уверяет Мишу, что ничего не боится, что однажды он видел настоящего, заправского мертвеца — и того не струсил.

— Я ничего не боюсь, — говорит он, невольно, впрочем, бледнея, когда мороз вдруг ни с того ни с сего стукнет в стены барского дома. — Мне только скучно, да и то с тобой ничего!

— А ну, как мы сгорим? — робко спрашивает Миша.

— Сгореть мы не можем! — отвечает Ваня таким уверенным тоном, что Миша тотчас же успокаивается.

Миша, в противоположность Ване, мальчик слабенький, нервный, беленький, с белокурою головкой и большими синими глазами. Он часто посматривает на потолок и, увидевши, какой там сгустился мрак, вздрагивает и пожимается.

В ту минуту, как мы с ними знакомимся, они ведут оживленный, но несколько странный разговор.

— Холодным-то ножом, чай, больно? — спрашивает Миша, пристально глядя Ване в глаза.

— Это только раз больно, а потом ничего! — отвечает Ваня и покровительственно гладит Мишу по голове.

— А помнишь, как повар Михей резался! Тоже сначала все хвастался: зарежусь да зарежусь! А как полыснул ножом-то по горлу, да как потекла кровь-то...

— Ну что ж, что повар Михей! Михейка и вышел дурак! Потом, небось, вылечился. Для чего вылечился? все одно наказали дурака. А мы уж так полыснем, чтоб не вылечиться!

— Ты ножи-то приготовил ли, Ваня?

— Когда не приготовил! еще с утра выточил! Только ты у меня смотри! чур, не отступаться!

Миша вздохнул потихоньку; глаза его остановились на нагоревшей свечке.

— Что, разве снять со свечки... в последний раз? — сказал он слегка взволнованным голосом.

— Что с нее снимать-то? А я тебе вот что скажу, Мишутка: коли мы это теперича сделаем, так беспременно в рай попадем, потому теперь мы маленькие и грехов у нас нет! А заместо нас попадет в ад Катерина Афанасьевна!

— А Ивану Васильичу будет за нас что-нибудь?

— Ну, Ивану Васильичу, может, и простит бог! потому он не сам собою тут действует!

— Катерину-то Афанасьевну, стало быть, мучить будут?

— Еще как, брат, мучить-то! не роди ты, мать-земля! Первым делом на железный крюк за ребро повесят, вторым делом заставят голыми ногами по горячей плите ходить, потом сковороду раскаленную языком лизать, потом железными кнутьями по голой спине бить... да столько, брат, мучениев, что и сказать страсти!

— А ведь она не стерпит, Катерина-то Афанасьевна?

— Что ей, черту экому, сделается! — стерпит! Да там, брат Мишутка, на это не посмотрят! Там, брат, терпи! А не можешь терпеть — все-таки терпи!

Разговор на минуту смолк. Вдруг на улице завыла собака, завыла жалобно и тоскливо, как умеют выть только собаки.

— Ишь ты, это Трезорка покойника почуял! — сказал Миша изменившимся голосом.

— Ну что ж, что почуял! известно, почуял! А ты, небось, уж и труса спраздновал!

— Нет, Ваня, я не боюсь! я так только... я только думаю, отчего это собака всегда покойника чувствует?

— А оттого, что собака — друг человека! Вот лошадь тоже друг человека, только она понятия не имеет, а собака — она все понимает, оттого и покойника чувствует!

— А что, Ваня, кабы утопнуть? — спросил вдруг Миша.

— Чудак ты, Мишутка! Ты мне расскажи сперва, какая нынче вода? Ты скажи, лето нынче, что ли?

— Да, нынче вода холодная... чай, в воду-то бултыхнешься, так и не стерпишь!

— Вот то-то же и есть! Утопнуть-то — надо в пролубь лезти; да еще барахтаться станешь, вылезешь, пожалуй! — что́ одних мучениев тут примешь — пойми ты! А с ножом ловко! ножом как полыснул себя раз, тут тебе и конец! Разумеется, надо крепче!

— И бить никто больше не будет! — прошептал Миша.

— И бить не будут! Возьмут твою душу ангели и понесут к престолу божьему!

— А бог — ничего?

— А бог спросит: зачем вы, рабы божии, предела не дождались? зачем, скажет, вы смертную муку безо времени приняли? А мы ему всё и скажем!

— Мы всё скажем, как нас Катерина Афанасьевна мучи-

ла, как нам жить тошнёхонько стало, как нас день-деньской всё били... всё-то били, всё-то тиранили!

Миша потупился; накипевшие на сердце слезы горячим ключом хлынули из глаз. И текли эти слезы, текли свободно, без усилий, без гримас, как течет созревший источник из переполненной груди земли-матери. Ваня стал утешать расплакавшегося.

— А мы ловко ее завтра надуем, Катерину-то Афанасьевну, — сказал он. — Завтра гости у нее за столом соберутся, ан служить-то будет и некому!

Миша вздохнул в ответ.

— Я и ножи-то все попрятал! — продолжал Ваня. — И есть-то нечем будет.

А Миша все-таки никак не мог уняться; Ваня все возможное делал, чтобы как-нибудь развлечь его: сначала со свечи снял, потом глянул в окно и сказал: «А сивер-то! сивер-то какой разыгрался! ишь ты! ишь ты!»; наконец тоненьким голоском запел: «Ах вы, ночки, ночки наши темные!» — но Миша не только продолжал плакать, но при звуках песни еще более растужился.

— Нюня ты! — сказал Ваня с нетерпением.

В зале загудели часы. Заслышавши эти шипящие звуки, Миша вздрогнул, в последний раз глубоко вздохнул и перестал плакать.

— Скоро барыня приедет! — робко сказал он, насчитавши двенадцати часов.

— Дожидайся — скоро! — отвечает Ваня. — Эх, теперь бы вот соснуть лихо!

— Нет, уж ты не спи, Ваня, христа ради!

— Небось, боишься?

— Боюсь! — признался Миша и весь съежился.

— Ну, дурак и есть! Сколько раз я тебе говорил, что там ничего нет! — поучал Ваня, указывая на двери, которые вели в неосвещенный коридор. — Хочешь, я сейчас туда пойду?

Однако угрозы своей не исполнил. Водворилось молчание, а с ним вместе водворилась и тишина, тоскливая, надрывающая сердце тишина... Мальчики пристально вглядывались в трепещущее пламя свечи; Ваня водил по столу большим пальцем, нажимая его, отчего палец сначала двигался плотно, а потом начинал подпрыгивать. На дворе опять завыла собака.

— Ишь ее! ишь ее! — вымолвил Ваня и вслед за тем прибавил: — А что, Миша, где-то теперь Оля?

Оля была сестра Миши. Это была хорошенькая, белокурая и беленькая девушка, очень похожая на своего брата; ей было осьмнадцать лет. С полгода тому назад она неизвестно куда пропала, и рассказов об этом внезапном исчезновении ходило между дворней множество. Говорили, что она от дурного житья скрылась, но говорили также, что и от стыда. Достоверно было то, что одним утром она пошла на речку стирать и не возвращалась; на берегу была найдена корзина с невыстиранным бельем, но ни одежды прачки, ни даже тела ее нигде найдено не было. Достоверно также, что за два дня перед тем она была острижена и что по этому случаю плакала, рвалась и убивалась. Барыня клялась и надсаживала себе грудь, заверяя, что поганка Ольгушка утопилась не от дурного обращения, а для того, чтобы скрыть свой стыд. Тем не менее на всем этом происшествии лежала какая-то горькая тайна, и неизвестно было даже, действительно ли утопилась Ольга или только бежала. При следствии некоторые дворовые люди показали было, что житье Ольги было «нехорошее»; но исправник, производивший следствие (так как происшествие случилось в подгородной деревне Катерины Афанасьевны), ничему этому не поверил.

— Ну, вы это всё врете! Вы говорите правду, а не врите! — сказал он показателям и тут же приказал пригласить Катерину Афанасьевну.

Катерина Афанасьевна ахала и ссылалась на то, что у нее людей говядиной кормят. Позвали людей и спросили, действительно ли их кормят говядиной; ответ был, что кормят. Исправник подумал, посопел и записал: «Помещики содержат людей хорошо и даже говядиной кормят».

— Что же вы, бестии, врали? — обратился он к дворовым.

Дворовые стояли бледные и переминаясь с ноги на ногу; у некоторых искусаны были до крови губы. Катерина Афанасьевна заметила эту нераскаянность и сочла справедливым упасть в обморок. Исправник бросился утешать ее, услав оторопевшего Ивана Васильевича за спиртом. Результатом всего этого было краткое, но сильное объявление, написанное рукою самого исправника. Оно гласило:

«Утром 24-го сего июня из сельца Полянок неизвестно ку-

да скрылась принадлежащая отставному штаб-ротмистру Ивану Васильевичу Балящеву девка Ольга Никандрова. Приметами та девка: роста высокого, белокура, волосы стрижены, лицом бела, глаза синие, нос и рот умеренные; особая примета: над левой ноздрей небольшое родимое пятнышко; есть подозрение в беременности. Унесла с собой данное ей помещиком пестрядинное платье, в которое и была в тот день одета. Полицейские начальства, в ведомстве коих та беглая девка окажется, благоволят препроводить оную в Р-ий земский суд, для отдачи по принадлежности».

Тем это дело и закончилось. Катерина Афанасьевна на некоторое время присмирела, но месяца через два совсем забыла о происшествии и начала жуировать[1] жизнью по-прежнему.

Катерина Афанасьевна была глубоко развращенная женщина, но не знаю, имею ли я право называть ее злою. По крайней мере, весь город к ней ездил, и целый день в ее доме было, что называется, разливанное море; весь город знал, какие она *фарсы*[2] выделывает над Машками и Ольгушками, и тем не менее никто не решался отозваться об этих фарсах не только строго, но даже и уклончиво. Напротив того, ее все любили, потому что в своем кругу она была барыня веселая и даже добрая, многим из своих друзей делала разные одолжения и всех равно отлично принимала и кормила.

— Сегодня у Катерины Афанасьевны за обедом, в супе, таракана подали, — говорили про нее в городе. — Что ж бы вы думали? Она преспокойно себе позвала повара и приказала ему таракана съесть!

— Лихая баба!

— Бедовая!

Некоторые, конечно, делали изредка предположение, «как бы, дескать, не попасться Катерине Афанасьевне за эти *фарсы*», но очевидно, что в этом случае сомнение заползало совсем не по поводу самых *фарсов*, а по поводу глагола «попасться». Самые же фарсы служили как бы оселком для обнаружения своего рода остроумия, которого кровавости никто не замечал, своего рода изобретательности, которой ехидства никто не подозревал.

---

[1] Жуировать *(франц.)* — играть, наслаждаться.
[2] Фарс — комическое представление; здесь: издевательство.

— Сенька! поди лизни печку! — говорили Сеньке.

Сенька лизал печку и обжигал язык; он возвращался весь красный, лицо его как-то неестественно напыживалось, из глаз выжимались слезы.

— Ну, дурак, — еще реветь вздумал! — говорили одни.

— Рожа-то, рожа-то какая! — восклицали другие.

И затем следовал взрыв общего веселого хохота.

Хохот — и больше ничего...

Не ясно ли, что все это без злорадства делалось, что при этом главный расчет совсем не в том состоял, чтобы причинить Сеньке мучительную боль, а в том, чтоб посмотреть, какую Сенька рожу уморительную скорчит, как он напыжится... Самые кроткие люди молчали, когда Сеньку посылали лизать пылающую печь, самые кроткие люди не могли слегка не фыркнуть, когда Сенька возвращался, по совершении своего подвига, весь красный и пыхтящий... Они молчали и фыркали не потому, чтоб одобряли подобного рода увеселения, но просто потому, что такое уж время юмористическое было...

Напоминание о сестре подействовало на Мишу болезненно. Он вдруг, словно под тяжестью какой, пригнулся; бледное его личико сделалось белее полотна, и на не обсохших еще глазах опять сверкнуло слезообильное облако.

— А ведь она барыне являлась! — продолжал Ваня.

— Врешь ты! — всхлипывал Миша чуть слышно.

— Являлась — это верно! Ключница Матрена сказывала, что барыня-то, словно мертвая, из спальни в ту пору выскочила, ни кровинки в лице нет!

— Врешь ты! она жива! — настаивал Миша, совершенно захлебываясь слезами.

— Ну, брат, нет! это погоди! Она утопла — это уж как дважды два! Из-за чего ж бы ей тогда барыне являться, кабы она не утопла!

— Врешь ты! врешь все! — кричал Миша, с которым чуть не сделалась истерика.

— Ну, и опять-таки ты дурак! Из-за чего ты нюни-то распустил! Известно, нам один конец!

Миша смолк; он, по-видимому, что-то припоминал. Припоминал он, как Оля, проходя мимо него, наскоро трепала его по щеке и приговаривала: «Дурашка ты мой!»; припоминал он, как Оля однажды надевала на него чистенькую новенькую рубашечку и сказала при этом: «Ну, носи теперь на здо-

ровье, Мишутка ты мой!»; припоминал он, как однажды Оля выбежала в лакейскую вся бледная, и из глаз ее ручьями текли слезы; припоминал он голос, моливший о пощаде, голос искаженный, вымученный, кричавший: «Матушка, Катерина Афанасьевна, не буду! батюшка, Иван Васильевич, не буду!»; припоминал он, как упала из-под ножниц длинная русая коса Оленькина, как Оля билась и рвалась...

«Ах, не надо! не режьте!» — раздавался в ушах Миши знакомый молящий голос, раздавался с такою ясностью и отчетливостью, что он вдруг поверил... Он поверил, что Оля умерла действительно и что она, именно она является к барыне и мучит ее по ночам. Ему показалось даже, что она и теперь с ними, что она зовет его.

— Оля-то здесь ведь! — сказал он испуганным голосом.

— Ну, вот это ты уж врешь! — отвечал Ваня и между тем сам вздрогнул и инстинктивно озирался кругом.

— Ей-богу, здесь! — настаивал Миша.

— Дурак ты! Говорят тебе, нет никого! И из-за чего ей являться-то к нам? Ты пойми, зачем покойник является? Покойник является затем, чтоб мучить, а нас за что мучить она будет? Мы ведь Олю не трогали, Оля была добрая... да, она добрая была девка!

— Оля была добрая! — машинально повторил Миша и ласково взглянул на своего товарища.

— Постой-ка, я по углам посмотрю! — продолжал Ваня, как будто с единственною целью успокоить Мишу; но очевидно было, что он и самого себя не прочь был успокоить.

Ваня встал с лавки и сначала посмотрел под стол; потом обошел всю комнату и в углах даже пошарил по стене; потом заглянул в дверь, ведущую в коридор. Никакого виденья нигде не оказалось.

— Ну вот, и нет ничего! — сказал он, усаживаясь на старое место.

— Оля была добрая! — задумчиво повторил Миша.

— За доброту-то и в дворне ее все любили! Помнишь, Степка как убивался, как она пропала-то! Степка-то, говорят, жениться на ней хотел!

— Стало, его за это в ту пору в часть [1] посылали?

---

[1] То есть в полицейский участок, куда помещики отправляли крепостных для наказания розгами.

— За это за самое... Степка-то барыне говорит: «Лучше, — говорит, — Катерина Афанасьевна, вы меня теперича в солдаты отдайте, а служить, — говорит, — я вам не желаю!»

— Ишь ты!

— А барыня говорит: «Нет, — говорит, — Степушка! в солдаты я тебя не отдам, а вот в пастухах ты у меня сгниешь!» И гниет!

— И для чего только это она его в солдаты не отдала?

— А потому, братец, такой у ней нрав!

— А ведь в солдатах, Ваня, хорошо?

— Ну... кто ж его знает! Однако все лучше, нечем у нас; у нас уж какая жизнь!

Миша опять задумался; он хотел сказать Ване, что лучше было бы в солдаты пойти, чем... но на этом мысль его оборвалась; очевидно, он боялся рассердить Ваню и выставить себя в его глазах трусом.

— А знаешь ли что, Мишутка? — вдруг спросил Ваня.

— Что тебе?

— Пойдем-ка мы, обойдем комнаты... посмотрим!

Мише тотчас же мелькнуло: в последний раз!

— Пойдем, Ваня! — сказал он.

Ваня снял со свечи и пошел вперед.

— Вот это, брат, зала! — сказал он, когда пришли в первую комнату.

— Зала! — повторил за ним Миша.

— Кланяйся, брат, теперь на все четыре стороны! — наставлял Ваня.

Миша поклонился на все четыре стороны; Ваня исполнил вместе с ним то же самое.

Таким образом обошли они все комнаты и везде простились; дошли наконец до крайней комнаты, где стояла широкая двуспальная кровать.

— Ишь их! — сказал Ваня и не только не поклонился на все четыре стороны, но плюнул.

— Знаешь ли что́! — продолжал он. — Зажжем-ка теперь лиминацию! Ведь колдовка-то еще, чай, долго не приедет!

— Зажжем! — согласился Миша, и на лице его сверкнула детски-радостная улыбка.

По всему видно было, что натура Миши была натура нежная, женственная, артистическая; он любил, когда в комнате бывало светло и свежо, и, напротив того, куксился в мраке и спертом воздухе передней. По всему видно также, что Ваня знал про это свойство Миши и желал чем-нибудь угодить ему.

Зажгли иллюминацию действительно блестящую; Миша пожелал быть хозяином, Ваня изъявил согласие быть гостем. Но едва успели хозяин и гость усесться с ногами на диван, едва успел хозяин предложить своему гостю обычный вопрос о здоровье, как в передней раздался сильнейший трезвон. Хозяин и гость бросились тушить свечи, но впопыхах дело не спорилось; раздался еще трезвон, более сильный и более нетерпеливый.

Наконец свечи кое-как затушили и бросились в переднюю. Через дверь еще Ваня слышал, как барыня сердиться изволили.

— Это всё мальчишки-мерзавцы! — говорила она в величайшем гневе. — Вот ужо погоди!

— Успокойся, душенька! — уговаривал Иван Васильич. — Может быть, это братец Никанор Афанасьевич приехал!

В это время Ваня отпер наружную дверь.

— Братец Никанор Афанасьич здесь? — был первый вопрос барыни.

— Никак нет-с.

— Кто же свечи в зале зажигал?

— Никто не зажигал-с.

— Мерзавец!

Сильный удар свалил Ваню с ног.

— Кто зажигал свечи в зале? — накинулась барыня на Мишу, который стоял ни жив ни мертв.

— Никак нет-с, — едва-едва прошептал Миша.

— Долго ли вы мучить-то нас будете? — каким-то неестественным голосом закричал Ваня, вскочив с полу, и не успел никто моргнуть глазом, как он уже впился ногтями в рот и нос Катерины Афанасьевны.

Катерине Афанасьевне сделалось дурно; Ваню насилу отняли от нее, потому что он словно замер и закоченел весь. Катерину Афанасьевну повели под руки в спальную, причем Иван Васильич приговаривал: «И как это тебе, матушка, не стыдно беспокоить себя из-за этих хамов!» Ваню тоже увели

на кухню; он не плакал, а только крнчал; очевидно, что все существо его было глубоко и решительно потрясено, что он не обладал собою, и этот резкий, неестественный крик вылетал из его груди помимо его волн. Вся дворня страшно переполошилась и сбежалась кругом Вани; начали его оттирать и насилу уняли. Когда крики унялись, Ваня мгновенно и крепко заснул.

Потому ли, что Катерина Афанасьевна действительно заболела, или потому, что дворовые доложили об исступлении, в котором находился Ваня, но распоряжения насчет мальчиков в ту ночь никакого сделано не было. Сказано было только держать обоих в кухне. Миша лег подле Вани, но долго не мог сомкнуть глаз; завтрашний день представлялся его возбужденному воображению со всеми подробностями, со всеми ужасающимн истязаниями. Мерещились ему пуки розог, мерещилась ему Катерина Афанасьевна; лицо ее словно пылало, на голове словно змеи вились, разевая рты, и высовывались оттуда огненные жала. Ваня по временам стонал; дворовые кругом безмятежно спали; Мише сделалось страшно...

«Ах, не надо! ах, не режьте!» — раздавалось у него в ушах, и образ сестры носился перед его глазами, как жнвой, но не в затрапезном, истасканном платье, а весь белый, прозрачный, весь словно озаренный чудесным блеском...

Наконец, часов около трех, он заснул...

В четыре часа Ваня разбудил его. Долго смотрел на него Миша изумленными, слипающимися глазами, долго не мог понять, где он и что с ним...

— Пора! — шептал Ваня.

Миша вздрогнул, но все еще не поннмал.

— Вставай! — настанвал Ваня.

Мнша машинально встал и машннально же оделся. Онн вышли в сени; холодный воздух охватил их со всех сторон и несколько отрезвил Мишу. В руках у Вани были ножницы; он проворно скинул с себя казакин и начал резать его на куски.

— Не доставайся ннкому! — шептал он как-то злобно и сосредоточенно.

Потом он снял с себя сапоги и проткнул в нескольких местах головки.



Миша смотрел на это, и вдруг в нем вспыхнула какая-то страстная жажда жизни. Он ухватил себя обеими ручонками за горло, начал метаться и заплакал.

— Нюня! ступай спать! — произнес Ваня.

— Нет! нет! — заикался Миша. — Нет! нет... я пойду! я, право, пойду!

— Что ж ты ревешь? Разве вчера не видел?

Они вышли на двор и перелезли через забор. Улица была пуста, и непробудная тишина царствовала по всему городу. Дворовая собака Трезорка бросилась было к ним с ласковым визгом, но Ваня показал ей кулак, вследствие чего она вильнула раза два хвостом и юркнула в свою конуру. Утро было не столько холодное, сколько сырое и туманное; словно облако какое-то висело над улицей, словно мгла, наполненная иглистыми атомами, застилала воздух. Ваня был в одной рубашке; ему сделалось холодно.

— Ну, брат, — сказал он, — это я напрасно... Напрасно, значит, я теперича казакин свой изрезал!

Миша не отвечал ему; вообще он действовал как-то страдательно, словно горела, и упорно горела, в нем непорванная струя жизни, но не знала, как ей высказаться, как прорваться наружу.

И вот перед ними овраг; в этом овраге условились они исполнить свое намерение; Ваня рассчитывал, что там никто им не помешает, никто не может прийти скоро на помощь.

Ваня спустился и пошел вперед; он был бодр, а между тем манящие, сладкие голоса жизни говорили и в нем; он смеялся, а между тем в груди его закипала какая-то страстная жажда; он шел и точил друг об друга ножи; но звук, который от этого происходил, был какой-то невеселый, отрывистый звук; он чувствовал, что внутри его все горит, а между тем бедное, исхудалое тело ходенем ходило от проницающей сырости и холода... Миша шел за ним следом и по-прежнему был в каком-то забытьи.

На свету будочник, спокойно спавший в своей будке, был разбужен проезжими мужиками. Мужики слышали стон в овраге и почтительно докладывали о том дремлющему блюстителю общественной тишины.

— Батюшки! помогите! — прозвенело в эту самую минуту в воздухе.

Спустились в овраг и нашли двух мальчишек, из которых один был одет в казакине, другой — в одной рубашке. Ваня был бездыханен, но Миша еще был жив. Неверная, трепещущая рука в несколько приемов полоснула ножом по горлу, но робко и нерешительно.

Жажда жизни сказалась и восторжествовала.

1863 г.





ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МУЖИЧОК

Известно ли читателю, как поступает хозяйственный мужик, чтоб обеспечить сытость для себя и своего семейства? О! это целая наука. Тут и хитрость змия, и изворотливость дипломата, и тщательное знакомство с окружающей средою, ее обычаями и преданиями, и, наконец, глубокое знание человеческого сердца.

Прежде всего, он начинает с самого себя, с своей семьи, с работника или работницы, ежели у него есть, с людей, созываемых на помочи, и т. д. И главная забота его заключается в том, чтоб этот рабочий улей как можно умереннее потреблял еды и в то же время был достаточно сыт, чтобы устоять в непрерывной работе. Первый предмет, представляющийся его вниманию, — хлеб. Он не подает на стол мягкого хлеба, а непременно черствый — почему? — потому что черствый хлеб спорее; мягкого хлеба вдвое съешь. Затем он круглый год льет в кашу не коровье масло, а конопляное, хотя первое можно найти дома, а второе нужно купить, и оно обойдется почти не дешевле коровьего — почему? — потому что налей мужику коровьего масла, он вдвое каши съест. Свежую убо-

ину он употребляет только по самым большим праздникам, потому что она дорога, да в деревне ее, пожалуй, и не найдешь, но, главное, потому, что тут ему уж не сладить с расчетом: каково бы ни было качество убоины, мужик набрасывается на нее и наедается ею до пресыщения. Одно средство, за редкими исключениями, — совсем изгнать ее из насыщающего обихода.

Не менее мудро поступает он и с гостями во время пирований, которые приходятся на большие праздники, как рождество, пасха или престольные, и на такие семейные торжества, как свадьба, крестины, именины хозяйки и хозяина. Он прямо подносит приходящему гостю большой стакан водки, чтоб он сразу захмелел.

— Как поднесу я ему стакан, — говорит он, — его сразу ошеломит; ни пить, ни есть потом не захочется. А коли будет он с самого начала по рюмочкам пить, так он один всю водку сожрет, да и еды на него не напасешься.

Скотину он тоже закармливает с осени. Осенью она и сена с сырцой поест, да и тело скорее нагуляет. Как нагуляет тело, она уж зимой немного корму запросит, а к весне, когда кормы у всех к концу подойдут, подкинешь ей соломенной резки — и на том бог простит. Все-таки она до новой травы выдержит, с целыми ногами в поле выйдет.

Таковы характеристические черты крестьянского хозяйственного быта, те черты, которыми определяется все дальнейшее его жизнестроительство. Голова скромного хозяйственного мужичка не знает отдыха; с утра до вечера она занята всевозможными устроительными подробностями. Много лежит на нем обязанностей: прежде всего нужно, конечно, определить крайний minimum[1], чтобы прокормить себя и семью; потом — подумать об уплате денежных сборов и отыскать средства для выполнения этой обузы; наконец, ежели окажутся лишки, то помечтать и о так называемой «полной чаше». Но расчеты его чересчур часто нарушаются. Беспрестанно встречаются экстренные расходы: то свадьба в доме, то крестины — все это составляет предмет мучительных забот. Мужику все нужно; но главнее всего нужна предусмотрительность, уменье заблаговременно приготовиться и

[1] Минимум (*лат.*).

запастись, способность изнуряться, не жалеть личного труда, лишь бы как можно меньше истратить денег.

Деньги — это кровная язва крестьянского быта. Дома крестьянин очень мало в них нуждается — только на соль да вино да на праздничную убоину. От времени до времени требуется сшить девушке-невесте ситцевый сарафан, купить платок, готовый шугайчик [1]; по возвращении из поездки в город хочется побаловать ребят калачом или баранками. В кои-то веки он купит праздничный армяк синего сукна для себя и недорогой материи на сарафан для жены. Вот и вся его домашняя денежная трата. Остальное он должен добыть на уплату всевозможных сборов.

Ради них он обязывается урвать от своего куска нечто, считающееся «лишним», и свезти это лишнее на продажу в город; ради них он лишает семью молока и отпаивает теленка, которого тоже везет в город; ради них он, в дождь и стужу, идет за тридцать — сорок верст в город пешком с возом «лишнего» сена; ради них его обсчитывает, обмеривает и ругает скверными словами купец или кулак; ради них в самой деревне его держит в ежовых рукавицах мироед. Самого его не только не тянет к мироедству, но он и способностей к нему не имеет: он просто толковый и хозяйственный мужик.

Неудивительно, стало быть, что он весь погружен в одну думу: спасти себя и при́сных [2].

И он настолько привык к этой думе, настолько усвоил ее с молодых ногтей, что не может представить себе жизнь в иных условиях, чем те, которые как будто сами собой создались для него. Он идет за возом в город, думает и в то же время ищет глазами. Подкова на дороге валяется — он ее за пазуху спрячет (найденная подкова предвещает счастье); бумажку кто-нибудь обронил, окурок папироски — он и их поднимет; даже клочок навоза кинет в телегу и привезет домой. Сегодня клочок, завтра клочок — смотришь, ан и целый возок наберется. В городе он отстаивает себя до последней крайности, но почти всегда без успеха, потому что городская обстановка ошеломляет его; там всё бары живут да купцы, которые тоже барами смотрят, — чуть что, и городовой к ним на помощь подоспеет, в кутузку его, сиволапого, пота-

[1] Шугайчик — теплая шубка.
[2] Присных — близких, родиых.

щат. Где ему, темному и безграмотному мужику, спастись от всех ловушек, которые специально для него расставлены? Поэтому он продает свой товар по произвольно установленной цене, наскоро кормит лошадь и, сделавши необходимые закупки, спешит засветло доехать домой. Здесь он рассчитывает себя, откладывает гроши к грошам, разглаживает и рассматривает на свет скомканные ассигнации и прячет выручку в заветную кубышку. В большинстве случаев оказывается, что получка далеко не оправдывает ожиданий.

Подобные неудачи встречаются очень часто и до боли его трогают. Но они от него не зависят: все равно, застигнут ли они его или благополучно пройдут мимо, — все равно ему и еще и еще придется идти им навстречу и подчиниться. Надо, стало быть, забыть об неудачах и стараться наверстать на чем-нибудь другом. И он, не успевши отдохнуть с дороги, обходит двор, осматривает, всё ли везде в порядке, задан ли скоту корм, жиреет ли поросенок, которого откармливают на продажу, не стерлась ли ось в телеге, на месте ли чеки, не подгнили ли слеги[1] на крыше двора, можно ли надеяться, что вон этот столб, один из тех, которые поддерживают двор, некоторое время еще простоит. Он берет в руки топор и до самого ужина стучит им и облаживает замеченные огрехи. Словом сказать, спасает себя.

В свое время он припасается, стараясь прежде всего вырвать то, что достается задаром, а потом уже думает о том, чтобы как можно дешевле приобрести то, чего нельзя достать иначе, как за деньги. Летом овраг, разделяющий деревню на две половины, совсем засыхает; но в весеннее половодье он наполняется до краев водою, бурлит и шумит. Из соседней речки Пишковки заходит туда рыба: головли, ерши, язи, плотва, окуни, щука. Заботливый хозяин пользуется этим даровым прибытком и ставит верши. Он больше всего радуется щуке, которая хоть и костлява, но зато попадается крупных размеров и притом годна к солке впрок. Он наполняет ею все кадочки и бочонки, какие только найдутся в доме, и в продолжение всего лета лакомит себя, семью и домочадцев соленою рыбкой. Рыба тверда, почти несъедобна, но зато она спора, ее меньше съедят — а это все, что требуется доказать. Притом же на стол ставится чашка не с пустыми щами,

[1] **Слега** — толстая жердь, брус.

а щи с рыбой; а это означает тороватость[1]. Про такого мужика говорят: «он живет торовато, у него щи с рыбой едят». И работники идут к нему охотнее, и помочь он скорее сберет.

Весной же он запасается солониной. Прослышит, что где-нибудь корова от бескормицы еле жива, а владельца этой коровы сборами нажимают, устроится с тремя-четырьмя другими заботливыми хозяевами в складчину, и купят коровью мясную тушу за пять рублей. В ней больше костей, нежели мяса, да и мясо неуваристое, точно мочало, а все-таки мало-мало двенадцать пудов этого мяса найдется — пуд-то обойдется каких-нибудь сорок копеек. И вот у него на все лето солонины хватит. За неимением погребов, солонина зарывается в землю, но к наступлению летнего мясоеда[2] все-таки сильно припахивает; но это делает ее еще спорее. Мужик и с запашком убоину съест, но, разумеется, меньше, нежели если б она была совсем свежая. Стало быть, и тут выгода.

Главное, поддержать в исправности силы, необходимые для летней страды. Не наедаться, а именно только в меру себя поддерживать. А как и чем этого достигнуть — вопрос второстепенный.

Летом мужик весь в работе. Ленивый и захудалый мужичонко — и тот не сходит с полосы, а хозяйственный мужичок просто-напросто мрет на ней. Он почти не спит; ложится поздно, встает с зарей (по вечерней и утренней заре косить траву спорее) и спешит на работу. Вечно тревожимый думою о насущном хлебе, он набрал у соседнего помещика пустошных покосов исполу[3] и даже из третьей копны, косит до глубокой осени и только с большой натугой успевает справиться с работой. И жена и взрослые дети — все мучатся хуже каторги; даже подростки — и те разделяют общую страдную муку. Зато в конце августа он уже может рассчитать, что своего хлеба у него хватит до масленой. Но сена вдоволь: есть чем и скотину прокормить, и на сторону продать можно. Сено — главная его надежда. Земельный надел так ограничен, что зернового хлеба сеется малость; сена же он может добыть задаром, то есть только потратив, не жалеючи,

[1] Тороватость — щедрость, доброта.

[2] Мясоед — в православно-церковном уставе период времени, когда разрешалась мясная пища.

[3] Исполу — то есть отдавать половину урожая собственнику земли.

свой личный труд на уборку. Мало его личного труда — он ходит по соседям, сбирает помочи. Обыкновенно на помочи выходят в праздники, а это тоже доставляет своего рода спорость: прогульных дней меньше. Все знают, что у него и рыбы и мяса насолено, и конопляного масла непочатый бочонок стоит, и чарка водки найдется, — и идут к нему. Идут весело, с песнями, работают споро; он в первой косе. Хотя с работы возвращаются не поздно, но на миру работа идет вдвое спорее; все-таки угощенье наполовину дешевле обойдется, нежели ту же пустошь наемными рабочими убрать. Да и хозяину веселее, когда кругом все кипит и спорится. Это, может быть, одни из редких минут, когда в нем сердце взаправду играет.

Однако к концу страды даже он начинает тощать на работе. Лицо у него почернело под слоем въевшейся пыли; домашние еле бродят. К счастию, страда кончается: и с озимыми отсеялись, и снопы с поля свезены и сложены в скирды, и последнее сено убрали. Наступает осень, иногда румяная, иногда сопровождаемая ливнями. Осень тоже имеет свою страду, но уж более снисходительную. Работают преимущественно под крышей или вблизи дома, на гумне, на огороде. Слышится стук цепов; воздух насыщается запахом созревших овощей. Но хозяйственный мужичок зорко следит за атмосферическими изменениями, потому что и сплошь румяная осень может повредить, и от слишком частых дождей хозяйство, пожалуй, пострадает. Всего лучше, ежели погода перемежающаяся — тогда его сердце успокаивается до весны. Он ходит в поле и любуется на рост озими. Но и тут уж мелькает в его голове предательская мысль: осень всклочет, да как-то весна захочет! «Что, ежели вдруг весна придет бездождная или сплошь переполненная дождями? Пойдут на низинах вымочки[1] — своего зерна не соберешь; или на низинах хорошо взойдет, да наверху сгорит!» — мучительно думается ему.

Но загадывать до весны далеко: как-нибудь изворачивались прежде, изворотимся и вперед. На то он и слывет в околотке умным и хозяйственным мужиком. Рожь не удастся — овес уродится. Ежели совсем неурожайный год будет, он кого-нибудь из сыновей на фабрику пошлет, а сам

[1] Вымочки — сгнившие от воды посевы.

в извоз уедет или дрова пилить наймется. Нужда, конечно, будет, но ведь крестьянину нужду знать никогда не лишнее.

Осенью он запасается на зиму. Сам с взрослыми сыновьями — целый день в лесу, готовит дрова и сучья; или молотит на гумне, справляет на зиму сбрую. Ежели найдется досуг, то для наполнения его у него есть и ремесло. Дуги на продажу готовит, бондарничает, веревки вьет. Женский персонал, между тем, занимается зимним припасом. Стучат сечки о корыто, наполненное ядреной капустой; солится небольшой запас огурцов, в виде лакомства, на праздники; ходнем ходит ткацкий станок, заготовляя красно[1] и шерстяную редину[2], которыми зимой обшивают семью. Минуты нет отдохнуть. Даже с наступлением сумерек, при свете керосиновой лампочки (такое освещение дешевле лучины стоит), — и тут дело найдется. Большак новый лапоть плетет или старый починивает; старуха шерстяные чулки и карпетки[3] вяжет; молодухи прядут. Благословенный труд не покидает этой семьи; он не кажется ей каторгой, а составляет естественный жизненный процесс. Поздно вечером (сидят долго, но зато встают позднее — где еще до свету!) ужинают и ложатся спать. Временно каторга прекращается.

Ночью изба представляет собою нечто вроде нестерпимой клоаки. Домочадцев скучилось так много, что и пол занят, и полати, и лавки по стенам. Изба полна смрадом и стонами этого замученного хозяйственностью люда. У мужика есть, кроме избы, и «чистая» горница, но она не топится, ради сбережения дров, и вообще в ней даже летом редко живут; она существует напоказ и открывается только в праздники. Хорошо еще, что жилая изба топится «по-черному»; утром, чуть свет, затопит хозяйка печку, и дым поглотит скопившиеся в избе миазмы. Этот дым выедает глаза, щекочет ноздри. В беспрестанно отворяемую дверь врывается холодный воздух. Сонные домочадцы, разбуженные запахом гари и холодом, вскакивают как встрепанные и бегут на крыльцо, где на веревке качается рукомойник. Зато часа через два, когда семейный обед готов, хозяйка заботливо закутывает печь, и в

---

[1] Красно — крестьянский холст, простое полотно.
[2] Редина (рединна) — редкая, неплотная ткань.
[3] Карпетки — носки.

избе делается светло и тепло. «Точно в раю!» — говорит она довольным голосом.

Только в короткий рождественский мясоед жизнь становится как будто льготнее. Молодежь отдыхает; даже старики позволяют себе относительную свободу, хотя хозяйственный мужичок и тут не упускает случая, дающего возможность с выгодой употребить свой труд. Днем, около сумерек, деревенская улица полна катающимися. Парни, усадив в сани гурьбы девушек, настегивают лошадей и мчатся во всю прыть. Слышатся гиканья, крики, смех. Накатаются досыта, иззябнут — но в избу заходят не надолго. Зажгутся в избах огни — пора на посидки. Соберутся в очередную избу, играют песни и веселятся до петухов. Тут парни высматривают невест, завязываются сватовства на красную горку[1]; любовь вступает в свои права.

В это же время, по преимуществу, хозяйственный мужичок играет свадьбы.

Женитьба сына не требует особенных приготовлений. Сын берет бабу в дом, а дома все идет своим чередом; прибавляется только лишняя работница. Присмотреть невесту, уговориться насчет приданого, установить норму расходов для пирований и на плату за венчание — вот все, что требуется. Но к свадьбе дочери подготовляются издалека и исподволь, чтоб расход не был чувствителен. Дочь имеет собственную коробью[2], в которую сама собирает свое приданое. Ей каждый год отделяется небольшой клочок земли и дается горсточка льну на посев; этот лен она сама сеет, обделывает и затем готовит из него для себя красно. Все заготовленное она прячет в коробью, вместе с полученными в разное время подарками: платками, бусами, нарядными сарафанами и т. д.

С наступлением времени выхода в замужество — приданое готово; остается только выбрать корову или телку, смотря по достаткам. Если б мужичок не предусмотрел загодя всех этих мелочей, он наверное почувствовал бы значительный урон в своем хозяйстве. А теперь словно ничего не случилось; отдали любимое детище в чужие руки, отпировали свадьбу, как быть надлежит, — только и всего.

---

[1] Красная горка — церковный весенний праздник.
[2] Коробья — короб или сундук с одеждою.

Выше я сказал, что хозяйственный мужичок играет домашние свадьбы (или, точнее, женит сына, потому что дочь выдается, когда жених найдется) преимущественно к концу рождественского мясоеда. В этом деле им тоже руководит мудрость змия и твердая решимость не потерпеть ущерба в жизнестроительном обиходе. Своевременно приведенная в дом сноха родит, при таком расчете, не раньше осени; следовательно, всю летнюю страду она отбудет свободно. И не только будущую страду, но и предбудущую, потому что ребенок, родившийся с осени, успеет мало-мальски окрепнуть и не будет слишком часто отрывать мать от работы. Женить на красную горку тоже удобно, с точки зрения ближайшей страды, но зато предбудущая уже не дает достаточного обеспечения: ребенок будет мал и слаб.

Как видит читатель, никаких дум у хозяйственного мужика нет, кроме думы о жизнестроительстве. Ради нее он отдает себя и семью в жертву каторге, ради нее трепеливо выносит всякие неожиданности. Она затемняет в нем даже любовь к семье. Он всецело отдает ей самого себя, но — и только. Той любви, которая заставляет видеть в жене, сыне, дочери нечто ненаглядное, неприкосновенное для обид, не существует для него. И всю семью он успел на свой лад дисциплинировать; и жена и дети видят в нем главу семьи, которого следует беспрекословно слушаться, но горячее чувство любви заменилось для них простою формальностью — и не согревает их сердец.

Наконец идеал «полной чаши» достигнут. Изба прочна и хорошо ухичена [1]; запасу вдоволь, скотины в избытке, дети — в порядке. В доме царствуют мир и согласие; даже в кубышке деньга, на черный день, водится. В таком положении до мироедства — один только шаг. Но хозяйственный мужик от природы чужд кровопивства; его не соблазняет ни лавочка, ни кабак. Непрерывным трудом и думою о будущем он достиг известной степени зажиточности — и будет с него. По-прежнему он отказывается от чайничества, по-прежнему есть хлеб черствый, а не мягкий, по-прежнему осторожно обращается с свежей убоиной. Если б он поступил иначе, ему было бы не по себе, он перестал бы быть самим собой.

Но с «полною чашей» приходит и старость. Мало-помалу

---

[1] Ухичена — укрыта, утеплена.

силы слабеют; он не может уже идти сорок верст за возом в город и не выносит тяжелой работы. Старческое недомоганье обступает со всех сторон; он долго перемогает себя, но наконец влезает на печь и замолкает.

На арену хозяйственности выступает большак-сын. Если он удался, вся семья следует его указаниям и, по крайней мере, при жизни старика не выказывает розни. Но по временам стремление к особничеству[1] все-таки прорывается. Младшие сыновья припрятывают деньги — не всё на общее дело отдают, что выработают на стороне. Между снохами появляются «занозы», которые расстраивают мужей.

«Умру — всё растащат!» — думается старику, и болит, ах, болит его хозяйственное сердце!

Наконец он умирает. Умирает тихо, честно, почти свято. За гробом следует жена с толпою сыновей, дочерей, снох и внучат. После погребенья совершают поминки, в которых участвует вся деревня. Все поминают добром покойника: «Честный был, трудовой мужик — настоящий хрестьянин!»

Да, это был действительно честный и разумный мужик. Он достиг своей цели: довел свой дом до полной чаши. Но спрашивается: с какой стороны подойти к этому разумному мужику? Каким образом уверить его, что не о хлебе едином жив бывает человек?

1886 г.

---

[1] Особничество — отделение от семьи.





ЧУДИНОВ

Нет, вздумал странствовать один
из них лететь...

Он сам определенно не сознает, что привело его из глубины провинции в Петербург. Учиться и, для того чтобы достигнуть этого, отыскать работу, которая давала бы средства хоть для самого скудного существования, — вот единственная мысль, которая смутно бродит в его голове.

Николай Чудинов — очень бедный юноша. Отец его служит главным бухгалтером казначейства[1] в отдаленном уездном городке. По-тамошнему, это место недурное, и семья могла содержать себя без нужды, как вдруг сыну пришла в голову какая-то «гнилая фантазия». Ему было двадцать лет,

[1] Казначейство — до революции место хранения, приема и выдачи государственных сумм.

а он уже возмечтал! Учиться! Разве мало он учился! Слава богу, кончил гимназию — и будет.

Действительно, Николай уже прошел гимназический курс и готовился поступить в университет, когда Андрей Тимофеич вызвал его к себе, находя, что учиться довольно. Юноша приехал; его сейчас же зачислили в штат полицейского управления и назначили двенадцать рублей месячного жалованья; при готовых хлебах и даровой квартире этого было достаточно. Предстояло на трудовой заработок только одеться, обуться да кой-какие мелочи исправить. Посидит на этом окладе, а скоро, глядишь, и прибавят рубля три. И таким-то образом не всякому удается начинать. А затем и в уезде — дорога широкая. И в становые пристава и в непременные члены, а может быть, и в исправники — всюду пройти можно, — был бы царь в голове. А не то так и в мировые учреждения, в земство[1]. У Андрея Тимофеича есть связи в уезде. Всем до казначейства есть дело, а он — душа казначейства. Стало быть, того, другого попросит, состоится единогласное избрание — вот и мировой судья[2] готов. Шутка сказать! ведь это две тысячи рублей одного содержания, а с канцелярией да с камерой[3] — и не сочтешь, сколько тут денег наберется!

Но юноша вскоре после приезда уже начал скучать, и так как он был единственный сын, то отец и мать, натурально, встревожились. Ни на что он не жаловался, но на службе старанья не проявил, жил особняком и не искал знакомств. «Не ко двору он в родном городе, не любит своих родителей!» — тужили старики. Пытали они рисовать перед ним соблазнительные перспективы — и всё задаром.

— Ежели не по нутру тебе полицейская служба — можно в земство махнуть! — говорит отец. — Попрошу Ивана Петровича да Семена Николаевича — кому другому, а мне не

---

[1] В мировые учреждения входили мировые посредники, назначавшиеся губернатором из местных дворян для согласования и разрешения земельных споров между крестьянами, освобожденными в 1861 году от крепостной зависимости, и помещиками и для установления крестьянских земельных наделов и повинностей. Земство, земское собрание — выборные органы местного самоуправления, введенные в 1864 году. Власть в земских собраниях находилась в руках дворянства.

[2] Мировой судья — судья, избиравшийся земским собранием и разбиравший мелкие гражданские дела.

[3] Камера — комната заседаний суда.

откажут. Сиачала в секретари управы[1], благо нынешний секретарь в лес глядит, а там куплю иа твое имя двести десятин болота, и в члеиы попадешь. Здесь, мой друг, всё в иаших руках. Захотим, так и в судьи попадем; нет иужды, что ты университета не кончил. Того же Ивана Петровича попрошу — ои как раз единогласное избраиие оборудует. Вот ты и на виду, и в люди показаться ие стыдио. Стоит только годика два до иовых выборов подождать.

Николай не возражал против отцовских увещаний, но и согласия не заявлял. Ои продолжал скучать, жить особияком и тревожить родительские сердца. Наконец, однако ж, пришлось высказаться.

— Я бы в Петербург желал, — сказал он нерешительно.

— Что ты там забыл?

— В университет хочу поступить. Начал ученье и не кончил...

— А чем же ты будешь в Петербурге жить?

— Устроюсь как-ибудь. Мне бы только доехать, а там уроки иайду, частиые заиятия — миого ли мие на прожиток нужно!

— Слышал я, что казениые стипеидии в триста рублей полагают, стало быть меиьше этого прожить иельзя. Да за лекции от платы освобождают — это тоже счет. Где ты эти триста-четыреста рублей добудешь?

— Как-ибудь...

— С «как-нибудь»-то люди голодом сидят, а ты прежде подумай да доскоиальио все рассчитай! Нас, стариков, пожалей... Мы ведь иастоящей помощи дать ие можем, сами в обрез живем. Ах, ие чаяли печали, а она за углом стерегла!

Но сколько старики ии тратили убеждений, в конце концов все-таки пришлось уступить. Собрали кой-как рублей двести иа дорогу и на первые издержки и сиарядили сынка В одно прекрасиое утро Николай сел с попутчиком в телегу — и след его простыл, а старики остались дома выплакивать остальные слезы.

Одиако по мере приближеиия к Петербургу молодой Чудииов иачал чувствовать иекоторое смущение. Как ии си-

[1] Секретарь управы — секретарь земской управы, то есть исполнительного органа губернских и уездных земств.

лился он овладеть собою, но страх неизвестного все больше и больше проникал в его сердце. Спутники по вагону расспрашивали его, и что-то сомнительное слышалось в их вопросах и ответах.

— В Петербург? — спрашивали его.

— Да, в Петербург.

— При должности-с?

— Нет, учиться хочу.

— Так-с. При родителях будете жить?

— Нет, родители у меня живут в провинции.

— Ну, все равно, помогать будут?

— И помощи я от них ждать не могу. Сам должен буду о себе заботиться.

— Мудреное дело-с.

— Отчего же? Мне многого не нужно, а добыть урок или два, или какое-нибудь занятие — неужели это так трудно?

— Кандидатов слишком довольно. На каждое место десять-двадцать человек, друг у дружки так и рвут. И чем больше нужды, тем труднее: нынче и к месту-то пристроиться легче тому, у кого особенной нужды нет. Доверия больше, коли человек не жмется, вольной ногой в квартиру к нанимателю входит. Одёжа нужна хорошая, вид откровенный. А коли этого нет, так хошь сто лет грани мостовую — ничего не получишь. Нет, ежели у кого родители есть — самое святое дело под крылышком у них смирно сидеть.

— А ежели учиться хочется?

— Хотенье-то наше не для всех вразумительно. Деньги нужно добыть, чтоб хотенье выполнить, а они на мостовой не валяются. Есть нужно, приют нужен, да и за ученье, само собой, заплати. На пожертвованья надежда плоха, потому нынче и без того все испожертвовались. Туда десять целковых, в другое место десять целковых — ан, под конец и скучно!

И так далее.

Назойливо тянулась эта нить дорожных разговоров, тревожа и волнуя Чудинова. Но вот наконец показался и Петербург.

Чудинов очутился на улице с маленьким саком в руках. Он был словно пьян. Озирался направо и налево, слышал шум экипажей, крик кучеров и извозчиков, говор толпы. К счастию, последний его собеседник по вагону — добрый, должно быть, человек был, — проходя мимо, крикнул ему:

— Коли не знаете, где остановиться, так ступайте к Анне Ивановне в Разъезжую: у ней много горюнов живет. Нумера порядочные, обед — тоже, а главное, сама она добрая. Может быть, и насчет занятий похлопочет. Покуда что у нее и поживете.

Чудинов, разумеется, последовал этому совету.

Указанные нумера помещались в четвертом этаже громадного дома. Его встретила в дверях сама хозяйка, чистенькая старушка лет под шестьдесят. Было около десяти часов, и нумера пустели: в коридоре то и дело сновали уходящие жильцы.

— Вам нумерок? небольшой? — приветливо спросила хозяйка, оглядывая приезжего.

— Да, из самых недорогих.

— Рублей на пятнадцать с обедом в месяц? Удобно это для вас?

Комнатка, действительно, оказалась совсем маленькая. Одно окно; около двери кровать; в другом углу, возле окна, раскрытый ломберный стол с чернильным прибором; три плетеных стула.

— Обед будет из двух блюд: суп и мясное блюдо, — продолжала хозяйка. — Считается в двадцать копеек, а ежели третье блюдо закажете — прибавка пятнадцать копеек. Обедают в общей столовой между пятью и шестью часами, как кто удосужается. Остальные девять рублей — за квартиру. Мелочных расходов прислуге, дворнику — рубля два в месяц наберется. Чай — ваш, свечи — тоже ваши. Вы место искать приехали?

Чудинов сказал ей.

— Учиться? — переспросила она. — Но ведь у вас и в своем округе университет есть? Зачем непременно в Петербург? Вся провинция в Петербург поднялась, а здесь, как нарочно, двери всё плотнее и плотнее запираются! Точно поветрие.

Чудинов не мог ничего более объяснить. Нельзя же сказать, что его влекла в Петербург безотчетная сила, — это было слишком субъективное побуждение, чтобы оправдать серьезный жизненный шаг. Хозяйка согласилась, впрочем, что раз дело сделано — не возвращаться же назад. Затем она, без всякой назойливости, а просто из доброго участия, расспросила его о средствах, которыми он располагает, и об его надеждах в будущем. Оказалось, что у него от дороги

осталось около полутораста рублей, что из дома он надеется получать не больше пятидесяти-ста рублей в год и что главный расчет его — на свой собственный труд.

— Занятий приискивать будете? уроков? Вот здесь, в нумерах, собственными глазами увидите, легко ли это добывается, — сказала она. — Иные по году бьются, кругом задолжали — и всё ни при чем. Вот, благослови господи, за лекции около двадцати пяти рублей за первое полугодие уплатить нужно, да мундирчики нынче требуются, да объявления в газетах придется печатать, — смотришь, от ваших полутораста-то рублей и немного останется. Ну, да там увидится. И то, правду сказать, запугиваньем дело не поправишь. Были бы хоть на первых порах сыты.

В тот же день, за обедом, один из жильцов, студент третьего курса, объяснил Чудинову, что так как он поступает в юридический факультет, то за лекции ему придется уплатить за полугодие около тридцати рублей, да обмундирование будет стоить, с форменной фуражкой и шпагой, по малой мере, семьдесят рублей. Объявления в газетах тоже потребуют изрядных денег.

— Я двадцать рублей, по крайней мере, издержал, а через полгода только один урок в купеческом доме получил, да и то случайно. Двадцать рублей в месяц зарабатываю, да, вдобавок, поучения по поводу разврата, обуявшего молодое поколение, выслушиваю. А в летнее время на шее у отца с матерью живу, благо ехать к ним недалеко. А им и самим жить нечем.

— Как же вы на двадцать рублей ухитряетесь жить?

— Да так вот. Отец рубля три в месяц высылает, переписывать рубля на два достаю, по десяти копеек с листа, да и то почти насильно выклянчил. От чая я уж отказался, ем раз в сутки, — сами видите, какая это еда! За лекции уплачивать несколько раз запаздывал, — чуть не исключили. Насилу упросил. Хозяйке и сейчас за три месяца должен, а она тоже из-за корки хлеба бьется. Хорошо, что на третьем курсе состою, хоть обмундирование для меня не обязательно, а для вас и это потребуется. Нынче у нас на первом курсе студенты чистенькие, напомаженные. И душа у них напомаженная. Ходят по улицам, шпагой поигрывают, думают: чем мы хуже пажей? И солдаты им честь отдают, — тоже лестно! Не тот уж нынче университет, что прежде.

Вообще некрасивую картину нарисовал новый знакомец — и в заключение прибавил:

— Не забудьте, что так как вы, после получения аттестата зрелости, два года баклуши били, то для вас потребуется проверочный экзамен. Tolle me, mu, mi, mis, si declinare domus vis[1] — не забыли?

На другой же день начались похождения Чудинова. Прежде всего он отправился в контору газеты и подал объявление об уроке, причем упомянул об основательном знании древних языков, а равно и о том, что не прочь и от переписки. Потом явился в правление университета, подал прошение и получил ответ, что он обязывается держать проверочный экзамен.

Был август месяц в начале, но на дворе уже пахло осенью. Наступало дождливое время, вечера темнели, да благодаря постоянно покрытому тучами небу улицы с утра уже наполнялись сумерками. Но город мало-помалу оживал, уличное движение становилось заметнее и заметнее. С летней каторги обыватели перемещались на зимнюю, в надежде хоть печным теплом отогреться от летних продуваний и сквозных ветров. Сколько при этих переездах испорчено было мебели, сколько распростудилось кухарок — это поймет только коренной петербугский житель, которому ни флюсы, ни желудочные катары, ни плевриты — ничто не в поучение.

Экзамен Чудинов сдал исправно, внес плату за предстоящий учебный семестр и в свое время пунктуально начал посещать университет. По примеру других, он обмундировался и на первых же порах убедился в справедливости отзыва его нового знакомца по нумерам. В мундире он и сам себя не узнал. Он как-то невольно взглянул на свои волосы и сказал: «надо припомадиться». Новые его собратья по науке смотрели так мило и так свежо, так все друг на друга были похожи, что производить диссонанс в этом гармонически сложившемся мирке было совсем немыслимо. Старые лохматые дикари печально доживали свой срок на последних курсах. Пройдет два-три года, и все будет мило, благородно — загляденье!

Прошел месяц, но ни урока, ни переписки не являлось. Чудинов напечатал новое объявление и дней через пять полу-

---

[1] Отбрось me, mu, mi, mis, если хочешь просклонять слово «дом» (стихотворное латинское грамматическое правило).

чил приглашение явиться. Он не пошел, а полетел и успел понравиться. Условились за двадцать пять рублей в месяц, с тем чтобы за эту сумму ходить каждый день и приготовлять двух мальчиков к поступлению в гимназию. Давно он не чувствовал себя так бодро и весело. Но когда он на другой день вечером явился на урок, то ему сказал швейцар, что утром приходил другой студент, взял двадцать рублей и получил предпочтение.

— Что же мне не сказали? я бы... — начал было Чудинов, но понял, что дело его потеряно, и замолк.

С тех пор, несмотря на неоднократно возобновляемые объявления, вопрос об уроке словно в воду канул. Не отыскивалось желающих окунуться в силоамскую купель просвещения [1] — и только. Деньги, привезенные из дому, таяли-таяли и наконец растаяли...

. . . .

На дворе март. Целых шесть месяцев не было ни осени, ни зимы, да и теперь весны нет, а какое-то безвременье. Чудинов по-прежнему живет в нумерах у Анны Ивановны, но он уже исключен из числа студентов за невзнос полугодовой платы. Старику отцу следовало бы свидетельство о бедности [2] для сына справить, а он вместо того охал да ахал. А впрочем, и с свидетельством недалеко уйдешь, ежели при поверке в известных предметах отличнейших познаний не выкажешь. Молодой человек прожил не только привезенные с собой деньги, но и сторублевое пособие, полученное из дома. Безработица продолжает преследовать его, хотя хозяйка и жильцы всячески старались ему помочь в его исканиях. Сунулся он было в комитет вспомоществования [3], но там ему выдали восемь рублей, а ссуду он попросить не решился, сробел. О стипендии он и не мечтал: что-то еще скажет экзамен при переходе на второй курс, а до тех пор и думать нечего... Хозяйке он давно задолжал, но она не тревожит его, и это с ее стороны

---

[1] Силоамская купель просвещения. — Силоам — пруд в окрестностях Иерусалима. Здесь иронически говорится о начальном образовании в царской России.

[2] Свидетельство о бедности выдавалось для освобождения от платы за ученье.

[3] Комитет вспомоществования — добровольная студенческая организация для оказания помощи бедным студентам.

представляет тем бо́льшую жертву, что молодой человек серьезно заболел. Он подозрительно кашляет, тяжело дышит и беспрерывно хватается за грудь. Говорят, у него чахотка, да у него и у самого смутно мелькает в голове, что конец недалеко. Ходил он раза два к доктору; тот объяснял, что болезнь его — следствие дурного питания, частых простуд, обнадежил, прописал лекарство и сказал, что весной надо уехать. На какие деньги покупать лекарство? Куда ехать?

Учился он страстно, все думал как-нибудь выбраться, переждать суровую нужду. От чая отказался, от обеда — тоже. Платить двадцать копеек за обед оказывалось не под силу. Он брал за десять копеек два пирога в пирожной — и этим был сыт. Но выбраться все-таки не удалось. Приходилось расстаться с заветной мечтой, бросить ученье. Для других оно было светочем жизни, для него — погребальным факелом. Всякую надежду на лучшее будущее предстояло оставить, сказать себе раз навсегда, что луч света уже не согреет его существования. И затем отдаться в жертву голодной смерти.

Теперь он даже в пирожную ходить не может: и денег нет, и силы тают с каждым днем. С трудом Анна Ивановна уговорила его не отказываться от скудного обеда в два блюда, обнадежив, что не все еще пропало и что со временем она возвратит свои издержки.

— Мне приходский батюшка обещал беспременно достать для вас урок, — сказала она, — тогда и заплатите. И в университет начнете ходить. Упросим как-нибудь принять взнос.

Тайно от него она известила старого бухгалтера о безнадежном положении молодого человека. Старик собрался с силами и опять выслал двести рублей, но требовал, чтобы сын непременно воротился в родное гнездо.

Семь часов вечера. Чудинов лежит в постели; лицо у него в поту; в теле чувствуется то озноб, то жар; у изголовья его сидит Анна Ивановна и вяжет чулок. В полузабытьи ему представляется то светлый дух с светочем в руках, то злобная парка[1] с смердящим факелом. Это — «ученье», ради которого он оставил родной кров.

[1] П а р к а. — По представлениям древних римлян, «нити жизни» каждого человека находились в руках трех сестер-богинь, которые назывались парками.



Странное дело! припоминается ему: точно такой случай был у нас в городе. Приехали поверять торговлю и зашли к сапожнику, который пропитывался своим ремеслом один, без учеников. «Есть свидетельство на мещанские промыслы?» — «Нет свидетельства!» Запечатали сапожный инструмент и ушли. Он тоже ушел... в кабак. Точно так же и тут. «Учиться желаю». — «Извольте внести вперед за семестр такую-то сумму». — «Нет у меня такой». — «А нет суммы, и ученья нет». Стало быть, и учиться нельзя, а надо идти... куда? Ни учиться, ни работать; только беспошлинно праздношататься — полная свобода, да и то ежели полиция не заподозрит.

— Жарко мне, вся подушка мокрая! — говорит он слабым голосом.

Анна Ивановна приподнимает ему голову, ощупывает подушку и перевертывает ее, потому что наволочка действительно оказывается мокрой.

— Что вы все лежите, приободрились бы! — говорит она. — Запустите себя, потом и все в постель да в постель тянуть будет.

— Вас мне совестно; все вы около меня, а у вас без того дела по горло, — продолжает он. — Вот отец к себе зовет... Я и сам вижу, что нужно ехать, да как быть? Ежели ждать — опять последние деньги уйдут. Поскорее бы... как-нибудь... Главное, от железной дороги полтораста верст на телеге придется трястись. Не выдержишь.

— Выдержите, молодцом приедете. Скоро и тепло настанет. А деньги мы сбережем. Какой расход с моей стороны будет — папенька заплатит.

— Добрая вы!

Чудинова все любят. Доктор от времени до времени навещает его и не берет гонорара; в нумерах поселился студент Медицинской академии и тоже следит за ним. Девушка-курсистка сменяет около него Анну Ивановну, когда последней недосужно. Комнату ему отвели уютную, в стороне, поставили туда покойное кресло и стараются поблизости не шуметь.

Но все-таки бóльшую часть времени ему приходится оставаться одному. Он сидит в кресле и чувствует, как жизнь постепенно угасает в нем. Ему постоянно дремлется, голова в поту. Временами он встает с кресла, но дойдет до постели и опять ляжет.

В нем происходит тот двойственный внутренний процесс,

который составляет принадлежность чахотки: и полная безнадежность, и в то же время такое страстное желание жить, которое переходит в уверенность исцеления.

— Вот приеду домой, там отгуляюсь, — мечтает он. — Лето, воздух, здоровая пища, уход и, наконец, сила молодости...

Но не успевает надежда согреть его существование, как рассудком его всецело овладевает представление о смерти.

— Еще жить не начинал — и вдруг смерть! — терзается он. — За что?

Воспоминания толпою проходили перед ним, но были однообразны и исчерпывались одним словом: «ученье». Припоминались товарищи по гимназии, учителя, родные, но все это заслонялось «ученьем». Лиц почти не существовало; их заменяло отвлеченное понятие, которое, в сущности, даже не давало пищи для ума. Ученье для ученья — вот тема, которая вконец измучила его. Только в последнее время, в Петербурге, он начал понимать, что за ученьем может стоять целый разнообразный мир отношений. Что существует общество, родная страна, дело, подвиг... Что все это неудержимо влечет к себе человека; что знание есть не больше, как подготовка; что экзаменами и переходами из курса в курс не все исчерпывается...

Жизнь представлялась ему в виде необъятного пространства, переполненного непрерывающимся движением. Тут всё: и добро и зло, и праздность и труд, и ненависть и любовь, и пресыщение и горькая нужда, и самодовольство и слезы, слезы без конца... Вот куда предстояло ему идти, вот где не жаль было растратить молодые силы! В нумерах у Анны Ивановны, в общей столовой, часто велись разговоры на эту тему, и он жадно к ним прислушивался. Даже больной, он кое-как переходил в столовую и чувствовал, как молодые речи и страстные стремления постепенно освещали его существо, зажигали его душу смутными, но уже неодолимыми стремлениями.

И что же! едва занялась заря осмысленного существования, как за нею уже стоит смерть!

— Тяжело умирать? — спрашивал он Анну Ивановну.

— Что вы все про смерть да про смерть!.. — негодовала она. — Ежели всё так будете, я и сидеть с вами не стану. Слушайте-ка, что я вам скажу. Я сама два раза умирала;

один раз уж совсем было... Да сказала себе: не хочу я умирать — и вот, как видите. Так и вы себе скажите: не хочу умереть!

— Нет, что! мне теперь легко; хотелось бы, однако, признаки знать. Ежели люди вообще тяжело умирают, стало быть еще я, пожалуй, и продержусь. Но чахоточные, говорят, умирают почти незаметно, так вот это...

Студент-медик тоже разуверял его, говорил, что у него не чахотка, а просто бронхи не в порядке; и это, конечно, может перейти в чахотку, ежели не принять мер.

— Вот пройдет весенняя сумятица — и вам легче будет, — говорил студент. — Поедете домой — там совсем другой будете. Только в Петербург уж — шабаш! Ежели хотите учиться, так отправляйтесь в другое место.

— А тяжело умирать? — добивался от него Чудинов.

— Смерть никогда не легка, особливо ежели ей предшествует продолжительный болезненный процесс. Бывает, что люди годами выносят сущую пытку — и все-таки боятся умереть. Таков уж инстинкт самосохранения в человеке. Вот внезапно, сразу умереть — это, говорят, ничего.

Благодаря этим разуверениям он ободрился и стал светлее смотреть на будущее. Конечно, дверь ученья для него уже закрыта, но он как-нибудь доберется до дома, отдохнет, выправится и непременно выполнит ту задачу, которая в последнее время начала волновать его. Надо идти туда, где сгустился мрак, откуда слышатся стоны, куда до такой степени не проник луч сознательности, что вся жизнь кажется отданною в жертву неосмысленному обычаю, — и не слышно даже о стремлении освободиться от оков его. Там достаточно и тех знаний, которыми он уже обладает, а ежели их окажется мало, то он восполнит этот недостаток любовью, самоотвержением.

Наконец, есть книги. Он будет читать, найдет в чтении материал для дальнейшего развития. Во всяком случае, он даст, что может, и не его вина, ежели судьба и горькие условия жизни заградили ему путь к достижению заветных целей, которые он почти с детства для себя наметил. Главное, быть бодрым и не растрачивать попусту того, чем он уже обладал.

В его воображении рисовалась деревня. В сущности, впрочем, он знал ее очень мало, хотя и провел все детство обок

с нею. Главный материал для знакомства с деревенским бытом ему дали собеседования с новыми знакомцами по общей квартире, но в материале этом было слишком много дано места романтическому «несчастному» и упускалось из виду конкретное, упорствующее, не поддающееся убеждению. Деревня, которую видело его умственное око, была деревня идеальная, так сказать предрасположенная. Он представлял себе, что нужно только прийти, и не задавался вопросом, как будет принят его приход. Согласны ли будут скованные преданием люди сбросить с себя иго этого предания? Не пустило ли последнее настолько глубокие корни, что для извлечения их, кроме горячего слова, окажутся нужными и другие приемы? В чем состоят эти приемы? Быть может, в отождествлении личной духовной природы пришельца с подавленностью, охватившею духовный мир аборигенов? [1]

В сущности, однако ж, в том положении, в каком он находился, если бы и возникли в уме его эти вопросы, они были бы лишними или, лучше сказать, только измучили бы его, затемнили бы вконец тот луч, который хоть на время осветил и согрел его существование. Все равно ему ни идти никуда не придется, ни задачи никакой выполнить не предстоит. Перед ним широко раскрыта дверь в темное царство смерти — это единственное ясное разрешение новых стремлений, которые волнуют его.

Наступило тепло; он чаще и чаще говорил об отъезде из Петербурга и в то же время быстрее и быстрее угасал. Недуг не терзал его, а изнурял. Голова была тяжела и вся в поту. Квартирные жильцы следили за ним с удвоенным вниманием и даже с любопытством. Загадка смерти стояла так близко, что все с минуты на минуту ждали ее разрешения.

Однажды ночью, когда никого около него не было, он потянулся, чтобы достать стакан воды, стоявший на ночном столике. Но рука его застыла в воздухе...

Схоронили его на Митрофаньевском кладбище. Ни некролога, ни даже простого извещения об его смерти не было. Умер человек, искавший света и обретший — смерть.

1886 г.

---

[1] Абориген — коренной житель; здесь: крестьянин.



ДЕНЬ В ПОМЕЩИЧЬЕЙ УСАДЬБЕ

Июль в начале; шестой час утра. Окно в девичьей[1] поднято, и в комнату со двора врывается свежая струя воздуха. Рои мух так и кишат в воздухе и в особенности скучиваются под потолком, откуда слышится неистовое гудение. Женская прислуга уже встала, убрала с полу войлоки, собралась около стола и завтракает. На этот раз на столе стоит чашка с толокном, и деревянные ложки усиленно работают. Через десять минут завтрак кончен; девицы скрываются в рабочую комнату, где расставлены пяльцы и подушки для кружев. В девичьей остается одна денщи́ца, обыкновенно из подростков, которая убирает посуду, метет комнату и принимается

[1] Девичья — комната для крепостных дворовых девушек.

вязать чулок, чутко прислушиваясь, не раздадутся ли в барыниной спальне шаги Анны Павловны Затрапезной.

Рабочий день начался, но работа покуда идет вяло. До тех пор, пока не заслышится грозный барынин голос, у некоторых девушек слипаются глаза, другие ведут праздные разговоры. И иглы и коклюшки[1] двигаются медленно.

Хотя время еще раннее, но в рабочей комнате солнечные лучи уже начинают исподволь нагревать воздух. Впереди предвидится жаркий и душный день. Беседа идет о том, какое барыня сделает распоряжение. Хорошо, ежели пошлют в лес за грибами или за ягодами, или нарядят в сад ягоды обирать; но беда, ежели на целый день за пяльцы да за коклюшки засадят — хоть умирай от жары и духоты.

— Сказывают, во ржах солдат беглый притаился, — сообщают друг другу девушки. — Намеднись Дашутка, с села, в лес по грибы ходила, так он как прыснет из-за ржей, да на нее. Хлеб с ней был, молочка малость — отнял и отпустил.

— Смотри, не созорничал ли?

— Нет, говорит, ничего не сделал; только, что взяла с собой поесть, то отнял. Да и солдат-то, слышь, здешний, из Великановской усадьбы Сережка-фалетур[2].

— А в Лому медведь проявился. Вот коли туда пошлют, да он в гости к себе позовет!

— Меня он в один глоток съест! — отзывается карлица Полька.

Это — несчастная и вечно больная девушка, лет двадцати пяти, ростом аршин с четвертью, с кошачьими глазами и выпятившимся клином животом. Однако ж ее заставляют работать наравне с большими, только пяльцы устроили низенькие и дали низенькую скамеечку.

— А правда ли, — повествует одна из собеседниц, — в Москалеве одну бабу медведь в берлогу увел да целую зиму у себя там и держал?

— Как же! в кухарках она у него жила! — смеются другие.

В эту минуту в рабочую комнату как угорелая вбегает денщица и шепотом возглашает:

---

[1] Коклюшки — палочки для вязания кружев.

[2] Фалетур (форейтор) — верховой, едущий на передней лошади при запряжке в две или три пары лошадей.

— Барыня! барыня идет!

Девичий гомон мгновенно стихает; головы наклоняются к работе; иглы проворно мелькают, коклюшки стучат. В дверях показывается заспанная фигура барыни, нечесаной, немытой, в засаленной блузе. Она зевает и крестит рот; иногда так постоит и уйдет, но в иной день заглянет и в работы. В последнем случае редко проходит, чтобы не раздалось, для начала дня, двух-трех пощечин. В особенности достается подросткам, которые еще учатся и очень часто портят работу.

На этот раз, однако ж, все обходится благополучно. Анна Павловна, постояв несколько секунд, грузными шагами направляется в девичью, где, заложив руки за спину, ее ожидает старик повар в рваной куртке и засаленном переднике. Тут же, в глубине комнаты, притулилась ключница. Барыня садится на ларь к столу, на котором разложены на блюдах остатки «вчерашнего», и между прочим, в кастрюльке, вчерашняя похлебка. Сбоку лежит немного свежей провизии: солонина, гусиный полоток[1], телячья головка, коровье масло, яйца, несколько кусков сахару, пшеничная мука и т. п. Барыня начинает приказывать.

— Супец-то у нас, кажется, уж третий день? — спрашивает она, заглядывая в кастрюлю.

— Да, уж третий денек-с. Прокис-с.

— Ну, так и быть, сегодня новый завари. Говядина-то есть ли?

— Говядину последнюю извели.

— Как? кусочек, кажется, остался? Еще ты говорил: старому барину на котлетки будет.

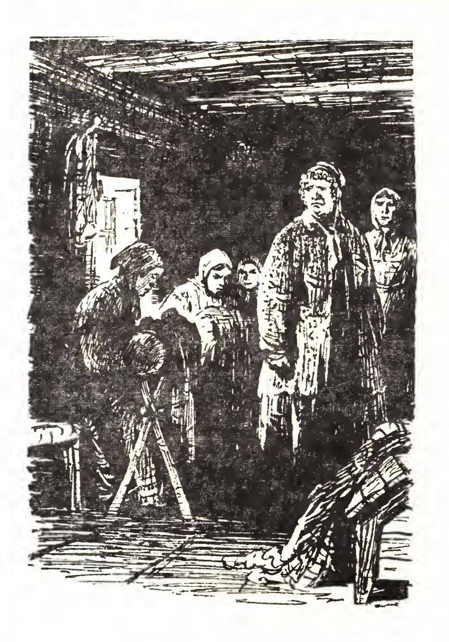
— Третьего дня они две котлетки и скушали.

— И куда такая про́пасть выходит говядины? Покупаешь-покупаешь, а как ни спросишь — все нет да нет...

— Стало быть, кушаете, — вот и изводится, — иронизирует повар.

— Цыц! Делать нечего, курицу зарежь... Или лучше вот что: щец с солониной свари, а курица-то пускай походит... Да за говядиной в Мялово сегодня же пошлите, чтобы пуда два... Ты смотри у меня, старый хрыч... «стало быть, кушаете»! Говядинка-то нынче кусается... четыре рублика (ассигнациями)

[1] Полоток — половина засушенной, соленой или копченой птицы или рыбы.



за пуд... поберегай, не швыряй зря! Ну, горячее готово; на холодное что?

— Вчерашнего галантиру[1] малость осталось, да тоже одно звание...

Анна Павловна рассматривает остатки галантира. Клейкая масса расползлась по блюду, и из нее торчат обрывки мозгов и телячьей головки.

— А ты сумей подправить; на то ты повар. Старый-то галантир в формочки влей, а из новой головки свежего галантирцу сделай.

Барыня откладывает в сторону телячью голову и продолжает:

— Соусу вчерашнего тоже, кажется, не осталось... или нет, стой! печенка, что ли, вчера была?

— Печенка-с.

— Сама собственными глазами видела, что два куска на блюде осталось! Куда они девались?

— Не знаю-с.

Барыня вскакивает и приближается к самому лицу повара.

— Сказывай! Куда печенку девал?

— Виноват-с.

— Куда девал? сказывай!

— Собака съела... не досмотрел-с...

— Собака! Василисушке своей любезной скормил! Хоть роди да подай мне вчерашнюю печенку!

— Воля ваша-с,

Повар стоит и смотрит барыне в глаза. Анна Павловна с минуту колеблется, но наконец примиряется с совершившимся фактом.

— Ну, так соусу у нас нынче не будет, — решает она. — Так и скажу всем: старый хрен любовнице соус скормил. Вот ужо барин за это тебя на поклоны поставит.

Очередь доходит до жаркого. Перед барыней лежит на блюде баранья нога, до такой степени исскобленная, что даже намека на мякоть нет.

— Ну, на нет и суда нет. Вчера Андрюшка из Москалева зайца привез; видно, его придется изжарить...

— Позвольте, сударыня, вам посоветовать. На погребе

---

[1] Галантир — желе, холодная заливная приправа.

уж пять дней жареная телячья нога, на случай приезда гостей, лежит, так вот ее бы сегодня подать. А заяц и повисеть может.

Анна Павловна облизывает указательный палец и показывает повару шиш.

— На-тко!

— Помилуйте, сударыня, от телятины-то уж запашок пошел.

— Как запашок! на льду стоит всего пятый день, и уж запашок! Льду, что ли, у тебя нет? — строго обращается барыня к ключнице.

— Лед есть, да сами изволите знать, какая на дворе жарынь, — оправдывается ключница.

— Жарынь да теплынь... только и слов от вас! Вот я тебя, старая псовка, за индейками ходить пошлю, так ты и будешь знать, как барское добро гноить! Ну, ин быть так: телячью ногу разогреть на сегодняшнее жаркое. Так оно и будет: посидим без соуса, зато телятинки побольше поедим. А на случай гостей, новую ногу зажарить. Ах, уж эти мне гости! обопьют, объедят, да тебя же и обругают! Да еще хамов да хамок с собой навезут — всех-то напои, всех-то накорми! А что добра на лошадей ихних изойдет! Приедут шестериком...[1] И сена-то им, и овса-то!

— Это уж известно...

— Да ты смотри, Тимошка, старую баранью ногу все-таки не бросай. Еще найдутся обрезочки, на винегрет пригодятся. А хлебенного (пирожного) ничего от вчерашнего не осталось?

— Ничего-с.

— Ну, бабу из клубники сделай. И то сказать, без пути на погребе ягода плесневеет. Сахарцу кусочка три возьми да яичек парочку... Ну-ну, не ворчи! будет с тебя!

Анна Павловна велит отрубить кусок солонины, отделяет два яйца, три куска сахару, проводит пальцем черту на комке масла и долго спорит из-за лишнего золотника, который выпрашивает повар.

По уходе повара она направляется к медному тазу, над которым утвержден медный же рукомойник с подвижным стержнем. Ключница стоит сзади, покуда барыня умывается.

---

[1] Шестерик — упряжка из шести лошадей.

Мыло, которое она при этом употребляет, пахнет прокислым; полотенце простое, из домашнего холста.

— Что? Как оказалось? Липка тяжела? — спрашивает барыня.

— Не могу еще наверно сказать, — отвечает ключница, — должно быть, по видимостям, что так.

— Уж если... уж если она... ну, за самого что ни на есть нищего ее отдам! С Прошкой связалась, что ли?

— Видали их вместе. Да что, сударыня, вчерась беглого солдата во ржах заприметили.

При словах «беглый солдат» Анна Павловна бледнеет. Она прекращает умыванье и с мокрым лицом обращается к ключнице:

— Солдат? Где? когда? отчего мне не доложили?

— Да тут недалечко, во ржах. Сельская Дашутка по грибы в Лисьи-Ямы шла, так он ее ограбил, хлеб, слышь, отнял. Дашутка-то его признала. Бывший великановский Сережка-фалетур... помните, еще старосту ихнего убить грозился.

— Что ж ты мне не доложила? Кругом беглые солдаты бродят, все знают, я одна ведать не ведаю...

Барыня с простертыми дланями подступает к ключнице.

— Что ж мне докладывать — это старостино дело! Я и то ему говорила: доложи, говорю, барыне. А он: что зря барыне докладывать! Стало быть, беспокоить вас поопáсился.

— Беспокоить! беспокоить, ах, нежности какие! А ежели солдат усадьбу сожжет — кто тогда отвечать будет? Сказать старосте, чтоб непременно его изловить! чтоб к вечеру же был представлен! Взять Дашутку и все поле осмотреть, где она его видела.

— Народ на сенокосе, — кто же ловить будет?

— Сегодня брат на брата работают. Своих, которые на барщине, не трогать, а которые на себя сенокосничают — пусть уж не прогневаются. Зачем беглых разводят!

Анна Павловна наскоро вытирается полотенцем и, слегка успокоенная, вновь начинает беседу с Акулиной.

— Куда сегодня кобыл-то наряжать? или дома оставить? — спрашивает она.

— Малина, сказывают, поспевать начала.

— Ну, так в лес за малиной. Вот в Лисьи-Ямы и пошли: пускай солдата по дороге ловят.

— Пообедавши идти?

— Дай им по ломтю хлеба с солью да фунта три толокна на всех — будет с них. Воротятся ужо, ужинать будут... успеют налопаться! Да за Липкой следи... ты мне ответишь, ежели что...

Покуда в девичьей происходят эти сцены, Василий Порфирыч Затрапезный заперся в кабинете и возится с просвирами[1]. Он совершает проскомидию[2], как настоящий иерей[3]: шепчет положенные молитвы, воздевает руки, кладет земные поклоны. Но это не мешает ему от времени до времени посматривать в окна, не прошел ли кто по двору и чего-нибудь не пронес ли. В особенности зорко следит его глаз за воротами, которые ведут в плодовитый сад. Теперь время ягодное, как раз кто-нибудь проползет.

— Куда, куда, шельмец, пробираешься? — раздается через открытое окно его окрик на мальчишку, который больше, чем положено, приблизился к тыну, защищающему сад от хищников. — Вот я тебя! Чей ты? Сказывай, чей?

Но мальчишка, при первом же окрике, исчез, словно сквозь землю провалился.

Барин делает полуоборот, чтоб снова стать на молитву, как взор его встречает жену старшего садовника, которая выходит из садовых ворот. Руки у нее заложены под фартук: значит, наверное, что-нибудь несет. Барин уж готов испустить крик, но садовница вовремя заметила его в окне и высвобождает руки из-под фартука; оказывается что они пусты.

Василий Порфирыч слывет в околотке умным и образованным. Он знает по-французски и по-немецки, хотя многое перезабыл. У него есть библиотека, в которой на первом плане красуется старый немецкий «Conversations-Lexicon»[4], целая серия академических календарей[5], Брюсов календарь[6], «Часы благоговения» и, наконец, «Тайны природы»

---

[1] Просвира (просфора) — белый круглый хлебец, употребляемый в церковном богослужении.

[2] Проскомидия — часть богослужения в православной церкви.

[3] Иерей — священник.

[4] Словарь разговорного языка *(франц.)*.

[5] Академический календарь издавался Академией наук с 1727 по 1770 год под названием «Месяцеслов».

[6] Брюсов календарь — календарь, приписываемый государственному деятелю петровского времени Я. В. Брюсу. В нем содержались фантастические предсказания о возможных событиях и погоде.

Эккартсгаузена[1]. Последние составляют его любимое чтение, и знакомство с этой книгой в особенности ставится ему в заслугу. Сверх того, он слывет набожным человеком, заправляет всеми церковными службами, знает, когда нужно класть земные поклоны и умиляться сердцем, и усердно подтягивает дьячку за обедней.

Бьет восемь, на дворе начинает чувствоваться зной. Дети собрались в столовой, разместились на определенных местах и пьют чай. Перед каждым стоит чашка жидкого чая, предварительно подслащенного и подбеленного снятым молоком, и тоненький ломоть хлеба. Разумеется, у любимчиков и чай послаще, и молоко погуще. За столом председательствует гувернантка, Марья Андреевна, и уже спозаранку выискивает, кого бы ей наказать.

— У меня, Марья Андреевна, совсем сахару нет, — объявляет Степка-балбес, несмотря на то что вперед знает, что голос его будет голосом, вопиющим в пустыне.

— В таком случае оставайся совсем без чаю, — холодно отрезывает Марья Андреевна.

— Да вы попробуйте! Вы не за тем к нам наняты, чтоб оставлять без чая, а за тем, чтоб выслушивать нас! — протестует Степан сквозь слезы.

— А! так я «нанята!» Еще грубить смеет!.. Без чаю!

— Без чаю да без чаю! только вы и знаете! А я вот возьму да и выпью!

— Не смеешь! Если б ты попросил прощения, я, может быть, простила бы, а теперь... без чаю!

Степан отодвигает чашку и смиряется.

— Позвольте хоть хлеб съесть! — просит он.

— Хлеб... можешь!

Таким образом, день только что начался, а жертва уж найдена.

Выпивши чай, дети скрываются в классную и садятся за ученье. Им и в летние жары не дается отдыха.

Анна Павловна, между тем, в той же замасленной блузе, нечесаная, сидит в своей спальне и тоже кушает чай. Она любит пить чай одна, потому что кладет сахару вдоволь, и

[1] Эккартсгаузен Карл — немецкий философ-идеалист и мистик конца XVIII века. Пользовался популярностью у реакционного русского дворянства.

при этом ей подается горшочек с густыми топлеными сливками, на поверхности которых запеклась румяная пенка. Комната не выметена, горничная взбивает пуховики, в воздухе летают перья, пух; мухи не дают покоя; но барыня привыкла к духоте, ей и теперь не душно, хотя на лбу и на открытой груди выступили капли пота. Перестилая постель, горничная рапортует:

— Что Липка с кузовком — это верно; и про солдата правду говорили: Сережка от Великановых. Кирюшка-столяр вчера ночью именины справлял, пьян напился и Марфукухарку напоил. Песни пели, барыню толстомясой честили...

— Где водку взяли? кто принес? откуда? Сейчас же пойди призови обоих: и Кирюшку и Марфушку!

Горничная удаляется; Анна Павловна остается одна и предается размышлениям. Все-то живут в спокое да в холе, она одна целый день как в котле кипит. За всем-то она присмотри! всем-то припаси, обо всем-то подумай! Еще восемь часов только, а уж какую пропасть она дел приделала! И кушанье заказала, и насчет девок распоряжение сделала, всех выслушала, всем ответ дала! Даже хамкам — и тем не в пример вольнее! Вот хоть бы Акулька-ключница — чем ей не житье! Сбегала на погреб, в кладовую, что следует — выдала, что следует — приняла... Потом опять сбегала. Или девки опять... Убежали теперь в лес по малину, дерут там песни да аукаются или с солдатом амурничают... и горюшка мало! В лесу им прохладненько, ни ветерок не венет, ни мушка не тронет... словно в раю! А устанут — сядут и отдохнут! Хлебца поедят, толоконца разведут... сытехоньки! А она целый день все на ногах да на ногах. И туда пойди, и там побывай, и того выслушай, и тем распорядись! И все одна, все одна. У других хоть муж помога — вон у Александры Федоровны, — а у нее только слава, что муж! Сидит запершись в кабинете или бродит по коридору да по ляжкам себя хлопает! Гляди-тко-те, солдат беглый проявился, а им никому и горя нет! А что, ежели он в усадьбу заберется да подожжет или убьет... ведь на то он солдат! Или, опять, Кирюшка-подлец! Пьян напиться изволил! И где они вино достают? Беспременно это раскрыть надо.

Сидит Анна Павловна и все больше и больше проникается сожалением к самой себе и наконец начинает даже рассуждать вслух.

— И добро бы я кого-нибудь обидела, — говорит она, — кого бы нибудь обокрала, наказала бы занапрасно, или изувечила, убила... ничего за мной этакого нет! За что только бог забыл меня — ума приложить не могу! Родителей я, кажется, завсегда чтила, а кто чтит родителей — тому это в заслугу ставится. Только мне одной — пшик вместо награды! Что чти, что не чти — все одно! Получила я от них, как замуж выдавали, грош медный, а теперь смотри, какое именьище взбодрила! А всё как? — всё шеей, да грудью, да хребтом! Сюда забежишь, там хвостом вильнешь... в опекунском-то совете[1] со сторожами табак нюхивала! перед каким-нибудь ледащим приказным чуть не вприсядку плясала: «Только справочку, голубчик, достань!» Вот как я именья-то приобретала! И кому все это я припасаю! кто меня за мои труды отблагодарит! Так, прахом, все хлопоты пойдут... после смерти и помянуть-то никто не вздумает! И умру я одна-одинешенька, и похоронят меня... гроба-то, пожалуй, настоящего не сделают, так, колоду какую-нибудь... Намеднись спрашиваю Степку: рад будешь, Степка, ежели я умру?.. Смеется... Так-то и все. Иной, пожалуй, и скажет: я, маменька, плакать буду... а кто его знает, что у него на душе!..

Неизвестно, куда бы завели Анну Павловну эти горькие мысли, если бы не воротилась горничная и не доложила, что Кирюшка с Марфушкой дожидаются в девичьей.

Через минуту в девичьей происходит обмен мыслей.

Прежде всего Анна Павловна начинает иронизировать.

— Так вот вы как, Кирилл Филатыч! винцо покушиваете? — говорит она, держась, впрочем, в некотором отдалении от обвиняемого.

Но Кирюшка не из робких. Он принадлежит к числу «закоснелых» и знает, что барыня давно уж готовит его под красную шапку[2].

— Пил-с, — спокойно отвечает он, как будто это так и быть должно.

— Именины изволили справлять?

— Так точно, был именинник.

---

[1] Опекунский совет — управление воспитательными домами. В эпоху Щедрина опекунский совет ведал имениями сирот и взятых в опеку помещиков, а также в нем закладывались имения несостоятельных дворян.

[2] То есть готовит к сдаче в солдаты.

— И Марфе Васильевне поднесли?
— И ей поднес. Тетка она мне...
— А где, позвольте узнать, вы вина достали?
— Стало быть, сорока на хвосте принесла.

Лицо Анны Павловны мгновенно зеленеет; губы дрожат, грудь тяжело дышит, руки трясутся. В один прыжок она подскакивает к Кирюшке.

— Не извольте драться, сударыня! — твердо предупреждает последний, отстраняя барынины руки.

— Сказывай, подлец, где вино взял? — кричит она на весь дом.

— Где взял, там его уж нет.

С минуту Анна Павловна стоит словно ошеломленная. Кирюшка, напротив, не только не изъявляет намерения попросить прощения, но продолжает смотреть ей прямо в глаза.

— Хорошо, я с тобой справлюсь! — наконец изрекает барыня. — Иди с моих глаз долой! А с тобой, — обращается она к Марфе, — расправа короткая! Сейчас же сбирайся на скотный, индеек пасти! Там тебе вольготнее будет с именинниками винцо распивать...

Аудиенция кончена. Деловой день в самом разгаре, весь дом приходит в обычный порядок. Василий Порфирыч роздал детям по микроскопическому кусочку просфоры, напился чаю и засел в кабинет. Дети зубрят уроки. Анна Павловна тоже удалилась в спальню, забыв, что голова у нее осталась нечесаною.

Она запирает дверь на ключ, присаживается к большому письменному столу и придвигает денежный ящик, который постоянно стоит на столе, против изголовья барыниной постели, так, чтоб всегда иметь его в глазах. В денежном ящике, кроме денег, хранится и деловая корреспонденция, которая содержится Анной Павловной в большом порядке. Переписка с каждой вотчиной[1] завязана в особенную пачку; такие же особые пачки посвящены переписке с судами, с опекунским советом, с старшими детьми и т. д.

Прежде всего Анна Павловна пересчитывает кассу и убеждается, что вся сумма налицо. Потом начинает развязывать пачки с перепискою. Проверяется, не забыто ли что, не требуется ли на что-нибудь ответ или приказ. Все это

[1] Вотчина — наследственное, родовое имение.

занимает много времени и выполняется без задержки. В этом отношении Анна Павловна смело может поставить себя в образец. У нее день очищается днем, и независимо от громадной памяти, сохраняющей всякую мелочь, на всякое распоряжение имеется оправдательный документ. И старосты и приказчики знают это и никогда не осмеливаются опровергать то, что она утверждает. Весь ход тяжебных дел, которых у нее достаточно, она помнит так твердо, что даже поверенный ее сутяжных тайн, Петр Дормидонтыч Могильцев, приказный из местного уездного суда, ни разу не решался продать ее противной стороне, зная, что она чутьем угадает предательство.

Вообще Могильцев не столько руководит ее в делах, сколько выслушивает ее внушения, облекает их в законную форму и указывает, где, кому и в каком размере следует вручить взятку. В последнем отношении она слепо ему повинуется, сознавая, что в тяжебных делах лучше переложить, чем не доложить.

На этот раз дел оказывается достаточно, так как имеются в виду «оказии» и в Москву и в одну из вотчин.

Анна Павловна берет лист серо-желтой бумаги и разрезывает его на четвертушки. Бумагу она жалеет и всю корреспонденцию ведет, по возможности, на лоскутках. Избегает она и почтовых расходов, предпочитая отправлять письма с оказией. И тут, как везде, наблюдается самая строгая экономия.

Перо ее быстро бегает по четвертушке. Лишних слов не допускается; всякая мысль выражена в приказательной форме, кратко и определенно, так, чтобы все нужное уместилось на лицевой стороне четвертушки. Затем письмо складывается на манер узелка и в свое время отправляется по назначению, незапечатанное. Сургуч, как вещь покупная, употребляется только в крайних случаях. Ухитряются даже свой собственный сургуч приготовлять, вырезывая сургучные печати из получаемых писем и перетапливая их; но ведь и его не наготовишься, если зря тратить.

— Состояние-то и всё так составляются, — проповедует Анна Павловна. — Тут копеечку сбережешь, в другом месте урвешь — смотришь, и гривенничек!

А Василий Порфирыч идет даже дальше; он не только вырезывает сургучные печати, но и самые конверты сберегает: может быть, внутренняя, чистая сторона еще пригодится коротенькое письмецо написать.

Наконец все нужные дела прикончены. Анна Павловна припоминает, что она еще что-то хотела сделать, да не сделала, и наконец догадывается, что до сих пор сидит нечесаная. Но в эту минуту за дверьми раздается голос садовника:

— Скоро ли персики обирать будете? Сегодня паданцев два горшка набрал.

При этом напоминании мелькнувшая на мгновение мысль о необходимости причесаться — вновь оставляет Анну Павловну.

— Фу ты, прóпасть! — восклицает она. — То туда, то сюда! вздохнуть не дадут! Ступай, Сергеич; сейчас, следом же за тобой иду.

Садовником Анна Павловна дорожит и обращается с ним мягче, чем с другими дворовыми. Во-первых, он хранитель всей барской сласти, а во-вторых, она его *купила* и заплатила довольно дорого. Поэтому ей не расчет, ради минутного каприза, «ухлопать» затраченный капитал.

Выше уже было упомянуто[1], что Анна Павловна, отправляясь в оранжереи для сбора фруктов, почти всегда берет с собой кого-нибудь из любимчиков. Так поступает она и теперь.

— Ну что, Марья Андреевна, как сегодня у вас Гриша? — спрашивает она, входя в класс.

Дети шумно отодвигают табуретки и наперерыв друг перед другом спешат подойти к маменькиной ручке.

— Сегодня мы похвастаться не можем, — жеманится Марья Андреевна. — Из катехизиса[2] — слабо, а из «Поэзии»[3] — даже очень...

— Ну, вот видишь, а я иду в оранжереи и тебя хотела взять. А теперь...

— О нет! — поправляется Марья Андреевна, видя, что аттестация ее не понравилась Анне Павловне. — Я надеюсь, что мы исправимся. Гриша! ведь к вечеру скажешь мне свой урок из «Поэзии»?

---

[1] В предшествующих, здесь опущенных главах «Пошехонской старины».

[2] Катехизис — краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов.

[3] Был особый предмет преподавания, «Поэзией» называемый. *(Примеч. Н. Щедрина.)*

— Скажу-с, — весь красный и с глазами, полными слез, бормочет Гриша.

— В таком случае можешь отправиться с мамашей.

Гриша бросает на мамашу умоляющий взгляд.

— Что ж, ежели Марья Андреевна... встань и поцелуй у нее ручку! скажи: merci[1], Марья Андреевна, что вы так милостивы... вот так.

И через две минуты балбесы и постылые уже видят в окно, как Гриша, подскакивая на одной ножке, спешит за маменькой через красный двор в обетованную землю.

Оранжереи довольно обширны. Два корпуса, и в каждом несколько отделений, по сортам фруктов: персики, абрикосы, сливы, ренклоды[2] (по-тогдашнему «венгерки»). Теплица и грунтовые сараи[3] стоят особняком. Сверх того, при оранжерее имеется обширное и плотно обгороженное подстриженными елями пространство, называемое «выставкой» и наполненное рядами горшков, тоже с фруктами всех сортов. Рамы в оранжереях сняты, и воздух пропитан теплым, душистым па́ром созревающих плодов. От этого пара занимается дух. А солнце так и обливает сверху лучами, словно огнем. Сердце Анны Павловны играет: фруктов уродилось множество, и всё отличные. Садовник подает ей два горшка с паданцами, которые она пересчитывает и перекладывает в другие порожние горшки. Фруктам в Малиновце ведется строгий счет. Как только персики начнут выходить в «косточку», так их тщательно пересчитывают, и затем уже всякий плод, хотя бы и не успевший дозреть, должен быть сохранен садовником и подан барыне для учета. При этом, конечно, допускается и урон, но самый незначительный.

Отделив помятые паданцы, Анна Павловна дает один персик Грише, который не ест его, а в один миг всасывает в себя и выплевывает косточку.

— Ах, маменька, как вкусно! — восклицает он в упоении, целуя у маменьки ручку. — Как эти персики называются?

— Этот персик ранжевый, а вот по отделениям пойдем, там и других персичков поедим. Кто меня любит — и я тех люблю; а кто не любит — и я тех не люблю.

---

[1] Спасибо *(франц.)*.

[2] Ренклод — сорт крупных сладких слив.

[3] Грунтовой сарай — закрытое помещение для выращивания растении в тепле.

— Ах, маменька! вас все любят!

— Я знаю, что ты добрый мальчик и готов за всех заступаться. Но не увлекайся, мой друг! Впоследствии, ой-ой, как можешь раскаяться!

К шпалерам[1] с задней стороны приставляются лестницы, и садовник с двумя помощниками влезают наверх, где персики зрелее, чем внизу. Начинается сбор. Анна Павловна, сопровождаемая ключницей и горничной, с горшками в руках переходит из отделения в отделение; совсем спелые фрукты кладет особо; посырее (для варенья) — особо. Работа идет медленно, зато фруктов набирается масса.

— Вот эти белобокие с кваском, а эти, с крапинками, я в Отраде прививочков достала да развела! — поучает Анна Павловна Гришу.

Сбор кончился. Несколько лотков и горшков нагружено верхом румяными, сочными и ароматическими плодами. Процессия из пяти человек возвращается восвояси, и у каждого под мышками и на голове драгоценная ноша. Но Анна Павловна не спешит; она заглядывает и в малинник, и в гряды клубники, и в смородину. Все уже созревает, а клубника даже к концу приходит.

— Малину-то хоть завтра обирай! — говорит она, всплескивая руками.

— Сегодня бы надо, а вы в лес девок угнали! — отвечает садовник.

— Как мы со всей этой прорвой управимся? — тоскует она. — И обирать, и чистить, и варить, и солить.

— Бог милостив, сударыня; девок побольше нагоните — разом очистят.

— Хорошо тебе, старый хрен, говорить: у тебя одно дело, а я целый день и туда и сюда! Нет, сил моих нет! Брошу все и уеду в Хотьков, богу молиться!

— Ах, маменька! — восклицает Гриша, и две слезинки навертываются на его глазах.

Но Анна Павловна уже вступила в колею чувствительности и продолжает роптать. Непременно она бросит все и уедет в Хотьков. Построит себе келейку, огородец разведет, коровушку купит и будет жить да поживать. Смирнехонько,

[1] **Шпалеры** — решетка, по которой вьется растение или к которой привязываются ветви деревьев для придания им определенной формы.

тихохонько; ни она никого не тронет, ни ее никто не тронет. А то на-тко! такая прорва всего уродилась, что и в два месяца вряд справиться, а у ней всего недели две впереди. А кроме того, сколько еще других дел — и везде она поспевай, все к ней за приказаниями бегут! Нет, будет с нее! надо и об душе подумать. Уедет она в Хотьков...

Все это она объясняет вслух и с удовольствием убеждается, что даже купленный садовник Сергеич сочувствует ей. Но в самом разгаре сетований в воротах сада показывается запыхавшаяся девчонка и объявляет, что барин «гневаются», потому что два часа уж пробило, а обед еще не подан.

Анна Павловна ускоряет шаг, потому что Василий Порфирыч на этот счет очень пунктуален. Он ест всего один раз в сутки и требует, чтоб обед был подан ровно в два часа. По-настоящему, следовало бы ожидать с его стороны целой бури (так как четверть часа уже перешло за положенный срок), но при виде массы благоухающих плодов сердце старого барина растворяется. Он стоит на балконе и издали крестит приближающуюся процессию; наконец сходит на крыльцо и встречает жену там. Да, это все *она* завела! Когда он был холостой, у него был крохотный сад, с несколькими десятками ягодных кустов, между которыми были рассажены яблони самых незатейливых сортов. Теперь — «заведение» господ Затрапезных чуть не первое в уезде, и он совершенно законно гордится им. Поэтому он не только не встречает Анну Павловну словами «купчиха», «ведьма», «черт» и проч., но, напротив, ласково крестит ее и прикладывается щекой к ее щеке.

— Этакую ты, матушка, махину набрала! — говорит он, похлопывая себя по ляжкам. — Ну, и урожай же нынче! Так и быть, я перед чаем полакомлюсь, и мне уделите персичек... вон хоть этот!

Он выбирает самый помятый персик, из числа паданцев, и бережно кладет его на порожний поддонник.

— Да возьми получше персик, — убеждает его Анна Павловна, — этот до вечера наполовину сгниет!

— Нет, нет, нет, будет с меня! А ежели и попортится, так я порченое местечко вырежу... Хорошие-то и на варенье пригодятся.

Обед, сверх обыкновения, проходит благополучно. И повару и прислуге как-то удается не прогневить господ; даже

Степан-балбес ускользает от наказания, хотя отсутствие соуса вызывает с его стороны ироническое замечание: «Соус-то нынче, видно, курица украла». Легкомысленное это изречение сопровождается не наказанием, а сравнительно мягкой угрозой.

— Только рук сегодня марать не хочется, — говорит Анна Павловна, — а уж когда-нибудь я тебя, балбес, за такие слова отшлепаю!

И только.

После обеда Василий Порфирыч ложится отдохнуть до шести часов вечера; дети бегут в сад, но не надолго: через час они опять засядут за книжки и будут учиться до шести часов. Сама Анна Павловна удаляется в спальню и усталая грузно валится на постель. Но нынешний день уж такой выдался, что, видно, ей и отдохнуть не придется. Не прошло часу, как чуткое ее ухо уже заслышало шум, и она, как встрепанная, вынырнула из пуховиков. От села шла целая толпа народа, впереди которой вели связанного человека. Это был пойманный беглый солдат. Анна Павловна проворно выскочила на девичье крыльцо.

Солдат изможден и озлоблен. На нем пестрядинные, до клочьев истрепанные портки и почти истлевшая рубашка, из-за которой виднеется черное, как голенище, тело. Бледное лицо блестит крупными каплями пота; впалые глаза беспокойно бегают; связанные сзади в локтях руки бессильно сжимаются в кулаки. Он идет, понуждаемый толчками, и кричит:

— Я казенный человек — не смеете вы меня бить... Я сам, коли захочу, до начальства дойду... Не смеете вы! и без вас есть кому меня бить!

Но провожатые, озлобленные, что у них пропала, благодаря беглецу, лучшая часть дня для сенокоса, не убеждаются его воплями и продолжают награждать его тумаками.

— Добро, добро! — раздается в толпе. — Ужо барыня тебя на все четыре стороны пустит, а теперь пошевеливайся-ко, поспевай!

Барыня между тем уже вышла на крыльцо и ждет. Все наличные домочадцы высыпали на двор; даже дети выглядывают из окна девичьей. Вдали, по направлению к конюшням, бежит девчонка с приказанием нести скорее колодки.

— Ну-ка, иди, казенный человек! — по обыкновению начинает иронизировать Анна Павловна. — Фу ты, какой франт! Да, никак, и впрямь это великановский Сережка... извините,

не знаю, как вас по отчеству звать... Поверните-ка его... вот так! Как раз по последней моде одет!

— Я казенный человек! — продолжает бессмысленно орать солдат. — Не смеете вы меня...

— Знаем мы, что ты казенный человек, затем и сторо́жу к тебе приставили, что казенное добро беречь велено. Ужо сденем мы тебя как следует в колодки, нарядим подводу, да и отправим в город по холодку. А оттуда тебя в полк... да скрозь строй... да ро́зочками, да палочками... как это в песне у вас поется?..

— «Пройдись, пройдись, молодец, скрозь зеленые леса́!» — отвечает из толпы голос отставного солдата.

— Слышишь? Ну, вот, мы так и сделаем: нарядим тебя, милой дружок, в колодки, да вечерком по холодку...

— Я казен... — начинает опять солдат, но голос его внезапно прерывается. Напоминанье о «скрозь строе», по-видимому, вносит в его сердце некоторое смущение. Быть может, он уже имеет довольно основательное понятие об этом угощении, и повторение его (в усиленной пропорции за вторичный побег) не представляет в будущем ничего особенно лестного.

— Матушка ты моя! Заступница! — не кричит, а как-то безобразно мычит он, рухнувшись на колени. — Смилуйся ты над солдатом! Ведь я... ведь мне... ах, господи! да что же это будет! Матушка! да ты посмотри, ты на спину-то мою посмотри! Вот они, скулы-то мои... Ах ты, господи милостивый!

Но Анна Павловна не раз уже была участницей подобных сцен и знает, что они представляют собой одну формальность, в конце которой стоит неизбежная развязка.

— Не властна я, голубчик, и не проси! — резонно говорит она. — Кабы ты сам ко мне не пожаловал, и я бы тебя не ловила. И жил бы ты поживал тихохонько да смирнехонько в другом месте... вот хоть бы ты у экономических... Тебе бы там и хлебца, и молочка, и яишенки... Они люди вольные, сами себе господа, что хотят, то и делают! А я, мой друг, не властна! Я себя помню и знаю, что я тоже слуга! И ты слуга, и я слуга, только ты неверный слуга, а я — верная!

— Матушка! да взгляни ты...

— Нет, ты пойми, что ты сделал! Ведь ты, легко сказать, с царской службы бежал! С царской! Что, ежели вы все разбежитесь, а тут вдруг француз или турок... глядь-поглядь, а

солдатушки-то у нас в бегах! С кем мы тогда навстречу лиходеям нашим пойдем?

— Заступница!

— Нет-нет-нет.. Или, опять, то возьми: видишь, сколько мужичков тебя ловить согнали, а ведь они через это целый день работы потеряли! А время теперь горячее, сенокос! Целый день ловили тебя, а вечером еще подводу под тебя нарядить надо, да двоих провожатых... Опять у мужичков целые сутки пропали, а не то так и двои! Какое ты, подлец ты этакой, право имел всю эту кутерьму затевать! — вдруг разражается она гневно. — Эй, что там копаются! забить ему руки-ноги в колодки! Ишь, мерзавец! на спину его взгляни! Да коли ты казенный человек — стало быть, и спина у тебя казенная, — вот и вся недолга!

Подбегают два конюха, валят солдата на землю и начинают набивать ему колодки на руки и на ноги. Колодки рассохлись и мучительно сжимат солдату кости.

— Колодки! колодки забивают! — раздаются из окон детские голоса.

— Ишь печальник нашелся! — продолжает поучать Анна Павловна. — Уж не на все ли четыре стороны тебя отпустить? Сделай милость, воруй, голубчик, поджигай, грабь! Вот ужо в городе тебе покажут... Скажите на милость! целое утро словно в котле кипела, только что отдохнуть собралась — не тут-то было! солдата нелегкая принесла, с ним валандаться изволь! Прочь с моих глаз... поганец! Уведите его да накормите, а не то еще издохнет, чего доброго! А часам к девяти приготовить подводу — и с богом!

Сделавши это распоряжение, Анна Павловна возвращается восвояси, в надежде хоть на короткое время юркнуть в пуховики: но часы уже показывают половину шестого; через полчаса воротятся из лесу «девки», а там чай, потом староста.. Не до спанья!

— Брысь, пострелята! Еще ученье не кончилось, а они на-тко куда забрались! вот я вас! — кричит она на детей, все еще скучившихся у окна в девичьей и смотрящих, как солдата, едва ступающего в колодках, ведут по направлению к застольной.

Она уходит в спальню и садится к окну. Ей предстоит целых полчаса праздных, но на этот раз ее выручает кот Васька. Он тихо-тихо подкрадывается по двору за какой-то

добычей и затем в один прыжок настигает ее. В зубах у него замерла крохотная птица.

— Ишь ведь, мерзавец, все птиц ловит — нет чтобы мышь! — ропщет Анна Павловна. — От мышей спасенья нет, и в анбарах, и в погребе, и в кладовых тучами ходят, а он все птиц да птиц. Нет, надо другого кота завести.

Несмотря, однако ж, на негодование, которое возбуждает в ней Васька своим поведением, она не без интереса смотрит на игру, которую кот заводит с изловленной птицей. Он несет свою жертву в зубах на край дороги и выпускает ее изо рта. Птица еще жива, но уже совсем безнадежно кивает головкой и еле-еле шевелит помятыми крылышками. Васька то отбежит в сторону и начинает умывать себе морду лапкой, то опять подскочит к своей жертве, как только она сделает какое-нибудь движение. Куснет ее слегка за крыло и опять отбежит. Маневр этот повторяется несколько раз сряду, пока Васька, как бы из опасения, чтоб птица в самом деле не издохла, не решается перекусить ей горло. Начинается процесс ощипыванья.

— Ах, злец![1] ах, подлец! — шепчет Анна Павловна. — Ишь ведь что делает... мучитель! А что вы думаете, ведь и из людей такие же подлецы бывают! То подскочит, то отбежит; то куснет, то отдохнуть даст. Я помню, один палатский секретарь[2] со мной вот этак же играл. «Вы, — говорит, — полагаете, что ваше дело правое, сударыня?» — «Правое», — говорю. «Так вы не беспокойтесь; коли ваше дело правое, мы его в вашу пользу и решим. Наведайтесь через недельку!» А через недельку опять: «Так вы думаете...» Трет да мнет. Водил он меня, водил, сколько деньжищ из меня в ту пору вызудил... Я было к столоначальнику[3]: что, мол, это за игра такая? А он в ответ: «Да уж потерпите; это у него характер такой!.. Не может без того, чтоб спервоначалу не измучить, а потом вдруг возьмет да в одночасье и решит ваше дело». И точно: решил... в пользу противной стороны! Я к нему: «Что же вы, Иван Иваныч, со мной сделали?» А он только хохочет... наглец! «Успокойтесь, сударыня, — говорит, — я

[1] Злец — злобный человек, клеветник.

[2] Палатский секретарь — чиновник судебной палаты, надзирающей за деятельностью окружных судов.

[3] Столоначальник — начальник отделения канцелярии.

такое решение написал, что сенат[1] беспременно его отменит!» Так вот какие люди бывают! Свяжут тебя по рукам, по ногам, да и бьют, сколько вздумается!

Наконец Васька ощипал птицу и съел. Вдали показываются девушки с лукошками в руках. Они поют песни, а некоторые, не подозревая, что глаз барыни уже заприметил их, черпают в лукошках и едят ягоды.

— Ишь жрут! — ворчит Анна Павловна. — Кто бы это такая? Аришка долговязая — так и есть! А вон и другая! так и уписывает за обе щеки, так и уписывает... беспременно это Наташка... Вот я вас ужо... ошпарю!

Через десять минут девичья полна, и производится прием ягоды. Принесено немного; кто принес пол-лукошка, а кто и совсем на донышке. Только карлица Полька принесла полное лукошко.

— Что́ так, красавицы! Всего-навсе только десять часов по лесу бродили, а какую пропасть принесли?

— Совсем еще ягоды мало поспело, — оправдываются девушки.

— Так. А Полька отчего же полное лукошко набрала?

— Стало быть, ей посчастливилось.

— Так, так. А ну-тко, открой хайло[2], дохни на меня, долговязая!

Аришка подходит к барыне и дышит ей в лицо.

— Что-то малинкой попахивает! Нутко, а ты, Наташка! Подходи, голубушка, подходи!

Наташка делает то же, что и Аришка.

— Чудо! Для господ ягода не поспела, а от них малиной так и разит!

— Ей-богу, сударыня...

— Не божитесь. Сама из окна видела. Видела собственными глазами, как вы, идучи по мосту, в хайло себе ягоды пихали! Вы думаете, что барыня далеко, ан она — вот она! Вот вам за это! вот вам! Завтра целый день за пяльцами сидеть!

Раздается треск пощечин. Затем малина ссыпается в одно лукошко и сдается на погреб, а часть отделяется для детей, которые уже отучились и бегают по длинной террасе, выстроенной вдоль всей лицевой стороны дома.

---

[1] Сенат — высшее судебно-административное учреждение царской России.

[2] Хайло — горло, пасть.

Бьет семь часов. Детей оделили лакомством; Василию Порфирычу тоже поставили на чайный стол давешний персик и немножко малины на блюдечке. В столовой кипит самовар; начинается чаепитие тем же порядком, как и утром, с тою разницей, что при этом присутствуют и барин с барыней. Анна Павловна осведомляется, хорошо ли учились дети.

— Сегодня у нас счастливый день выдался, — аттестует Марья Андреевна, — даже Степан Васильич — и тот хорошо уроки отвечал.

— Ну, пей чай! — обращается Анна Павловна к балбесу. — Пейте чай все... живо! Надо вас за прилежание побаловать; сходите с ними, голубушка Марья Андреевна, погуляйте по селу! Пускай деревенским воздухом подышат!

Анна Павловна и Василий Порфирыч остаются с глазу на глаз. Он медленно проглатывает малинку за малинкой и приговаривает: «Новая новинка — в первый раз в нынешнем году! Раненько поспела!» Потом так же медленно берется за персик, вырезывает загнивший бок и, разрезав остальное на четыре части, не торопясь кушает их одну за другой, приговаривая: «Вот хоть и подгнил маленько, а сколько еще хорошего места осталось!»

У Анны Павловны сердце так и кипит, видя, как он копается.

Старик, очевидно, в духе и собирается покалякать о том, о сем, а больше ни о чем. Но Анну Павловну так и подмывает уйти. Она не любит празднословия мужа, да ей и некогда. Того гляди, староста придет, надо доклад принять, на завтра распоряжение сделать. Поэтому она сидит, как на иголках, и в ту минуту, как Василий Порфирыч произносит: «Разно бывает: иной год на малину урожай, иной — на клубнику. А иногда яблоков уродится столько, что обору нет... как богу угодно...» — она грузно встает с кресла, чтоб удалиться.

— Что, уж и поговорить-то со мной не хочешь! — обижается старик. — Ах, дьявол! именно дьявол!

— Некогда мне тебя слушать, — равнодушно отвечает Анна Павловна уходя. — У меня делов по горло, не время с тобой на бобах разводить!

— Черт! дьявол! — гремит ей вслед Василий Порфирыч, но сейчас же стихает и обращается уже к лакею Коняшке, который стоит за его стулом в ожидании приказаний. — Такто, брат! — говорит он ему. — Прошлого года рожь хорошо

родилась, а нынче рожь похуже, зато на овес урожай. Конечно, овес не рожь, а все-таки лучше, что хоть что-нибудь есть, нежели ничего. Так ли я говорю?

— Точно так, сударь.

Василий Порфирыч сам заваривает чай в особливом чайнике и начинает пить, переговариваясь с Коняшкой, за отсутствием других собеседников.

Дети тем временем, сгруппировавшись около гувернантки, степенно и чинно бредут по поселку. Поселок пустынен, рабочий день еще не кончился; за молодыми барами издали следует толпа деревенских ребятишек.

Дети перекидываются замечаниями.

— Вон Антипка какую избу взбодрил, а теперь она пустая стоит! — рассказывает Степан. — Бедный был и пил здо́рово, да икону откуда-то добыл — с тех пор и пошел разживаться. И пить перестал, и деньги проявились. Шире да шире, четверку лошадей завел, одна другой лучше, коров, овец, избу эту самую выстроил... Наконец, на оброк выпросился, торговать стал... Мать только дивилась: откуда на Антипку пошло-поехало? Вот и скажи ей кто-то: такая, мол, у Антипки икона есть, которая ему счастье приносит. Она взяла да и отняла. Антипка-то в ту пору в ногах валялся, деньги предлагал, а она одно твердит: «Тебе все равно, какой иконе богу ни молиться»... Так и не отдала. С тех пор Антипка опять захудал. Стал пить, тосковать, день ото дню хуже да хуже... Теперь хороший-то дом пустует, а он с семейством сзади в хибарке живет. С нынешнего года опять на барщину посадили, а с неделю тому назад уж и на конюшне наказывали...

— А вот Катькина изба, — отзывается Любочка, — я вчера ее из-за садовой решетки видела, с сенокоса идет: черная, худая. «Что́, Катька, спрашиваю: сладко за мужиком жить?» — «Ничего, говорит, буду-таки за вашу маменьку бога молить. По смерть ласки ее не забуду!»

— Изба-то у ней... посмотрите! бревна живого нет!

— И поделом ей, — решает Сонечка. — Ежели бы все девушки...

В таких разговорах проходит вся прогулка. Нет ни одной избы, которая не вызвала бы замечания, потому что за всякой числится какая-нибудь история. Дети не сочувствуют мужичку и признают за ним только право терпеть обиду, а не роптать на нее. Напротив, поступки мамаши, по отношению

к крестьянам, встречают их безусловное одобрение. Они называют ее «молодцом», говорят, что у ней «губа не дура», и что, если бы не она, сидели бы они теперь при отцовских трехстах шестидесяти душах. Даже голос постылого «балбеса» сливается в общем хвалебном хоре — до такой степени все поражены цифрою три тысячи душ, которыми теперь владеют Затрапезные.

— Этакую махинищу соорудила! — восторженно восклицает Степан.

— И мы должны вечно ее за это благодарить! — отзывается Гриша.

— Что бы мы без нее были! — продолжает восторгаться балбес. — Так, какие-то Затрапезные! «Сколько у вас душ, господин Затрапезный?» — «Триста шестьдесят-с...» Ах, ты!

— Вот теперь вы правильно рассуждаете, — одобряет детей Марья Андреевна, — я и маменьке про ваши добрые чувства расскажу. Ваша маменька — мученица. Папенька у вас старый, ничего не делает, а она с утра до вечера об вас думает, чтоб вам лучше было, чтоб будущее ваше было обеспечено. И, может быть, скоро бог увенчает ее старания новым успехом. Я слышала, что продается Никитское, и маменька уже начала по этому поводу переговоры.

Известие это производит фурор. Дети прыгают, бьют в ладоши, визжат.

— Ведь в Никитском-то с деревнями пятьсот душ! — восклицает Степан. — Ай да мамахен!

— Четыреста восемьдесят три, — поправляет брата Гриша, которому уже нечто известно об этих переговорах, но который покуда еще никому не выдавал своего секрета.

Солнце уже догорело; в дом проникают сумерки, а в девичьей даже порядочно темно. Девушки сошлись около стола и хлебают пустые щи. Тут же, на ларе, поджавши ноги, присела Анна Павловна и беседует с старостой Федотом. Федоту уже лет под семьдесят, но он еще бодр, и ежели верить мужичкам, то рука у него порядочно-таки тяжела. Он чинно стоит перед барыней, опершись на клюку, и неторопливо отвечает на ее вопросы. Анна Павловна любит старосту; она знает, что он не потатчик и что клюка в его руках не бездействует. Сверх того, она знает, что он из немногих, которые сознают себя воистину крепостными, не только за страх, но и за совесть. В хозяйственных распоряжениях она уважает его

опытность и нередко изменяет свои распоряжения, согласно с его советами. Короче сказать, это два существа, которые вполне сошлись сердцами и между которыми очень редко встречаются недоумения.

— Что, кончили в Шилове? — спрашивает Анна Павловна.

— Остатний стог дометывали, как я уходил. Наказал без того не расходиться, чтобы не кончить.

— Хорошо сено-то?

— Сено нынче на редкость: сухое, звонкое... Не слишком только много его, а уж уборка такая — из годов вон!

— Боюсь, достанет ли до весны?

— Как сказать, сударыня... как будем кормить... Ежели зря будем скотине корм бросать — мало будет, а ежели с расчетом, так достанет. Коровам-то можно и яровой соломки подавывать, благо нынче урожай на овес хорош. Упреждал я вас в ту пору с пустошами погодить, не все в кортому[1] сдавать...

— Ну, уж прости христа ради! Как-нибудь обойдемся... На завтра какое распоряжение сделаешь?

— Мужиков-то в Владыкино бы косить надо нарядить, а баб беспременно в Игумново рожь жать послать.

— Жать? Что больно рано?

— Год ноне ранний. Всё сразу. Прежде об эту пору еще и звания малины не бывало, а нонче малинники усыпаны спелой ягодой.

— А мне мои фрелины на донышке в лукошках принесли.

— Не знаю; нужно бы по целому, да и то не убрать.

— Слышите? — обращается Анна Павловна к девицам. — Стало быть, мужикам завтра — косить, а бабам — жать? все, что ли?

Староста мнется, словно не решается говорить.

— Еще что-нибудь есть? — встревоженно спрашивает барыня.

— Есть дельце... да нужно бы его промеж себя рассудить...

Анна Павловна заранее бледнеет и чуть не бегом направляется в спальню.

— Что там еще? сказывай! говори!

---

[1] Кортома — наем, аренда (земли, леса).

— Да мертвое тело на нашей земле проявилось, — шепотом докладывает Федот.

— Вот так денек выбрался! Давеча беглый солдат, теперь мертвое тело... Кто видел? где? когда?

— Да Антон мяловский видел. «Иду я, — говорит, — уж солнышко книзу пошло — лесом около великановской межи, а «он» на березовом суку и висит».

— Висельник?

— Стало быть, висельник.

— А другие знают об этом?

— Зачем другим сказывать! Я Антону строго-настрого наказывал, чтоб никому ни гу-гу. Да не угодно ли самим Антона расспросить. Я на всякий случай его с собой захватил...

— Не нужно. Так вот что сделай. Ты говоришь, что мертвое тело в лесу около великановской межи висит, а лес тут одинаковый, что у нас, что у Великановых. Так возьми сейчас Антошку, да еще на подмогу ему Михайлу сельского, да и перевесьте за великановскую межу, на ихнюю березу. А завтра, чуть свет, опять сходите, и ежели окажутся следы ног, то все как следует сделайте, чтоб не было заметно. Да и днем посматривайте: пожалуй, великановские заметят, да и опять на нашу березу перенесут. Да смотри у меня: ежели кто-нибудь проведает — ты в ответе! Устал ты, поди, старик, день-то маявшись — ну, да уж нечего делать, постарайся!

— Ничего, сударыня, день работали — и ночку поработаем! С устатку-то любехонько!

Доклад кончен; ключница подает старосте рюмку водки и кусок хлеба с солью. Анна Павловна несколько времени стоит у окна спальни и вперяет взор в сгустившиеся сумерки. Через полчаса она убеждается, что приказ ее отчасти уже выполнен и что с села пробираются три тени по направлению к великановской меже.

Наконец в столовой раздается лязганье тарелок и ложек.

Докладывают, что ужин готов. Ужин представляет собой повторение обеда, за исключением пирожного, которое не подается. Анна Павловна зорко следит за каждым блюдом и замечает, сколько уцелело кусков. В великому ее удовольствию, телятины хватит на весь завтрашний день, щец тоже порядочно осталось, но с галантиром придется проститься! Ну, да ведь и то сказать — третий день галантир да галантир! можно и полото́чком полакомиться, покуда не испортились.

Рабочий день кончился. Дети целуют у родителей ручки и проворно взбегают на мезонин в детскую. Но в девичьей еще слышно движение. Девушки, словно заколдованные, сидят в темноте и не ложатся спать, покуда голос Анны Павловны не снимет с них чары.

— Ложитесь! — кричит она им, проходя в спальню.

На сон грядущий она отпирает денежный ящик и удостоверяется, все ли в нем лежит в том порядке, в котором она всегда привыкла укладывать. Потом она припоминает, не забыла ли чего.

— Никак, я сегодня не причесывалась? — спрашивает она горничную.

— Не причесывались и есть...

— Вот оказия! А впрочем, и то сказать, целый день туда да сюда... Поневоле замотаешься! Как бы и завтра не забыть! Напомни...

Она снимает с себя блузу, чехол и исчезает в пуховиках. Но тут ее настигает еще одно воспоминание:

— Ах, да ведь я и лба-то сегодня не перекрестила... ах, грех какой! Ну, на этот раз бог простит! Сашка! подтычь одеяло-то... плотнее... вот так!

Через четверть часа весь дом спит мертвым сном.

* * *

Так проходит летний день в господской усадьбе. Зимой, под влиянием внешних условий, картина видоизменяется, но, в сущности, крепостная страда не облегчается, а, напротив, даже усиливается. Краски сгущаются, мрак и духота доходят до крайних пределов.

Кто поверит, что было время, когда вся эта смесь алчности, лжи, произвола и бессмысленной жестокости, с одной стороны, и придавленности, доведенной до поругания человеческого образа, — с другой, называлась... жизнью?!

1887 г.



ДЕТИ. — ПО ПОВОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО

И вот теперь, когда со всех сторон меня обступило старчество, я вспоминаю детские годы, и сердце мое невольно сжимается всякий раз, как я вижу детей. Пускай, впрочем, читатель не пугается: я не поведу его по этому поводу в область отвлеченностей и обобщений. Не стану, например, доказывать, что отношусь тревожно к детскому вопросу, потому что с разрешением его тесно связано благополучие или злополучие страны; не буду ссылаться на то, что мы с школьной скамьи научились провидеть в детях устроителей грядущих исторических судеб. Нет, я просто, без околичностей, говорю: мне жаль детей, не ради каких-нибудь социалистических обобщений, а ради их самих.

Тем не менее прошу читателя не думать, что я считаю отвлеченности и обобщения пустопорожнею фразой. Нет, я верил и теперь верю в их живописную силу; я всегда был убежден и теперь не потерял убеждения, что только с их помощью человеческая жизнь может получить правильные и проч-

ные устои. Формулированию этой истины была посвящена лучшая часть моей жизненной деятельности, всего моего существа. «Не погрязайте в подробностях настоящего, — говорил и писал я, — но воспитывайте в себе идеалы будущего; ибо это своего рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной шар обратился бы в камень. Не давайте окаменеть и сердцам вашим, вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего. Только недальнозорким умам эти точки кажутся беспочвенными и оторванными от действительности; в сущности же, они представляют собой не отрицание прошлого и настоящего, а результат всего лучшего и человечного, завещанного первым и вырабатывающегося в последнем. Разница заключается только в том, что, создавая идеалы будущего, просветленная мысль отсекает все злые и темные стороны, под игом которых изнывало и изнывает человечество».

К сожалению, уветы[1] мои были голосом вопиющего в пустыне. Конечно, прорывались минуты, когда мне казалось, что общество вступает на стезю верований, — и сердце мое оживлялось. Но это было лишь кратковременное марево, которое немедленно же сменялось самою суровою действительностью. Умами снова овладевала «злоба дня», общество снова погружалось в бессодержательную суматоху; мрак сгущался и бессрочно одолевал робкие лучи света, на мгновение озарившие жизнь. И — кто знает, — может быть, недалеко время, когда самые скромные ссылки на идеалы будут возбуждать только ничем не стесняющийся смех...

Но возвращаюсь к детям. Если дать веру общепризнанному мнению, то нет возраста более счастливого, нежели детский. Детство беспечно и не смущается мыслью о будущем. Ежели у него есть горе, то это горе детское; слезы — тоже детские; тревоги — мимолетные, которые даже формулировать с полною определенностью нельзя. Посмотрите на Гришу или Маню — их личики еще не обсохли от слез, как уже снова расцвели улыбкой. Посмотрите, как дети беззаботно и весело резвятся, всецело погруженные в свои насущные радости и даже не подозревая, что в окружающем их мире гнездится какое-то злое начало, которое подтачивает миллионы существований. Жизнь их течет, свободная и спокой-

[1] **Уветы** — уговоры, советы.

ная, в одних и тех же рамках, сегодня, как вчера, но самое однообразие этих рамок не утомляет, потому что содержанием для них служит непрерывное душевное ликование. Все действия детей свидетельствуют о невозмутимом душевном равновесии, благодаря которому они мгновенно забывают о чуть заметных горестях, встречающихся на их пути. Нужно только следить, чтобы развитие детей шло правильно; нужно оградить их от матерьяльных опасностей и зачатков нравственных увлечений, которые могут повредить им в будущем. Эту задачу возьмет на себя разумная педагогика и выполнит ее так, что дети и не почувствуют тяготеющей над ними ферулы [1].

Так гласит общепризнанное мнение. Так долгое время думал и я, забывая о своем личном прошлом. Внешность оказывала на меня подкупающее действие. Беспечно резвиться, пребывать в неведении зла, ничего не провидеть, даже в собственном будущем, всем существом отдаваться наслаждению насущной минутой — разве возможно представить себе более завидный удел? О, дети, дети! Какую благодарную, восприимчивую почву представляют их сердца для руководительства! Скажут им: нужно любить папеньку с маменькой — они любят; прикинут сюда тетенек, дяденек, сестриц, братцев и даже православных христиан — они и их помянут в молитвах своих. Таковы несложные детские обязанности относительно присных и ближних, а рядом с ними преподаются и житейские правила, столь же простые и удобные для воспринятия. Резвиться, но не шуметь, за обедом сидеть прямо и не вмешиваться в разговоры старших; смотреть весело вообще и в особенности при гостях, и т. д. Какой родитель, не исключая самого заурядного, затруднится внедрить эти элементарные правила в восприимчивое детское сердце? и какое детское сердце не понесется навстречу таким необременительным правилам? А когда ребенок вступит в отроческий возраст и родителям покажется недосужно или затруднительно заниматься его воспитанием, то на место их появится разумная педагогика и напишет на порученной ей tabula rasa [2] *свои* письмена. Она научит почитать старших, избегать общества неблаговоспитанных людей, вести себя скромно, не увлекаться вред-

[1] Ферула — надзор учителя.
[2] Чистая доска (*лат.*).

ными идеями и т. д. При помощи этих новых правил сфера «воспитания» постепенно расширится, доведет до надлежащей мягкости восковое детское сердце и в то же время не дозволит червю сомнения заползти в тайник детской души.

Сомнения! — разве совместима речь о сомнениях с мыслью о вечно ликующих детях? Сомнения — ведь это отрава человеческого существования. Благодаря им человек впервые получает понятие о несправедливостях и тяготах жизни; с их вторжением он начинает сравнивать, анализировать не только свои собственные действия, но и поступки других. И горе, глубокое, неизбывное горе западает в его душу; за горем следует ропот, а отсюда только один шаг до озлобления...

О, нет! ничего подобного, конечно, не допустят разумные педагоги. Они сохранят детскую душу во всем ее неведении, во всей непочатости и оградят ее от злых вторжений. Мало того: они употребят все усилия, чтобы продлить детский возраст до крайних пределов, до той минуты, когда сама собой вторгнется всеразрушающая сила жизни и скажет: отныне начинается пора зрелости, пора искупления непочатости и неведения!

. . . .

Повторяю: так долгое время думал я, вслед за общепризнанным мнением о привилегиях детского возраста. Но чем больше я углублялся в детский вопрос, чем чаще припоминалось мне мое личное прошлое и прошлое моей семьи, тем больше раскрывалась передо мной фальшь моих воззрений.

Прежде всего мне представилась мысль о необычайной интенсивной силе злополучия, разлитого в человеческом обществе. Злополучие так цепко хватается за все живущее, что только очень редкие индивидуумы ускользают от него, но и они, в большинстве случаев, пользуются незавидной репутацией простодушных людей. Куда вы ни оглянитесь, везде увидите присутствие злосчастия и массу людей, задыхающихся под игом его. Формы злосчастия разнообразны, разнообразна также степень сознательности, с которою переносит человек настигающее его иго, но обязательность последнего одинакова для всех. Неправильность и шаткость устоев, на которых зиждется общественный строй, — вот где кроется источник этой обязательности, и потому она не может миновать ни од-

ного общественного слоя, ни одного возраста человеческой жизни. Пронизывая общество сверху донизу, она не оставляет вне своего влияния и детей.

Говорят: посмотрите, как дети беспечно и весело резвятся, — и отсюда делают посылку к их счастью. Но ведь резвость, в сущности, только свидетельствует о потребности движения, свойственной молодому, ненадломленному организму. Это явление чисто физического порядка, которое не имеет ни малейшего влияния на будущие судьбы ребенка и которое, следовательно, можно совершенно свободно исключить из счета элементов, совокупность которых делает завидным детский удел.

Затем вглядитесь пристальнее в волнующуюся перед вами детскую среду, и вы без труда убедитесь, что не *все* дети резвятся и что, во всяком случае, не все резвятся *одинаково*. Одни резвятся смело и искренно, как бы сознавая свое право на резвость; другие резвятся робко, урывками, как будто возможность резвиться составляет для них нечто вроде милости; третьи, наконец, угрюмо прячутся в сторону и издали наблюдают за играми сверстников, так что даже когда их случайно *заставляют* резвиться, то они делают это вяло и неумело. Но этого мало: вы убедитесь, что существует на свете целая масса детей, забытых, приниженных, оброшенных с самых пеленок.

Я знаю, что, в глазах многих, выводы, полученные мною из наблюдений над детьми, покажутся жестокими. На это я отвечаю, что ищу не утешительных (во что бы то ни стало) выводов, а правды. И во имя этой правды иду даже далее и утверждаю, что из всех жребиев, выпавших на долю живых существ, нет жребия более злосчастного, нежели тот, который достался на долю детей.

Дети ничего не знают о качествах экспериментов, которые над ними совершаются, — такова общая формула детского существования. Они не выработали ничего *своего*, что могло бы дать отпор попыткам извратить их природу. Колея, по которой им предстоит идти, проложена произвольно и всего чаще представляет собой дело случая.

Не все родители обязательно опытны и разумны; не все педагоги настолько проницательны, чтоб угадать природу ребенка, вверенного их воспитанию. По большей части, в этом деле господствует полное смешение, которое способно извра-

тить даже наиболее счастливо одаренную детскую природу. Но, кроме случайности, детей преследует еще «система». Система представляет собой плод временного общественного настроения и на все живущее накладывает свою тяжелую руку. Она вырабатывает массу разнообразнейших жизненных формул, по большей части искусственных и удовлетворяющих исключительно взглядам и требованиям минуты. Дети в этом смысле составляют самую легкую добычу, которою она овладевает вполне безнаказанно, в полной уверенности, что восковое детское сердце всякую педагогическую затею примет без противодействия.

Припомните: разве история не была многократно свидетельницей мрачных и жестоких эпох, когда общество, гонимое паникой, перестает верить в освежающую силу знания и ищет спасения в невежестве? Когда мысль человеческая осуждается на бездействие, а действительное знание заменяется массою бесполезностей, которые отдают жизнь в жертву неосмысленности; когда идеалы меркнут, а на верования и убеждения налагается безусловный запрет?.. Где ручательство, что подобные эпохи не могут повториться и впредь?

Мучительно жить в такие эпохи, но у людей, уже вступивших на арену зрелой деятельности, есть, по крайней мере, то преимущество, что они сохраняют за собой право бороться и погибать. Это право избавит их от душевной пустоты и наполнит их сердца сознанием выполненного долга — долга не только перед самим собой, но и перед человечеством.

Это последнее сознание в особенности важно, ибо оно составляет не только преимущество, но и утешение. Для убежденной и верующей мысли представление о человечестве является отнюдь не отдаленным и индиферентным, как об этом гласит недальновидная «злоба дня». Нет, между первым и последнею существует неразрывная цепь, каждое звено которой обладает передаточною силой, доведенной до крайних пределов чуткости. С помощью этой цепи борьба настоящего неизбежно откликнется в тех глубинах, в которых таятся будущие судьбы человечества, и заронит в них плодотворное семя. Не все лучи света погибнут в перипетиях борьбы, но часть их прорежет мрак и даст исходную точку для грядущего обновления. Эта мысль заставляет усиленнее биться сердца поборников правды и укрепляет силы, необходимые для совершения подвига. Ибо это воистину сладчайший из

5*

подвигов, и сознание, что он выполнен бодро и без колебаний, воистину может пролить утешение в поруганные и измученные сердца.

Никаким подобным преимуществом не пользуются дети. Они чужды всякого участия в личном жизнестроительстве; они слепо следуют указаниям случайной руки и не знают, что эта рука сделает с ними. Поведет ли она их к торжеству или к гибели; укрепит ли их настолько, чтобы они могли выдержать напор неизбежных сомнений, или отдаст их в жертву последним? Даже приобретая знания — нередко ценою мучительных усилий, — они не отдают себе отчета в том, действительно ли это знания, а не бесполезности...

Как я упомянул выше, действительное назначение детей, как оно представлялось до сих пор, — это играть роль animae vilis[1] для производства всякого рода воспитательных опытов.

Начните с родителей. Папаша желает, чтоб Сережа шел по гражданской части; мамаша настаивает, чтоб он был офицером. Папаша говорит, что назначение человека — творить суд и расправу. Мамаша утверждает, что есть назначение еще более высокое — защищать отечество против врагов.

— А вот убьют его у тебя при первой же войне! — угрожает папаша.

— Не беспокойся, не убьют! Мы его тогда домой выпросим! — возражает мамаша.

Неумные эти разговоры, с незначительными видоизменениями, возобновляются беспрерывно в присутствии самого Сережи, который чутко вслушивается и колеблется, к какой стороне пристать. Но родители у него не промах. Они смекают, что настоять на своем они не могут иначе, как при содействии самого Сережи; и знают, как добиться этого содействия. Пускай он, хоть не понимаючи, скажет: «Ах, папаша! как бы мне хотелось быть прокурором, как дядя Коля!» или: «Ах, мамаша! когда я сделаюсь большой, у меня непременно будут на плечах такие же густые эполеты, как у дяди Паши, и такие же душистые усы!» Эти наивные пожелания, наверное, возымеют свое действие на родительские решения.

— Вот видишь, он сам свое призвание чувствует! — молвит папаша.

[1] Низшего организма *(лат.)*.

— Ах, Serge, Serge! [1] а что ты вчера говорил! Об эполетах-то и позабыл? — укорит Сережу мамаша.

И вот, чтобы получить Сережино содействие, с обеих сторон употребляется давление. Со стороны папаши оно заключается в том, что он от времени до времени награждает Сережу тычками и говорит:

— Вот погоди ты у меня, офицер!

Со стороны мамаши давление имеет более привлекательные формы. Она прикармливает Сережу конфетами и пирожками, приговаривая:

— Будешь, Сережа, офицером? да?

В конце концов мамаша побеждает; Сережа надевает офицерский мундир и, счастливый, самодовольный, мчится в собственной пролетке и на собственном рысаке по Невскому.

Но очарование в наш расчетливый век проходит быстро. Через три-четыре года Сережа начинает задумываться и склоняется к мысли, что папаша был прав.

Да, в наши дни истинное назначение человека именно в том состоит, чтоб творить суд и расправу. Большинство Сережиных сверстников уже с успехом предается этой профессии. Митя Потанчиков — товарищ прокурора [2], Федя Стригунов — член окружного суда, а Макар Полудин даже начеку быть вице-губернатором. А он, Сережа, все еще субалтерн-офицер [3]. Он не может пожаловаться, что служба его идет туго и что начальство равнодушно к нему, но есть что-то в самой избранной им карьере, что делает его жребий не вполне удовлетворительным. Внешние враги примолкли, слухи о близкой войне оказываются несостоятельными — следовательно, не предвидится и случая для покрытия себя славою. Притом же, слава славой, а что, ежели убьют?

— Ah, sacrrrrebleu! [4]

Остаются враги внутренние, но борьба с ними даже в отличие не вменяется. Как субалтерн-офицер, он не играет в этом деле никакой самостоятельной роли, а лишь следует указаниям того же Мити Потанчикова.

— Я с «ним» покуда разговаривать буду, — говорит

---

[1] Сергей! *(франц.)*.

[2] Товарищ прокурора — помощник прокурора в царской России.

[3] Субалтерн-офицер — низший офицерский чин.

[4] Ах, черт возьми! *(франц.)*.

Митя, — а ты тем временем постереги входы и выходы, и как только я дам знак — сейчас хлоп!

Сереже становится горько. Потребность творить суд и расправу так широко развилась в обществе, что начинает подтачивать и его существование. Помилуйте! какой же он офицер! И здоровье у него далеко не офицерское, да и совсем он не так храбр, чтобы лететь навстречу смерти, ради стяжания лавров. Нет, надо как-нибудь это дело поправить! И вот он больше и больше избегает собеседований с мамашей и чаще и чаще совещается с папашей.

В одно прекрасное утро Сережа является домой в штатском платье. Мамаша падает в обморок, восклицая:

— Но я надеюсь, что ты, по крайней мере, будешь камер-юнкером! [1]

— Мамаша! простите ли вы меня? — умоляет он, падая на колени.

Я знаю, что страдания и неудачи, описанные в сейчас приведенном примере, настолько малозначительны, что не могут считаться особенно убедительными. Но ведь дело не в силе страданий, а в том, что они падают на голову неожиданно, что творцом их является слепой случай, не признающий никакой надобности вникать в природу воспитываемого и не встречающий со стороны последнего ни малейшего противодействия.

Гораздо более злостными оказываются последствия, которые влечет за собой «система». В этом случае детская жизнь подтачивается в самом корне, подтачивается безвозвратно и неисправимо, потому что на помощь «системе» являются мастера своего дела — педагоги, которые служат ей не только за страх, но и за совесть.

В согласность ее требованиям, они ломают природу ребенка, погружают его душу в мрак и ежели не всегда с полною откровенностью ратуют в пользу полного водворения невежества, то потому только, что у них есть подходящее средство обойти эту слишком крайнюю меру общественного спасения и заменить ее другою, не столь резко возмущающею человеческую совесть, но столь же действительною. Средство это, как я уже сказал выше, заключается в замене действительного знания массою бесполезностей, которыми издревле торгует педагогика.

---

[1] Камер-юнкер — низший придворный чин.

Спрашивается: что могут дети противопоставить этим попыткам искалечить их жизнь? Увы! подавленные игом фатализма, они не только не дают никакого отпора, но сами идут навстречу своему злополучию и безропотно принимают удары, сыплющиеся на них со всех сторон. Бедные, злосчастные дети!

И вот, погруженные в невежество, с полными руками бесполезностей, с единственным идеалом в душе: творить суд и расправу — они постепенно достигают возмужалости и наконец являются на арену деятельности. Нет у них мерила ни для оценки поступков, ни для различения добра от зла. Сердца их поражены преждевременною дряблостью, умы не согреты стремлением к добру и человечности; понятие о Правде отсутствует. Успех или неуспех в уловлении насущных потребностей минуты — вот что становится предметом их вожделений, вот что помогает им изо дня в день влачить бесплодную жизнь.

В детском возрасте «система» пользовалась неведением детей, чтоб довести их умы до ограниченности. Теперь, по мере возмужалости, та же «система» является единственною руководительницею всех их помыслов и поступков. Покорно следуя указаниям детской традиции, они все глубже и глубже погружаются в мрачные извилины случайного общественного настроения и становятся послушным орудием его жестоких велений. Возмужалые, они продолжают оставаться детьми, с тем же неведением, с тем же отсутствием силы противодействия, которое могло бы помочь им разобраться в путанице преходящих явлений.

Бедные, злополучные дети! вот что готовит вам в будущем слепая случайность, и вот тот удел, который общепризнанное мнение называет счастливым!

* * *

Возражения против изложеного выше, впрочем, очень возможны. Мне скажут, например, что я обличаю такие явления, на которых лежит обязательная печать фатализма. Нельзя же, в самом деле, вооружить ведением детей, коль скоро их возраст самою природою осужден на неведение. Нельзя возложить на них заботу об устройстве будущих их судеб, коль скоро они не обладают необходимым для этого умственным развитием.

Все это я отлично знаю и охотно со всем соглашаюсь. Но и за всем тем тщетно стараюсь понять, где же тут элементы, на основании которых можно было бы вывести заключение о счастливых преимуществах детского возраста?

Правда, что дети не сознают, куда их ведут и что с ними делается, и это освобождает их от массы сердечных мук, которые истерзали бы их, если бы они обладали сознательностью. Но что же значит это временное облегчение в виду тех угроз, которыми чревато их будущее?

Вот почему я продолжаю утверждать, что, в абсолютном смысле, нет возраста более злополучного, нежели детский, и что общепризнанное мнение глубоко заблуждается, поддерживая противное. По моему мнению, это заблуждение вредное, потому что оно отуманивает общество и мешает ему взглянуть трезво на детский вопрос.

Затем, я вовсе не отрицаю существенной помощи, которую может оказать детям педагогика, но не могу примириться с тем педагогическим произволом, который, нагромождая систему на систему, ставит последние в зависимость от случайных настроений минуты. Педагогика должна быть прежде всего независимою; ее назначение — воспитывать в нарождающихся отпрысках человечества идеалы будущего, а не подчинять их смуте настоящего. Ибо, повторяю: бывают эпохи, когда общество, гонимое паникой, отвращается от знания и ищет спасения в невежестве. Ужели подобная задача, поставленная прямо или под каким бы то ни было прикрытием, может приличествовать педагогике?

1887 г.





МАВРУША-НОВОТОРКА

Она была новоторжская мещанка и добровольно закрепостилась. Живописец Павел (мой первый учитель грамоте), скитаясь по оброку, между прочим, работал в Торжке, где и заприметил Маврушу. Они полюбили друг друга, и матушка, почти никогда не допускавшая браков между дворовыми, на этот раз охотно дала разрешение, потому что Павел приводил в дом лишнюю рабу.

Года через два после этого Павла вызвали в Малиновец для домашних работ. Очевидно, он не предвидел этой случайности, и она настолько его поразила, что хотя он и не ослушался барского приказа, но явился один, без жены. Жаль ему было молодую жену с вольной воли навсегда заточить в крепостной ад; думалось: подержат господа месяц-другой и опять по оброку отпустят.

Но матушка рассудила иначе. Работы нашлось много: весь

иконостас в малиновецкой церкви предстояло возобновить, так что и срок определить было нельзя. Поэтому Павлу было приказано вытребовать жену к себе. Тщетно молил он отпустить его, предлагая двойной оброк и даже обязываясь поставить за себя другого живописца; тщетно уверял, что жена у него хворая, к работе непривычная, — матушка слышать ничего не хотела.

— И для хворой здесь работа найдется, — говорила она, — а ежели, ты говоришь, она не привычна к работе, так за это я возьмусь: у меня скорехонько привыкнет.

Мавруша, однако ж, некоторое время упорствовала и не являлась. Тогда ее привели в Малиновец по этапу.

При первом же взгляде на новую рабу матушка убедилась, что Павел был прав. Действительно, это было слабое и малокровное существо, деликатное сложение которого совсем не мирилось с представлениями о крепостной каторге.

— Да ведь что же нибудь ты, голубушка, дома делала? — спросила она Маврушу.

— Что делала! хлебы на продажу пекла.

— Ну, и здесь будешь хлебы печь.

И приставили Маврушу для барского стола ситные и белые хлебы печь, да кстати и печенье просвир для церковных служб на нее же возложили.

Мавруша повиновалась; но по-видимому, она с первого же раза поняла значение шага, который сделала, вышедши замуж за крепостного человека...

Поселили их довольно удобно, особняком. В нижнем этаже господского дома отвели для Павла просторную и светлую комнату, в которой помещалась его мастерская, а рядом с нею, в каморке, он жил с женой. Даже месячину[1] им назначили, несмотря на то что она уже была уничтожена. И работой не отягощали, потому что труд Павла был незаурядный и ускользал от контроля, а что касается до Мавруши, то матушка, по крайней мере, на первых порах махнула на нее рукой, словно поняла, что существует на свете горе, растравлять которое совесть зáзрит[2].

Павел был кроткий и послушный человек. В качестве ико-

---

[1] Месячина — продукты, выдававшиеся помесячно помещиком дворовому крепостному крестьянину.
[2] Зазрит — здесь: запрещает.

нописца он твердо знал церковный круг и отличался серьезною набожностью. По праздникам пел на клиросе[1] и читал за обедней апостола. Дворовые любили его настолько, что не завидовали сравнительно льготному житью, которым он пользовался. С таким же сочувствием отнеслись они и к Маврушe, но она дичилась и избегала сближений. Павел, с своей стороны, не настаивал на этих сближениях и исподволь свел ее только с Аннушкой, так как последняя, по его мнению, могла силою убежденного слова утишить горе добровольной рабы и примирить ее с выпавшим ей на долю жребием.

Я, впрочем, довольно смутно представлял себе Маврушу, потому что она являлась наверх всего два раза в неделю, да и то в сумерки. В первый раз, по пятницам, приходила за мукой, а во второй, по субботам, Павел приносил громадный лоток, уставленный стопками белого хлеба и просвир, а она следовала за ним и сдавала напеченное с веса ключнице. Но за семейными нашими обедами разговор о ней возникал нередко.

— Нечего сказать, не́щечко[2] взял за себя Павлушка! — негодовала матушка, постепенно забывая кратковременную симпатию, которую она выказала к новой рабе. — Сидят с утра до вечера, друг другом любуются; он образа малюет, она чулок вяжет. И чулок-то не барский, а свой! Не знаю, что от нее дальше будет, а только ежели... ну уж не знаю! не знаю! не знаю!

— Вольная ведь она была, еще не привыкла, — косвенно заступался за Маврушу отец.

— А разве черт ее за рога тянул за крепостного выходить! Нет, нет, нет! По-моему, ежели за крепостного замуж пошла, так должна понимать, что и сама крепостною сделалась. И хоть бы раз она догадалась, хоть бы раз пришла: позвольте, мол, барыня, мне господскую работу поработать! У меня тоже ведь разум есть; понимаю, какую ей можно работу дать, а какую нельзя. Молотить бы не заставила!

— Хлебы она печет, просвиры...

— Это в неделю-то на три часа и дела всего; и то печку-то, чай муженек затопит... Да еще что́, прокураты[3], делают!

---

[1] Клирос — возвышение в церкви перед иконостасом для певчих.
[2] Не́щечко — сокровище (здесь — в ироническом смысле).
[3] Прокураты — проказники, плуты.

Запрутся, да никого и не пускают к себе. Только Анютка-долгоязычная и бегает к ним.

— Не трогай их, ради христа! Пускай он иконостас кончит.

— Иконостас — сам по себе, а и она работать должна. На-тко! явилась господский хлеб есть, пальцем об палец ударить не хочет! Даром-то всякий умеет хлеб есть! И самовар с собой привезли — чаи да сахары... дворяне нашлись! Вот я возьму да самовар-то отниму...

Иногда матушка подсылала ключницу посмотреть, что делают «дворяне». Акулина исполняла барское приказание, но не засиживалась и через несколько минут уже являлась с докладом.

— Ну что?

— Ничего. Сидят смирно, промежду себя разговаривают.

— Вот я им дам «разговаривают!» Да ты бы подольше у них побыла, хорошенько бы высмотрела.

— Нечего смотреть. Сидят тихо; он образ пишет, она краску трет.

— Небось, чаем потчевали?

— Не пивала ихнего чаю; не знаю.

— И ты с ними заодно... потатчица!

Но, как я уже сказал, особенных мер относительно Мавруши матушка все-таки не принимала и ограничивалась воркотней. По временам она, впрочем, и призывала самого Павла.

— Долго ли твоя дворянка будет сложа ручки сидеть? — приступала она к нему.

— Простите ее, сударыня! — умолял Павел, становясь на колени.

— Нет, ты мне отвечай: долго ли дворянка твоя будет праздновать?

— Не умеет она работу работать. Хлебы вот печет.

— Это в неделю-то три-четыре часа... А ты знаешь ли, как другие работают!

— Знаю, сударыня, да хворая она у меня.

— Вот я эту хворь из нее выбью! Ладно! подожду еще немножко, посмотрю, что от нее будет. Да и ты хорош гусь! Чем бы жену уму-разуму учить, а он целуется да милуется... Пошел с моих глаз... тихоня!

Натурально, эти разговоры и сцены в высшей степени

удручали Павла. Хотя до сих пор он не мог пожаловаться, что господа его притесняют, но опасение, что его тихое житие может быть во всякую минуту нарушено, было невыносимо. Он упал духом и притих больше прежнего.

Шли месяцы; матушка все больше и больше входила в роль властной госпожи, а Мавруша продолжала «праздновать» и даже хлебы начала печь спустя рукава.

Павел не раз пытался силою убеждения примирить жену с новым положением (рассказывали, что он пробовал и «учить» ее), но все усилия его в этом смысле оказались напрасными. По-видимому, она еще любила мужа, но над этою привязанностью уже господствовало представление о добровольном закрепощении, силу которого она только теперь поняла, и мысль, что замужество ничего не дало ей, кроме рабского ярма, до такой степени давила ее, что самая искренняя любовь легко могла уступить место равнодушию и даже ненависти. Покамест еще до этого не дошло, но очевидно было, что насильственное водворенье в Малиновце открыло ей глаза.

Подобно Аннушке, она обзавелась своим кодексом, который сложился в ее голове постепенно, по мере того как она погружалась в обстановку рабской жизни. Ей вдруг сделалось ясно, что, отказавшись ради эфемерного[1] чувства любви от воли, она в то же время предала божий образ и навлекла на себя «божью клятву», которая не перестанет тяготеть над нею не только в этой, но и в будущей жизни, ежели она каким-нибудь чудом не «выкупится». Стало быть, отныне все заветнейшие мечты ее жизни должны быть устремлены к этому «выкупу», и вопрос заключался лишь в том, каким путем это чудо устроить. Самым естественным выходом представлялся следующий: нести рабское иго лишь настолько, чтобы уступать исключительно насилию. Отчасти она уже выполнила эту задачу, отказавшись явиться к господам добровольно; теперь точно так же предстоит ей поступить, ежели господа вздумают ее заставлять господскую работу работать. Не станет она работать, не станет. Даже если ее истязать будут, она и истязания примет, ради изведения души своей из тьмы, в которую погрузила ее «клятва».

[1] **Эфемерный** — мимолетный, непрочный, минутный.

Но ежели и этого будет недостаточно, чтобы спасти душу, то она и другой выход найдет. Покуда она еще не загадывала вперед, но решимости у нее хватит...

Была ли вполне откровенна Мавруша с мужем — неизвестно, но, во всяком случае, Павел, подозревал, что в уме ее зреет какое-то решение, которое ни для нее, ни для него не предвещает ничего доброго; естественно, что по этому поводу между ними возникали даже ссоры.

— Не стану я господскую работу работать! Не поклонюсь господам! — твердила Мавруша. — Я вольная!

— Какая же ты вольная, коли за крепостным замужем! Такая же крепостная, как и прочие, — убеждал ее муж.

— Нет, я природная вольная; вольною родилась, вольною и умру! Не стану на господ работать!

— Да ведь печешь же ты хлебы! Хоть и легкая это работа, а все-таки господская.

— И хлебы печь не стану. Ты меня в ту пору смутил: попеки да попеки! А я тебя, дура, послушалась. Буду печь одни просвиры для церкви божьей.

— А ежели барыня отстегать тебя велит?

— И пускай. Пускай как хотят тиранят, пускай хоть кожу с живой снимут — я воли своей не отдам!

И действительно, в одну из пятниц ключница доложила матушке, что Мавруша не пришла за мукой.

— Это еще что за моды такие! — вспылила матушка.

— Не знаю. Говорит: не слуга я вашим господам. Я вольная.

— А вот распишу я ей вольную на спине. Привести ее, да и оболтуса-мужа кстати позвать.

Предсказание Павла сбылось: Маврушу высекли. Но на первый раз поступили по-отечески: наказывали не на конюшне, а в девичьей и сечь заставили самого Павла. Когда экзекуция кончилась, она встала с скамейки, поклонилась мужу в ноги и тихо произнесла:

— Спасибо за науку!

Но хлебов все-таки более не пекла.

С этих пор она затосковала. К прежней сокрушавшей ее боли прибавилась еще новая, которую нанес уже Павел, так легко решившийся исполнить господское приказание. По мнению ее, он обязан был всякую му́ку принять, но ни в каком случае не прикасаться лозой к ее телу.

— Срамник ты! — сказала она, когда они воротились в свой угол. И Павел понял, что с этой минуты согласной их жизни наступил бесповоротный конец. Целые дни молча проводила Мавруша в каморке и не только не садилась около мужа во время его работы, но на все его вопросы отвечала нехотя, лишь бы отвязаться. Никакого просвета в будущем не предвиделось; даже представить себе Павел не мог, чем все это кончится. Попытался было он попросить «барина» вступиться за него, но отец, по обыкновению, уклонился.

— Рабы вы, — ответил он, — и должны, яко рабы, господам повиноваться.

— Это так точно, — попробовал возразить Павел, — но ежели такой случай вышел.

— Никакого случая нет, просто с жиру беситесь! А впрочем, я, брат, в эти дела не вмешиваюсь; ничего я не знаю, ступай, проси барыню, коли что...

Матушка между тем каждодневно справлялась, продолжает ли Мавруша стоять на своем, и получала в ответ, что продолжает. Тогда вышло крутое решение: месячины непокорным рабам не выдавать и продовольствовать их наряду с другими дворовыми в застольной. Но Мавруша и тут оказала сопротивление и ответила через ключницу, что в застольную добровольно не пойдет.

— Да ведь захочет же она жрать? — удивлялась матушка.

— Не знаю. Говорит: «Ежели насильно меня в застольную сведут, так я все-таки там есть не буду!»

— Врет, лиходейка! Голод не тетка... будет жрать! Ведите в застольную!

Но Мавруша не лгала. Два дня сряду сидела она не евши и в застольную не шла, а на третий день матушка обеспокоилась и призвала Павла.

— Да что она у тебя, порченая, что ли? — спросила она.

— Не знаю, сударыня. Хворая, стало быть.

— Хворые-то смирно сидят, не бунтуют; нет, она не хворая, а просто фордыбака... Дворянку разыгрывает из себя.

— С чего бы, кажется...

— Насквозь я ее, мерзавку, вижу! Да и тебя, тихоня! Берегись! Не посмотрю, что ты из лет вышел, так-то не в зачет в солдаты отдам, что любо!

— Отпустите нас, сударыня! Я и за себя и за нее оброк заплачу.

— Ни за что! Даже когда иконостас кончишь, и тогда не пущу! Сгною в Малиновце. Сиди здесь, любуйся на свою женушку милую!

Но все это был только разговор, а нужно было какой-нибудь практический выход сыскать. Ничего подобного матушка в помещичьей своей практике не встречала и потому находилась в великом смущении. Иногда в ее голове мелькала мысль, не оставить ли Маврушу в покое, как это уж и было допущено на первых порах по водворении последней в господской усадьбе; но она зашла уж так далеко в своих угрозах, что отступить было неудобно. Этак и все, глядя на фордыбаку, скажут: и мы будем склавши ручки сидеть! Нет! Надо во что бы то ни стало сокрушить упорную лиходейку; надо, чтоб все осязательно поняли, что господская власть не праздное слово.

И тем не менее все-таки пришлось в конце концов отступить.

Распоряжения самые суровые следовали одни за другими и одни же за другими немедленно отменялись. В сущности, матушка была не злонравна, но бесконтрольная помещичья власть приучила ее сыпать угрозами и в то же время притупила в ней способность предусматривать, какие последствия могут иметь эти угрозы. Поэтому, встретившись с таким своенравным сопротивлением, она совсем растерялась.

— Ведите, ведите ее на конюшню! — приказывала она, но через несколько минут одумывалась и говорила: — Ин прах ее побери! Не троньте! Подожду, что еще будет!

Было даже отдано приказание отлучить жену от мужа и силком водворить Маврушу в застольную; но когда внизу, из Павловой каморки, послышался шум, свидетельствовавший о приступе к выполнению барского приказания, матушка испугалась... «А ну, как она в самом деле голодом себя уморит!» — мелькнуло в ее голове.

Все домочадцы с удивлением и страхом следили за этой борьбой ничтожной рабы с всесильной госпожой. Матушка видела это, мучилась, но ничего поделать не могла.

— Ест? — беспрерывно осведомлялась она у ключницы.

— Отказывается покуда.

— Не иначе, как Павлушка потихоньку ей носит. Сказать

ему, негодяю, что если он хоть корку хлеба ей передаст, то я — видит бог! — в Сибирь обоих упеку!

Но едва вслед за тем приносили в девичью завтрак или обед, матушка призывала которую-нибудь из девушек (даже перед ними она уже не скрывалась) и говорила:

— Снеси.. ну, этой!.. щец, что ли... Да не сказывай, что я велела, а будто бы от себя...

Повторяю, всесильная барыня вынуждена была сознаться, что если она поведет эту борьбу дальше, то ей придется все дела бросить и всю себя посвятить усмирению строптивой рабы.

Как ни горько было это сознание, но здравый смысл говорил, что надо во что бы то ни стало покончить с обступившей со всех сторон безалаберщиной. И надо отдать справедливость матушке: она решилась последовать советам здравого смысла. Призвала Павла и сказала:

— Который уж месяц я от вас муку-мученскую терплю! Надоело. Живите как знаете. Только ежели дворянка твоя на глаза мне попадется — уж не прогневайся! Прав ли ты, виноват ли... обоих в Сибирь законопачу!

И тут же сделала распоряжение, чтобы Маврушу не трогать, а Павла опять перевести на месячину, но одного, без жены.

— А она пускай как знает, так и живет. Задаром хлебом кормить не буду.

Примирившись с этой развязкой, матушка на несколько дней как будто примолкла. Голос ее реже раздавался по дому, приказания отдавались тихо, без брани. Она поняла, что необходимо, чтоб впечатление, произведенное странным переполохом на дворню, улеглось.

С своей стороны, и Мавруша присмирела или, лучше сказать, совсем как бы перестала существовать. Сидела, как узница, в своей каморке и молчала, угнетаемая одиночеством и горькими мыслями о погубленной молодости.

Во мне лично, тогда еще почти ребенке, происшествие это возбудило сильное любопытство. Неоднократно я пытался спуститься вниз, в Павлову комнату, чтоб посмотреть на Маврушу, но едва подходил к двери, как меня брала оторопь, и я возвращался назад, не выполнив своего намерения. Зато всякий раз, когда мне случалось быть в саду, я нарочно ходил взад и вперед вдоль фасада дома, замедлял шаги перед

окном заповедной каморки и вглядывался в затканные паутиной стекла, скрывавшие от меня ее внутренность. И мне слышалось, словно кто-то там тихо стонет.

Как бы то ни было, но жизнь Павла была погублена. Мавруша не только отшатнулась от него, но даже совсем перестала с ним говорить. Победа, которую она одержала над властной барыней, наводившей трепет на все окружающее, далеко не удовлетворила ее. Собственно говоря, тут и победы не было, а просто надоело барыне возиться с бестолковой рабой, которая упала ей как снег на голову. Положение вещей нимало от этого не изменилось. И до победы Мавруша была раба и после победы осталась рабою же — только бунтующеюся. Поэтому сомнение ее насчет «божьей клятвы» осталось в прежней силе.

Мавруша тосковала больше и больше. Постепенно ей представился Павел, как главный виновник сокрушившего ее злосчастья. Любовь, постепенно потухая, прошла через все фазисы равнодушия и наконец превратилась в положительную ненависть. Мавруша не высказывалась, но всеми поступками, наружным видом, телодвижениями — всем доказывала, что в ее сердце нет к мужу никакого другого чувства, кроме глубокого и непримиримого отвращения.

Аннушка опасалась, как бы она не извела мужа отравой или не «испортила» его; но Павел отрицал возможность подобной развязки и не принимал никаких мер к своему ограждению. Жизнь с ненавидящей женщиной, которую он продолжал любить, до такой степени опостылела ему, что он и сам страстно желал покончить с собою.

— До этого она не дойдет, — говорил он, — а вот я сам руки на себя наложу — это дело статочное.

Но и до этого дело не дошло, а разрешилось гораздо проще.

Ранним осенним утром, было еще темно, как я был разбужен поднявшеюся в доме беготней. Вскочив с постели, полуодетый, я сбежал вниз и от первой встретившейся девушки узнал, что Мавруша повесилась.

Драма кончилась. В виде эпилога я могу, впрочем, прибавить, что за утренним чаем на мой вопрос: когда будут хоронить Маврушу? — матушка отвечала:

— А вот завтра обернут в рогожу и свезут в болото.



И действительно, на другое утро приехал из земского суда сельский заседатель, разрешил похоронить самоубийцу, и я из окна видел, как Маврушино тело, обернутое в дырявую рогожу, взвалили на ро́спуски[1] и увезли в болото.

1888 г.

---

[1] **Роспуски** — повозка или сани без кузова для доставки бревен и досок.



СКАЗКИ





ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом [1], поселились они в

[1] За штатом — здесь: в отставке.

Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

— Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, — сказал один генерал. — Вижу, будто живу я на необитаемом острове...

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

— Господи! да что ж это такое! Где мы? — вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше, как сновидение, — пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

— Что ж мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь слезы. — Ежели теперича доклад написать — какая польза из этого выйдет?

— Вот что, — отвечал другой генерал. — Подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое. Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

— Вот что, ваше превосходительство, вы пойдете направо, а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, ко-

торый, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов[1] учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано — сделано. Пошел один генерал направо и видит — растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

— Господи! еды-то! еды-то! — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

— Ну что, ваше превосходительство, промыслили что-нибудь?

— Да вот нашел старый нумер «Московских Ведомостей»[2] и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? — сказал один генерал.

— Да, — отвечал другой генерал, — признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают.

— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить... Только как все это сделать?

---

[1] Кантонист — солдатский сын, подготовлявшийся в особой низшей военной школе к несению солдатской службы.

[2] «Московские Ведомости» — ежедневная газета, существовавшая с 1756 по 1917 год. С 60-х годов XIX века выражала интересы наиболее реакционных кругов дворян-крепостников и духовенства.

— Как все это сделать? — словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.

— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! — сказал один генерал.

— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! — вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

— С нами крестная сила! — сказали они оба разом. — Ведь этак мы друг друга съедим!

— И как мы попали сюда! Кто тот злодей, который над нам такую штуку сыграл!

— Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один генерал.

— Начинайте! — отвечал другой генерал.

— Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

— Странный вы человек, ваше превосходительство! Но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

— Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать — и спать пора!

Но упоминовение об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, — начал опять один генерал.


Моско
Ведом

— Как так?

— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда наконец соки совсем не прекратятся...

— Тогда что ж?

— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...

— Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить и, вспомнив о найденном нумере «Московских Ведомостей», жадно принялись читать его.

— «Вчера, — читал возволнованным голосом один генерал, — у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву[1] на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая»[2], и питомец лесов кавказских фазан, и столь редкая в нашем севере в феврале месяце земляника...»

— Тьфу ты, господи! Да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее:

— «Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав[3] Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая...»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел:

— «Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изо-

[1] Рандеву *(франц.)* — свидание.

[2] «Шекснинска стерлядь золотая» — строка из стихотворения Г. Р. Державина «Приглашение к обеду».

[3] Частный пристав — начальник полицейского участка в городе.

брел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взять живого налима, предварительно его высечь; когда же от огорчения печень его увеличится...»

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, — все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение...

— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика?

— То есть как же... мужика?

— Ну да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

— Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

— Как нет мужика! Мужик везде есть — стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но наконец острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

— Спишь, лежебок! — накинулись они на него. — Небось, и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голоду умирают! Сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку — и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал

рябчика. Наконец развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: не дать ли и тунеядцу частичку?

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадешь!

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужичина-лежебок.

— Довольны, любезный друг, видим твое усердие! — отвечали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение[1] или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в «Московских Ведомостях» повествуют...

— А не почитать ли нам «Московских Ведомостей»?

Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани — ничего, не тошнит!

[1] Вавилонское столпотворение — смешение всех языков. По библейской легенде, люди пытались построить в Вавилоне башню до небес. В наказание бог «смешал» язык строителей так, что они перестали понимать друг друга и не смогли продолжать постройку.

* * *

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — спрашивал один генерал другого.

— И не говорите, ваше превосходительство! Все сердце изныло! — отвечал другой генерал.

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а все, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! Да и мундира тоже жалко!

— Еще как жалко-то! Особливо как четвертого класса[1], так на одно шитье посмотреть — голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! Оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало!

— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.

— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет или по крыше словно муха ходит — это он самый я и есть! — отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися. И выстроил он корабль — не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего, мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — этого ни пером описать,

[1] Четвертый класс. — В дореволюционной России дворянские чины делились на четырнадцать классов. Высшим был первый класс. Четвертый класс соответствовал генеральскому званию. Их мундиры были украшены золотым шитьем.

ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет, да кормит генералов селедками.

Вот наконец и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли — выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

1869 г.





ДИКИЙ ПОМЕЩИК

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и, на свет глядючи, радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть»[1] и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды богу этот помещик:

— Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял.

---

[1] «Весть» — реакционная газета, выходившая с 1863 по 1870 год и требовавшая суровой расправы с крестьянами.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает, — видит и опасается: «А ну, как он у меня все добро приест?»

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сем случае поступать должно, и прочитает: старайся!

— Одно только слово написано, — молвит глупый помещик, — а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет — сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется — сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

— Больше я нынче этими штрафами на них действую! — говорит помещик соседям своим. — Потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть; куда ни глянут — все нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: «моя земля!» Курица за околицу выбредет — помещик кричит: «моя земля!» И земля, и вода, и воздух — все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь; прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу богу:

— Господи! легче нам пропа́сть, и с детьми малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик — никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные[1] мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально, остался доволен. Думает: «Теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!»

И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, — думает, — театр у себя! Напишу к актеру

[1] Посконные — из домотканого грубого полотна (посконины).

Садовскому[1]: приезжай, мол, любезный друг, и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский; сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто и ставить театр и занавес поднимать некому.

— Куда же ты крестьян своих девал? — спрашивает Садовский у помещика.

— А вот бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

— Однако, брат, глупый ты помещик! Кто же тебе, глупому, умываться подает?

— Да я уж и то сколько дней немытый хожу!

— Стало быть, шампиньоны[2] на лице растить собрался? — сказал Садовский и с этим словом и сам уехал и актерок увез.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: «Что это я все гран-пасьянс[3] да гран-пасьянс раскладываю! Попробую-ко я с генералами впятером пульку[4]-другую сыграть!»

Сказано — сделано; написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали — и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

— А оттого это, — хвастается помещик, — что бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

— Ах, как это хорошо! — хвалят помещика генералы. — Стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет?

— Нисколько, — отвечает помещик.

Сыграли пульку, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

— Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? — спрашивает помещик.

— Не худо бы, господин помещик!

---

[1] Садовский П. М. (1818—1872) — знаменитый русский актер.
[2] Шампиньоны — сорт грибов.
[3] Гран-пасьянс — игра, состоящая в раскладывании игральных карт по известным правилам.
[4] Пулька — партия в карточной игре.

Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

— Что ж это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

— А вот закусите, чем бог послал!

— Да нам бы говядинки! Говядинки бы нам!

— Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

— Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? — накинулись они на него.

— Сырьем кой-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть...

— Однако, брат, глупый же ты помещик! — сказали генералы и, не докончив пульки, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в то время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гран-пасьянс.

— Посмотрим, — говорит, — господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз»[1] и думает: «Ежели сряду три раза выйдет, стало быть надо не взирать». И как назло, сколько раз ни разложит — все у него выходит, все выходит! Не осталось в нем даже сомнения никакого.

— Уж если, — говорит, — сама фортуна указывает, стало быть надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда, довольно гран-пасьянс раскладывать, — пойду позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, что всё па́ром да па́ром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовитый сад разведет: вот тут будут груши, сливы; вот тут — персики, тут — грецкий орех! Посмотрит в окошко — ан там все, как он задумал, все точно так уж и есть! Ломятся, по щучьему велению,

[1] «Дамский каприз» — вид пасьянса.

под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только, знай, фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко! Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться — ан там уж пыли на вершок насело.

— Сенька! — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет: — Ну, пускай себе до поры, до времени так постоит! А уж докажу же я этим либералам, что может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет, — и спать.

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой-такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали и ходит он в лентах и пишет циркуляры[1]: быть твердым и не взирать! Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра...[2]

— Ева, мой друг! — говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

— Сенька! —опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит... и поникнет головою.

— Чем бы, однако, заняться? — спрашивает он себя. — Хоть бы лешего какого-нибудь нелегкая занесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник[3]. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкап, вынул два печатных пряника и думает: «Ну, этот, кажется, останется доволен!»

— Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные[4] вдруг исчезли? — спрашивает исправник.

---

[1] Циркуляр — предписание.

[2] «Ходит по берегам Евфрата и Тигра». — Реки Евфрат и Тигр считались «святыми» местами у православных христиан.

[3] Капитан-исправник — начальник уездной полиции.

[4] Временнообязанные. — Так назывались крестьяне, освобожденные манифестом 19 февраля 1861 года, но обязанные выполнять повинности и работать на помещика до соглашения с ним о выкупе земли.

— А вот так и так, бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил.

— Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

— Подати?.. Это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

— Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

— Уж это... не знаю... Я, с своей стороны, платить не согласен!

— А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий [1], существовать не может?

— Я что ж... я готов! Рюмку водки... Я заплачу!

— Да вы знаете ли, что по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? Знаете ли вы, чем это пахнет?

— Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! Вот целых два пряника!

— Глупый же вы, господин помещик! — молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? Неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? И неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» — и струсил не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперед по комнате и все думает: «Чем же это пахнет? Уж не пахнет ли во-

---

[1] Винная и соляная регалии — монопольное право государства на производство и торговлю вином и солью.

дворением[1] каким? Например, Чебоксарами? Или, быть может, Варнавиным?»

— Хоть бы в Чебоксары, что ли! По крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души! — говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает: «В Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал!» Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, все, кажется, так и говорит: а глупый ты, господин помещик! Видит он — бежит через комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гран-пасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышиный аппетит.

— Кшш! — бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: погоди, глупый помещик! то ли еще будет! Я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

— Сенька! — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился... и заплакал.

Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

— Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!

И вот он одичал. Хоть в то время наступила уже осень и морозцы стояли порядочные, он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древ-

[1] Водворение — то есть ссылка.

ний Исав[1], а ногти у него сделались, как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рявканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело, рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг влезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит это заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, — а он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские отношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

— Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю.

— Хотеть — отчего не хотеть! — отвечал медведь. — Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил.

— А почему так?

— А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: а как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься? Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в како-

[1] Древний Исав — персонаж библейской легенды; от рождения был покрыт густыми волосами.

вом человекомедведе и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства[1] свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

— И откуда вы, шельмы, берете?!

Что же сделалось, однако, с помещиком? — спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

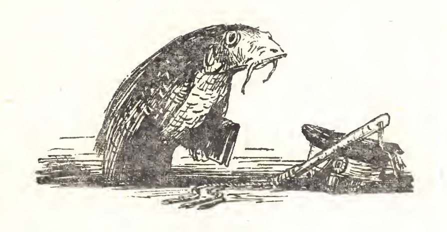
Он жив и доныне. Раскладывает гран-пасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

1869 г.

---

[1] Фанфаронство — чванство мнимыми достоинствами.





ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ

Жил-был пискарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы веки[1] в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок, — говорил старый пискарь, умирая, — коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется — везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь — и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? — что это за ехидное создание такое! Каких каверз он не выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью

---

[1] Аридовы веки — здесь в смысле необычайного долголетия. По имени библейского персонажа Арида, прожившего будто бы 962 года.

погублять! И невода, и сети, и вéрши, и норотá[1] и, наконец... уду! Кажется, что может быть глупее уды? Нитка, на нитке — крючок, на крючке — червяк или муха надеты... Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! — говорил он. — Потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься — ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, — даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, — это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает: вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они — не трогают... «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! А как и почему она пришла — никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни[2] в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают... Слышит — «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере во время бури, ходуном ходит. Это — «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу — будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину — та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется — и присмиреет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: какой от него,

[1] Норотá — рыболовные снасти.
[2] Мотня — средняя часть невода в виде мешка.

от малыша, прок для ухи! Пущай в реке порастет! Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки — домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает...

И что же! Сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!

Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то, что мутовку[1] облизать. «Надо глядеть в оба, — сказал он себе, — а не то как раз пропадешь!» — и стал жить да поживать. Первым делом нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому — не влезть! Долбил он носом нору целый год и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному поместиться впору. Вторым делом насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, — он будет моцион делать, а днем — станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдён, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать — да что в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды — и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает и всё-то думает: «Кажется, что я жив? Ах, что-то завтра будет?»

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл.

[1] Мутовка — здесь: группа листьев или веточек растения, расположенных на стебле на одной высоте



Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок — глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось... Что, если б в это время щуренок поблизости был! Ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна, — глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, господи! жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!

И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет; табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: «Слава богу! кажется, жив!»

Даже щуки под конец — и те стали его хвалить: вот, кабы все так жили — то-то бы в реке тихо было! Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется — вот, мол, я! Тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет — неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: слава богу, я своею смертью помираю, так же, как умер-

ли мать и отец. И вспомнились ему тут щучьи слова: вот, кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет... А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!»

Потому что для продолжения пискарьего рода прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того чтоб пискарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да корм едят.

Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву! Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? Кого он утешил? Кому добрый совет подал? Кому доброе слово сказал? Кого приютил, обогрел, защитил? Кто слышал об нем? Кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: никому, никто.

Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде; ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнёт. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же, наконец, голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы — может быть, как и он, пискари — и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: дай-ка, спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился с лишком сто лет прожить и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал? Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!

И что всего обиднее: не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет? А многие даже просто дураком и срамцо́м его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть, не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон... Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что тут случилось — щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность — свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и *премудрого?*

1883 г.





САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАЯЦ

Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: «Заинька! Остановись, миленький!» А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит: «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота[1] посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!»

Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает: через столько-то суток и часов смерть должна прийти. Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз и еще того хуже: выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать.

[1] Лишение живота — смертная казнь.

Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьему скажет, и оба зальются: ха-ха! И волчата тут же за ними увяжутся: играючи, к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат... А у него, у зайца, сердце так и закатится!

Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет, чай, его теперь невеста, думает: изменил мне косой! А может быть, подождала-подождала, да и с другим... слюбилась... А может быть, и так: играла, бедняжка, в кустах, а тут ее волк... и слопал!

Думает это бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, заячьи-то мечты! Жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, и вместо всего — куда угодил! А сколько, бишь, часов до смерти-то осталось?

И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит... Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается — ан это невестин брат.

— Невеста-то твоя помирает, — говорит. — Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье зачахла. Теперь только об одном и думает: «Неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим!»

Слушал эти слова осужденный, и сердце его на части разрывалося. За что? Чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пущал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности — неужто ж за это смерть? Смерть! Подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой заиньке, которая тем только и виновата, что его, косого, всем сердцем полюбила! Так бы он к ней и полетел, взял бы ее, серенькую заиньку, передними лапками за ушки и все бы миловал да по головке бы гладил.

— Бежим! — говорил между тем посланец.

Услыхавши это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прянет — и след простыл. Не следовало ему

в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закатилось заячье сердце.

— Не могу, — говорит, — волк не велел.

А волк между тем все видит и слышит и потихоньку поволчьи с волчихой перешептывается: должно быть, зайца за благородство хвалят.

— Бежим! — опять говорит посланец.

— Не могу! — повторяет осужденный.

— Что вы там шепчетесь, злоумышляете? — как гаркнет вдруг волк.

Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец! Подговор часовых к побегу, — что, бишь, за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой заиньке и без жениха и без братца — обоих волк с волчихой слопают!

Опомнились косые — а перед ними и волк и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.

— Мы, ваше благородие, ничего... так, промежду себя... землячок проведать меня пришел! — лепечет осужденный, а сам так и мрет от страху.

— То-то «ничего»! Знаю я вас! Пальца вам тоже в рот не клади! Сказывайте, в чем дело?

— Так и так, ваше благородие, — вступился тут невестин брат. — Сестрица моя, а его невеста, помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить?

— Гм... это хорошо, что невеста жениха любит, — говорит волчиха. — Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк! Отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?

— Да ведь его на послезавтра есть назначено...

— Я, ваше благородие, прибегу... я мигом оборочу... у меня это... вот как бог свят прибегу! — заспешил осужденный и, чтобы волк не сомневался, что он может мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: «Вот кабы у меня солдаты такие были!»

А волчиха пригорюнилась и молвила:

— Вот, поди ж ты! Заяц, а как свою зайчиху любит!

Делать нечего, согласился волк отпустить косого в побыв-

ку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил. А невестина брата аманатом[1] у себя оставил.

— Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра, — сказал он, — я его вместо тебя съем; а коли воротишься — обоих съем, а может быть... ха-ха... и помилую!

Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встренется — он ее «на уру» возьмет; река — он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; болото — он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? в тридевятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («Непременно женюсь!» — ежеминутно твердил он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть...

Даже птицы быстроте его удивлялись — говорили: «Вот в «Московских Ведомостях» пишут, будто у зайцев не душа, а пар, — а вон он как... улепетывает!»

Прибежал наконец. Сколько тут радостей было — этого ни в сказке не сказать, ни пером описать. Серенькая заинька как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан и ну лапками «кавалерийскую рысь» выбивать — это она сюрприз жениху приготовила! А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем; не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы — всем лестно на жениха посмотреть, а может быть, и лакомого кусочка в гостях отведать.

Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уж затвердил:

— Мне бы в баню сходить да жениться поскорее!

— Что больно к спеху занадобилось? — подшучивает над ним зайчиха-мать.

— Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил.

Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется, и не воротиться нельзя. Слово, вишь, дал, а заяц своему слову — господин. Судили тут тетки и сестрицы — и те в один голос сказали: «Правду ты, косой, молвил: не давши слова — крепись, а давши — держись! Никогда во всем нашем заячьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!»

[1] Аманат — заложник.

Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косого окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой.

— Беспременно меня волк съест, — говорил он, — так ты будь мне верна. А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк: там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат.

И вдруг, словно в забытьи (опять, стало быть, про волка вспомнил), прибавил:

— А может быть, волк меня... ха-ха... и помилует!

Только его и видели.

Между тем, покуда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сраженье кипело. В третьем месте холера проявилась — надо было целую карантинную цепь верст на сто обогнуть... А кроме того, волки, лисицы, совы — на каждом шагу так и стерегут.

Умен был косой: заране так рассчитал, чтобы три часа у него в запасе оставалось, однако как пошли одни за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи, ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит; глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему воn еще сколько бежать осталось! И все-то ему друг аманат, как живой, мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: «Через столько-то часов милый зятек на выручку прибежит!» Вспомнит он об этом и еще шибче припустит! Ни горы, ни долы, ни леса, ни болота — все ему нипочем! Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слез; пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать!

Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули; в воздухе холодком пахнуло. И вдруг все кругом затихло, словно помертвело. А косой все бежит и все одну думу думает: «Неужто ж я друга не выручу!»

Заалел восток; сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг — пламя! Роса на траве загорелась; проснулись птицы денные, поползли муравьи, черви, козявки; дымком откуда-то потянуло; во ржи и в овсах словно шепот пошел, слышнее, слышнее... А косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит: «Погубил я друга своего, погубил!»

Но вот наконец гора. За этой горой — болото и в нем — волчье логово... Опоздал, косой, опоздал!

Последние силы напрягает он, чтоб вскочить на вершину горы... вскочил! Но он уж не может бежать, он падает от изнеможения... Неужто ж он так и не добежит?

Волчье логово перед ним, как на блюдечке. Где-то вдали, на колокольне, бьет шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к аманату, сгреб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут; обсели кругом отца-матери, щелкают зубами, учатся.

— Здесь я! здесь! — крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе. И кубарем скатился с горы в болото.

И волк его похвалил.

— Вижу, — сказал он, — что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите, до поры до времени, оба под этим кустом, а впоследствии я вас... ха-ха... помилую!

1883 г.





МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ

Злодейства крупные и серьезные нередко именуются блестящими и в качестве таковых заносятся на скрижали[1] Истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срáмными и не только Историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы.

I. ТОПТЫГИН 1-й

Топтыгин 1-й отлично это понимал. Был он старый служака-зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать; следовательно, до некоторой степени и инженерное

[1] Скрижали — каменные или медные доски, на которых в старину высекались записи о выдающихся исторических событиях.

искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижали Истории попасть желал и ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что об чем бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли — он все на одно поворачивал: кровопролитиев... кровопролитиев... вот чего нужно!

За это Лев произвел его в майорский чин и, в виде временной меры, послал в дальний лес, вроде как воеводой, внутренних супостатов усмирять.

Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумалась. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил. Звери — рыскали, птицы — летали, насекомые — ползали; а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уже не могли. «Вот ужо приедет майор, — говорили они, — засыплет он нам — тогда мы и узнаем, как Кузькину тещу зовут!»

И точно: не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый михайлов день, и сейчас же решил: быть на завтра кровопролитию. Что заставило его принять такое решение — неизвестно: ибо он, собственно говоря, не был зол, а так — скотина.

И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал.

Дело в том, что в ожидании кровопролития задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя еще не выстроил, то пришлось ему, пьяному, среди полянки спать лечь. Улегся и захрапел, а под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь чижику. Особенный был этот чижик, умный: и ведерко таскать умел и спеть, по нужде, за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили: «Увидите, что наш чижик со временем поноску носить будет!» Даже до Льва об его уме слух дошел, и не раз он Ослу говаривал (Осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл): «Хоть одним бы ухом послушал, как чижик у меня в когтях петь будет!»

Но как ни умен был чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется, сел на медведя и за-

пел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает, и думает: «Беспременно это должен быть внутренний супостат![1]»

— Кто там бездельным обычаем[2] по воеводской туше прыгает? — рявкнул он наконец.

Улететь бы чижику надо, а он и тут не догадался. Сидит себе да дивится: чурбан заговорил! Ну, натурально, майор не стерпел: сгреб грубияна в лапу, да, не рассмотревши с похмелья, взял и съел.

Съесть-то съел, да, съевши, спохватился: «Что такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось?» Думал-думал, но ничего, скотина, не выдумал. Съел — только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что, ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная.

— Зачем я его съел? — допрашивал сам себя Топтыгин. — Меня Лев, посылаючи сюда, предупреждал: делай знатные дела, от бездельных же стерегись! А я с первого же шага чижей глотать вздумал! Ну, да ничего! Первый блин всегда комом! Хорошо, что, по раннему времени, никто дурачества моего не видал.

Увы, не знал, видно, Топтыгин, что в сфере административной деятельности первая-то ошибка и есть самая фатальная[3]. Что, давши, с самого начала административному бегу направление вкось, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии...

И точно, не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что скворка ему с соседней березы кричит:

— Дурак! Его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он чижика съел!

Взбеленился майор; полез за скворцом на березу, а скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Медведь — на другую, а скворка — опять на первую. Лазил-лазил майор, мочи нет измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась:

— Вот так скотина! Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чижика съел!

[1] Внутренний супостат — здесь в смысле «революционер».
[2] Бездельным обычаем — незаконно.
[3] Фатальная — роковая.

Он — за вороной, ан из-за куста заинька выпрыгнул:
— Бурбон[1] стоеросовый![2] Чижика съел!
Комар из-за тридевять земель прилетел:
— Risum teneatis, amici![3] Чижика съел!
Лягушка в болоте квакнула:
— Олух царя небесного! Чижика съел!

Словом сказать, и смешно и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и все мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все, от мала до велика, знали, что Топтыгин-майор чижика съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дебри и болота блеском кровопролитий воспрославит, а он натко что сделал! И куда ни направит Михайло Иваныч свой путь, везде по сторонам словно стон стоит: «Дурень ты, дурень! Чижика съел!»

Заметался Топтыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок — так и впились, собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако все-таки кой-как отбоярился: штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утек. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся, а он — слушай! Филин уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает: «Дурак! Чижика съел!»

Но что всего важнее: не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет, в самом своем принципе, с каждым днем все больше да больше умаляется. Того гляди, и в соседние трущобы слух пройдет, и там его на смех подымут!

Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил! Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили: «Ва-

---

[1] Бурбон. — Бурбоны династия французских королей. Это имя стало нарицательным для обозначения грубости, тупости и жестокости.

[2] Стоеросовый — растущий прямо, стоймя; в переносном смысле — глупый, тупой.

[3] Воздержитесь от смеха, друзья! *(лат.)*.

ше степенство! вы — наши отцы, мы — ваши дети!» Все знали, что сам Осел за него перед Львом предстательствует[1], а уж если Осел кого ценит — стало быть, он того стоит. И вот благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело: «Дурак! Чижика съел!» Все равно как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел... Но нет, и это не так, потому что довести гимназистика до самоубийства — это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается и История... Но... чижик! скажите на милость! чижик! «Этакая ведь, братцы, уморушка!» — крикнули хором воробьи, ежи и лягушки.

Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием (за родную трущобу стыдно); потом стали дразниться; сначала дразнили окольные, потом начали вторить и дальние; сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Все болото, весь лес.

— Так вот оно, общественное-то мнение что значит! — тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло. — А потом, пожалуй, и на скрижали Истории попадешь... с чижиком!

А История такое большое дело, что и Топтыгин при упоминовении об ней задумывался. Сам по себе он знал об ней очень смутно, но от Осла слыхал, что даже Лев ее боится: нехорошо, говорит, в зверином образе на скрижали попасть! История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если б он, для начала, стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полесовщика[2] по бревну раскатал — ну, тогда История... а впрочем, наплевать бы тогда на Историю! Главное, Осел бы тогда ему лестное письмо написал! А теперь, смотрите-ка! — съел чижика и тем себя воспрославил! Из-за тысячи верст прискакал, сколько прогонов[3] и порционов[4] извел — и первым делом чижика съел... ах! Мальчишки на школьных скамьях будут знать! И дикий тунгуз, и сын степей

[1] Предстательствовать — заступаться, ходатайствовать.
[2] Полесовщик — лесной сторож, лесничий.
[3] Прогоны, прогонные деньги — плата за проезд на почтовых лошадях.
[4] Порционы — паек.

калмык[1] — все будут говорить: майора Топтыгина послали супостата покорить, а он вместо того чижика съел! Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят! До сих пор их майорскими детьми величали, а напредки проходу им школяры не дадут, будут кричать: чижика съел! чижика съел! Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтоб экую пакость загладить! Сколько народу ограбить, разорить, загубить!

Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает, но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же цели мнит достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых!

Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладов не принимает, все об одном думает: «Ах, что-то Осел об моей майорской проказе скажет!»

И вдруг, словно сон в руку, предписание от Осла: «До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутренних врагов не усмирили, а чижика съели — правда ли?»

Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного: «Дурак! Чижика съел!» Но частным образом Осел дал виноватому знать (Медведь-то ему кадочку с медом в през́ент[2] при рапорте отослал): «Непременно вам нужно особливое кровопролитие учинить, дабы гнусное оное впечатление истребить...»

— Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю! — молвил Михайло Иваныч и сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать[3] да кстати целый лес основ выворотил. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил.

Сделавши все это, сел, сукин сын, на корточки и ждет поощрения.

---

[1] «И дикий тунгуз, и сын степей калмык» — неточно приводится строка из стихотворения А. С. Пушкина «Памятник».

[2] Презент — подарок.

[3] То есть искать тайные революционные организации.

Однако ожидания его не сбылись.

Хотя Осел, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но Лев не только не наградил его, но собственнолапно на Ословом докладе сбоку нацарапал: «Не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо тот самый Таптыгин, который маво любимова Чижика сиел!»

И приказал отчислить его по инфантерии[1].

Так и остался Топтыгин 1-й майором навек. А если б он прямо с типографий начал, — быть бы ему теперь генералом.

II. ТОПТЫГИН 2-й

Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину.

В то самое время, когда Топтыгин 1-й отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал Лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что важнее, понимал, что в деле админстративной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому еще до получения прогонных денег он зрело обдумал свой план кампании и тогда только побежал на воеводство.

Тем не менее карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина 1-го.

Главным образом он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию: это и Осел ему советовал. Оказалось, однако ж, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет: хотя же старожилы и припоминали, что существовал некогда — вон под той сосной — казенный ручной станок, который лесные куранты тискал[2], но еще при Магницком[3] этот станок был публично сожжен, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов.

---

[1] Инфантерия — пехота.

[2] «Куранты тискал» — печатал газеты. «Курантами» называлась своеобразная рукописная газета XVII века, издававшаяся для царя и его приближенных.

[3] Магницкий М. П. (1778—1855) — реакционер, известен разгромом Казанского университета и доносами на профессоров.

Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел на древесной коре, не переставаючи, пишет «Историю лесной трущобы», но и эту кору, по мере начертания на ней письмен, точили и растаскивали воры-муравьи. И, таким образом, лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее. Или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен.

Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить; но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил: университет в полном составе поверстал[1] в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать («Similia similibus curantur»[2]), но получил в ответ, что Магницкий волею божией по́мре.

Нечего делать, потужил Топтыгин 2-й, но в уныние не впал. «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением, погубить нельзя, — сказал он себе, — стало быть, прямо за шкуру приниматься надо!»

Сказано — сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди лошадь задрал, корову, свинью, пару овец, и хоть знает, негодяй, что уж в лоск мужичка разорил, а все ему мало кажется. «Постой, говорит, — я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с сумой по миру пущу!» И, сказавши это, полез на крышу, чтоб злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что ма́тица[3]-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми да и провались. Повис майор на воздухе; видит, что неминучее дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел.

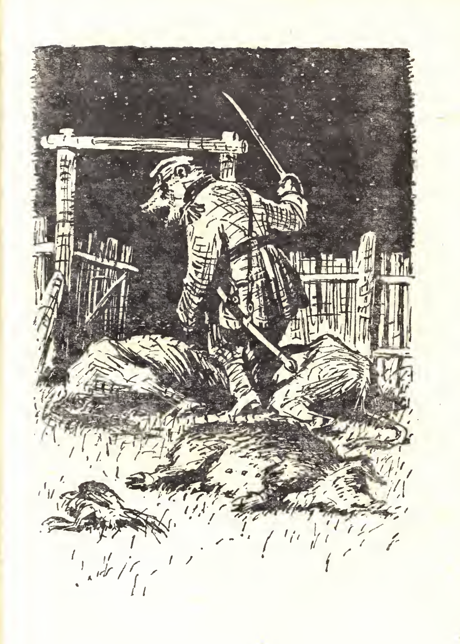
Сбежались на рев мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда ни обернутся — кругом везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи

---

[1] Поверстал — зачислил в войсковые части в отдаленных местностях.

[2] «Подобное подобным излечивается», или «Клин клином вышибают» (*лат.*).

[3] Матица — балка, поддерживающая потолок.



крови стоят. А посреди двора и сам ворог висит. Взорвало мужиков.

— Ишь, анафема! Перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны! А ну-тко, братцы, уважим его!

Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы.

Таким образом, явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные.

Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная История, присовокупив, для вящей вразумительности, что принятое в исторических руководствах (для средних учебных заведений издаваемых) подразделение злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда и что отныне всем вообще злодействам, каковы бы ни были их размеры, присвояется наименование «срамных».

По докладу о сем Осла, Лев собственнолапно на оном нацарапал так: «О приговоре Истории дать знать майору Топтыгину 3-му: пускай изворачивается».

III. ТОПТЫГИН 3-й

Третий Топтыгин был умнее своих тезоименитых[1] предшественников. «Дело-то выходит бросовое! — сказал он себе, прочитав резолюцию Льва. — Мало напакостишь — поднимут на смех; много напакостишь — на рогатину поднимут... Полно, ехать ли уж?»

Спрашивал он рапортом у Осла: «Ежели-де ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать?» Но Осел ответил уклончиво: «Все-де нужные по сему предмету указания вы найдете в Лесном уставе». Заглянул он в Лесной устав, но там обо всем говорилось: и о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже об шишках еловых, а о злодеяниях — молчок! И затем, на все его дальнейшие докуки и настояния Осел от-

[1] Тезоименитых — одноименных.

вечал с одинаковою загадочностью: «Действуйте по пристойности!»

— Вот до какого мы времени дожили! — роптал Топтыгин 3-й. — Чин на тебя большой накладывают, а какими злодействами его подтвердить — не указывают!

И опять мелькнуло у него в голове: «Полно, ехать ли?» И если б не вспомнилось, какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы!

Прибыл он в трущобу на своих на двоих — очень скромно. Ни официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег. Лежит и думает: «Даже с зайца шкуру содрать нельзя — и то, пожалуй, за злодейство сочтут! И кто сочтет? Добро бы, Лев или Осел — это бы куда ни шло! — а то мужики какие-то. Да Историю еще какую-то нашли — вот уж подлинно ис-то-ри-я!» Хохочет Топтыгин в берлоге, про Историю вспоминаючи, а на сердце у него жутко: чует он, что сам Лев Истории боится... Как тут будешь лесную сволочь подтягивать — и ума приложить не может. Спрашивают с него много, а разбойничать не велят! В какую бы сторону он ни устремился, только что разбежится — стой, погоди! не в свое место заехал! Везде «права́» завелись. Даже у белки, и у той нынче права́! Дробину тебе в нос — вот какие твои права́! У *них* — права́, а у него, вишь, обязанности! Да и обязанностей-то настоящих нет — просто пустое место! *Они* — друг друга поедом едят, а он — задрать никого не смеет! На что похоже! А все Осел! Он, именно он мудрит, он эту канитель разводит! «Кто осла дивия быстра соделал? Узы ему кто разрешил?»[1] — вот об чем нужно бы ему всечасно помнить, а он об «правах» мычит! «Действуйте по пристойности!» — ах!

Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе «по пристойности» заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рявкнул, но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что, услышавши его рев, только молвила: «Чу, Мишка ревет! Гляди,

---

[1] «Кто осла дивия быстра соделал? Узы ему кто разрешил?» *(церк.-слав.)* — Кто создал дикого осла быстроногим? Кто дал ему свободу?

что лапу во сне прокусил!» С тем и отъехал Топтыгин 3-й опять в берлогу...

Но повторяю: он был медведь умный и не затем в берлогу залег, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем, чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься.

И додумался.

Дело в том, что покуда он лежал, в лесу все само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне «благополучным», но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы исстари заведенный порядок (хотя бы и не благополучный) от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами «натуральными». Ежели исстари повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы воро́н ощипывают, то хотя в таком «порядке» ничего благополучного нет, но так как это все-таки «порядок» — стало быть, и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропщут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что «порядок» не выходит из определенных ему искони границ. Неужели и этих «натуральных» злодейств недостаточно?

В данном случае все именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днем и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие — победный клик. И наружные формы, и звуки, и светотени, и состав населения — все представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать, это был порядок, до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютому, рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увеличительных злодействах, да еще «под личною вашего степенства ответственностью».

Таким образом, перед умственным взором Топтыгина 3-го вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды в дружеской беседе Осел говорил:

— Об каких это вы всё злодействах допрашиваете? Глав-

ное в нашем ремесле — это: laissez passer, laissez faire![1] Или, по-русски выражаясь: дурак на дураке сидит и дураком погоняет! Вот вам. Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой сделается, и все у вас будет обстоять благополучно!

Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а все остальное приложится.

— Я даже не понимаю, зачем воевод посылают! Ведь и без них... — слиберальничал было майор, но, вспомнив о присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль: — Ничего, ничего, молчание...

С этими словами он перевернулся на другой бок и решился выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем все пошло в лесу как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал.

Таким образом пролежал Топтыгин 3-й в берлоге многие годы. И так как неблагополучные, но вожделенные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были и так как никаких при этом злодейств, кроме «натуральных», не производилось, то и Лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковники, потом в полковники и наконец...

Но тут явились в трущобу мужики-лукаши, и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей.

1884 г.

[1] Дозволять, не мешать! *(франц.)*





ВЯЛЕНАЯ ВОБЛА

Воблу поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и вывесили на веревочке на солнце: пускай провялится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался.

И стала вобла жить да поживать[1].

— Как это хорошо, — говорила вяленая вобла, — что со мной эту процедуру проделали! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести — ничего

[1] Я знаю, что в натуре этого не бывает, но так как из сказки слова не выкинешь, то, видно, быть этому делу так. — *Автор.*

такого не будет! Все у меня лишнее выветрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести!

Что бывают на свете лишние мысли, лишняя совесть, лишние чувства — об этом, еще живучи на воле, вобла слышала. И никогда, признаться, не завидовала тем, которые такими излишками обладали. От рождения она была вобла степенная, не в свое дело носа не совала, за «лишним» не гналась, в эмпиреях не витала[1] и неблагонадежных компаний удалялась. Еще где, бывало, заслышит, что пискари об конституциях болтают, — сейчас налево кругом и под лопух схоронится. Однако же, и за всем тем, не без страху жила, потому что, неровен час, вдруг... «Мудреное нынче время! — думала она. — Такое мудреное, что и невинный за виноватого как раз сойдет! Начнут это шарить, а ты *около* где-нибудь спряталась, — ан и *около* пошарят! Где была? По какому случаю? Каким манером? — господи, спаси и помилуй!» Стало быть, можете себе представить, как она была рада, когда ее изловили и все мысли и чувства у ней выхолостили! «Теперь милости просим! — торжествовала она. — Когда угодно и кто угодно приходи! Теперь у меня все доказательства налицо!»

Что именно разумела вяленая вобла под названием «лишних мыслей и чувств» — неизвестно, но что действительно на наших глазах много лишнего завелось — с этим и я не согласиться не могу. Сущности этого лишнего никто еще не называл по имени, но всякий смутно чувствует, что куда ни обернись — везде какой-то привесок выглядывает. И хоть ты что хочешь, а надобно этот привесок или в расчет принять, или так его обойти, чтобы он и не подумал, что его надувают. Все это порождает тьму новых забот, осложнений и беспокойств вообще. Хочется, по-старинному, прямиком пройти, ан прямик буреломом завалило, промоинами исковеркало — ну, и ступай за семь верст киселя есть. Всякий партикулярный[2] человек нынче эту тягость уж сознает, а какое для начальства от того отягощение — этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Штаты-то старинные, а дела-то новые; да и в шта-

[1] «В эмпиреях не витала» — здесь в смысле: не предавалась мечтам о новой жизни.

[2] Партикулярный — здесь: нигде не служащий человек.

тах-то в самых уж привески завелись. Прежде у чиновника-то чугунная поясница была: как сел на место в десять часов утра, так и не встает до четырех — все служит! А нынче, придет он в час, уж позавтракавши; час папироску курит, час куплеты напевает, а остальное время — так около столов колобродит. И тайны канцелярской совсем не держит. Начнет одно дело перелистывать: «Посмотрите, какой курьез!» — за другое возьмется: «Глядите! Ведь это — отдай все, да и мало!» Наберет курьезов с три короба да к Палкину[1] обедать. А как ты удержишься, чтобы курьезом стен Палкина трактира не огласить! Да ежели, я вам доложу, за каждую канцелярскую нескромность будет каторга обещана, так и тогда от нескромностей не уйти!

Спрашивается: с кем же тут начальству подняться! У всех есть пособники, а у него нет; у всех есть укрыватели, а у него нет! Как тут остановить наплыв «лишнего» в партикулярном мире, когда в своей собственной цитадели, куда ни вскинь глазами, — везде лишнее да неподлежащее так и хлещет через край!

Трудно, ах, как трудно среди этой массы привесков жить! Приходится всю дорогу ощупью идти. Думаешь, что настоящее место нашарил, а оказывается, что шарил «около». Бесполезно, бесплодно, жестоко, срамно. Положим, что невелика беда, что невиноватый за виноватого сошел, — много их, невиноватых-то этих! Сегодня он не виноват, а завтра кто ж его знает? — да вот в чем настоящая беда: подлинного-то виноватого все-таки нет! Стало быть, и опять нащупывать надо, и опять — мимо! В том все время и проходит. Понятно, что даже самые умудренные партикулярные люди (те, которые сальных свечей не едят и стеклом не утираются) — и те стали втупик! И так как на ежа голым телом никому неохота садиться, то всякий и вопиет: господи! пронеси!

Нет, как хотите, а надо когда-нибудь эти привески счесть, да и присмотреться к ним. Узнать: откуда они пришли? Зачем? Куда пролезть хотят? Не все же нахалом вперед лезут — иное что и полезное сыщется.

Очень, впрочем, возможно, что вобле эти вопросы и на ум совсем не приходили. Однако, повторяю: и она, вместе с прочими, чувствовала, что или от привесков, или по поводу при-

[1] Палкин — владелец ресторана в Петербурге.

весков — ей всячески мат. И только тогда, когда ее на солнце хорошенько провялило и выветрило, когда она убедилась, что внутри у нее ничего, кроме моло́к, не осталось, — только тогда она ободрилась и сказала себе: ну, теперь мне на все наплевать!

И точно: теперь она, даже против прежнего, сделалась солиднее и благонадежнее. Мысли у ней — резонные, чувства — никого не задевающие, совести — на медный пятак. Сидит себе с краю и говорит, как пишет. Нищий к ней подойдет — она оглянется: коли есть посторонние — сунет нищему в руку грошик; коли нет никого — кивнет головой: бог подаст! Встретится с кем-нибудь — непременно в разговор вступит; откровенно мнение свое выскажет и всех основательностью восхитит. Не рвется, не мечется, не протестует, не клянет, а резонно об резонных делах калякает. О том, что тише едешь — дальше будешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан, что поспешишь — людей насмешишь и т. п. А всего больше о том, что уши выше лба не растут.

— Ах, воблушка! Как ты скучно на бобах разводишь! Точно тебя тошнит! — воскликнет собеседник, ежели он из свеженьких.

— И всем скучно сначала, — стыдливо ответит воблушка. — Сначала — скучно, а потом — хорошо. Вот как поживешь на свете, да пошарят *около* тебя вдоволь[1] — тогда и об воблушке вспомнишь, скажешь: спасибо, что уму-разуму учила!

Да нельзя и не сказать спасибо, потому что, ежели по правде рассудить, так именно только одна воблушка в настоящую центру попала. Бывают такие обстановочки, когда подлинного ума-разума и слыхом не слыхать, а есть только воблушкин ум-разум. Люди ходят, как сонные, ни к чему приступиться не умеют, ничему не радуются, ничем не печалятся. И вдруг в ушах раздается успокоительно-соблазнительный шепот: потихоньку да полегоньку, двух смертей не бывает, одной не миновать... Это она, это воблушка шепчет! Спасибо тебе, воблушка! Правду ты молвила: двух смертей не бывает, а одна искони за плечами ходит!

Не явись на выручку волбушка, одно бы оставалось —

---

[1] «Пошарят *около* тебя вдоволь» — намек на массовые политические преследования и обыски в 70—80-е годы XIX века.

пропа́сть. Но она не только на убежище указала, а целую цитадель создала. Да не такую цитадель, в которой сидят озорники да курьезы подыскивают, а заправскую цитадель, при взгляде на которую и мысли о брешах никому не придет! Вот уж там-то все шито да крыто, там-то уж ни о каких привесках и слыхом не слыхать! Есть захотелось — ешь! Спать вздумалось — спи! Ходи, сиди, калякай! К этому-то и привесить-то ничего нельзя. Будь счастлив — только и всего.

И сам будешь счастлив, и те, которые около тебя, — все будете счастливы! Ты никого не тронешь, и тебя никто не тронет. Спите, други, почивайте! И нашаривать около вас не для чего, потому что везде путь торный и все двери на́стежь. «Вперед без страха и сомненья!»[1] или, говоря другими словами, шествуй в надлежащее место!

— И откуда у тебя, воблушка, такая ума палата? — спрашивают ее благодарные пискари, которые, по милости ее советов, неискалеченными остались.

— От рожденья бог меня разумом наградил, — скромно отвечает воблушка; — а сверх того, и во время вяленья мозг у меня в голове выветрился... С тех пор и начала я умом раскидывать...

И действительно: покуда наивные люди в эмпиреях витают, а злецы ядом передовых статей жизнь отравляют, воблушка только умом раскидывает и тем пользу приносит. Никакие клеветы, никакое человеконенавистничество, никакие змеиные передовые статьи не действуют так воспитательно, как действует скромный воблушкин пример. «Уши выше лба не растут!» — ведь это то самое, о чем древние римляне говорили: respice finem![2] Только более нам ко двору.

Хороша клевета, а человеконенавистничество еще того лучше, но они так сильно в нос бьют, что не всякий простец вместить их может. Все кажется, что одна половина тут наподлена́, а другая — налгана́. А главное, конца-краю не видать. Слушаешь или читаешь и все думаешь: ловко-то ловко, да что же дальше? — а дальше опять клевета, опять яд... Вот это-то и смущает. То ли дело скромная воблушкина резонность! «Ты никого не тронь — и тебя никто не тронет!» —

[1] «Вперед без страха и сомненья!» — слова из популярного среди передовой молодежи 40—60-х годов гимна А. Н. Плещеева.

[2] Смотри конец *(лат.)*.

ведь это целая поэма! Тускленька, правда, эта пресловутая резонность, но посмотрите, как цепко она человека нащупывает, как аккуратно его обшлифовывает! Сначала клевета поизмучает, потом хлевный яд одурманит, и когда процесс мучительства завершит свой цикл, когда человек почувствует, что нет во всем его организме места, которое бы не ныло, а в душе нет иного ощущения, кроме безграничной тоски, — вот тогда и выступает воблушка с своими скромными афоризмами[1]. Она бесшумно подкрадывается к искалеченному и безболезненно додурманивает его. И, приведя его к стене, говорит: вон, сколько каракуль там написано; всю жизнь разбирай — всего не разберешь!

Смотри на эти каракули, и ежели есть охота — доискивайся их смысла. Тут все в одно место скучено: заветы прошлого, и яд настоящего, и загадки будущего. И над всем лег густой слой всякого рода грязи, погадок, вешних потоков и следов непогод. А ежели разбираться в каракулях охоты нет, то тем еще лучше. Верь на слово, что суть этих каракуль может быть выражена в немногих словах: выше лба уши не растут. И затем — живи.

Все это отлично поняла вяленая вобла, или, лучше сказать, не сама она поняла, а принес ей это понимание тот процесс вяления, сквозь который она прошла. А впоследствии время и обстоятельства усыновили ее и дали широкий простор для применений.

Все поприща поочередно открывались перед ней, и на всяком она службу сослужила. Везде она свое слово сказала, слово пустомысленное, бросовое, но именно как раз такое, что, по обстоятельствам, лучше не надо.

Затесавшись в ряды бюрократии, она паче всего на канцелярской тайне да на округлении периодов[2] настаивала. «Главное, — твердила она, — чтоб никто ничего не знал, никто ничего не подозревал, никто ничего не понимал, чтоб все ходили, как пьяные!» И всем, действительно, сделалось ясно, что именно это и надо. Что же касается до округления периодов, то воблушка резонно утверждала, что без этого никак следы замести нельзя. На свете существует множество всяких слов, но самые опасные из них — это слова прямые, настоящие.

---

[1] Афоризм — краткое изречение.
[2] Период — здесь: большое, сложное предложение.

Никогда не нужно настоящих слов говорить, потому что из-за них изъяны выглядывают. А ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить. И кружи, и кружи; и с одной стороны загляни, и с другой забеги; умей «к сожалению, сознаться» и в то же время не ослабеваючи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из виду и разнузданности страстей. Тогда изъяны стушуются сами собой, а останется одна воблушкина правда. Та вожделенная правда, которая помогает нынешний день пережить, а об завтрашнем — не загадывать.

Забралась вяленая вобла в ряды «излюбленных»[1] — и тут службу сослужила. Поначалу излюбленные довольно-таки гордо себя повели: мы-ста, да вы-ста... повергнуть наши умные мысли к стопам! Только и слов. А воблушка сидит себе скромненько в углу и думает про себя: моя речь еще впереди. И действительно: раз повергли, в другой — повергли, в третий — опять было повергнуть собрались, да концов с концами свести не могут. Один кричит: мало! Другой перекрикивает: много! А третий прямо бунт объявляет: едем, братцы, прямо... так вас и пустили! Вот тут-то воблушка и оказала себя. Выждала минутку, когда у всех в горле пересохло, и говорит: «Повергать, — говорит, — мы тогда можем, коли нас спрашивают, а ежели нас не спрашивают, то должны мы сидеть смирно и получать присвоенное содержание». — «Как так? почему?» — «А потому, — говорит, — что так исстари заведено: коли спрашивают — повергай! А не спрашивают — сиди и памятуй, что выше лба уши не растут!» И вдруг от этих простых воблушкиных слов у всех словно пелена с глаз упала. И стали излюбленные люди хвалить воблушку и дивиться ее уму-разуму.

— Откуда у тебя такая ума палата взялась? — обступили ее со всех сторон. — Ведь кабы не ты, мы, наверное бы, с Макаром, телят не гоняющим, познакомились![2]

А воблушка скромно радовалась своему подвигу и объясняла:

— Оттого я так умна, что своевременно меня провялили.

[1] «Излюбленные». — Здесь Щедрин имеет в виду либералов-земцев, которые считали реформы средством против всех бедствий и отличались раболепной приверженностью «царю-батюшке».

[2] «С Макаром, телят не гоняющим, познакомились» — по терминологии Щедрина, означает: попасть в ссылку.

С тех пор меия точио свет осиял: ии лиших чувств, ни лишних мыслей, ни лишией совести — ничего во мне нет. Об одном всечасно и себе и другим твержу: не растут уши выше лба! не растут!

— Правильио! — согласились излюбленные люди и тут же раз навсегда постаиовили: коли спрашивают — повергать! А ие спрашивают — сидеть и получать присвоеиное содержаиие...

Каковое правило соблюдается и доныне.

Пробовала вялеиая вобла и заблуждеиия человеческие судить — и тоже хорошо у ней вышло. Тут оиа наглядным образом доказала, что ежели лишние мысли и лишиие чувства без нужды осложняют жизнь, то лишняя совесть и тем паче не ко двору. Лишняя совесть иаполняет сердца робостью, остаиавливает руку, которая готова камень бросить, шепчет судье: проверь самого себя! А ежели у кого совесть, вместе с прочей требухой, из иутра вычистили, у того робости и в заводе нет, а зато камией — полиа пазуха. Смотрит себе вяленая вобла, не сморгиувши, на заблуждения человеские и знай себе камешками пошвыривает. Каждое заблуждение у ней под номером значится и против каждого камешек припасен — тоже под номером. Остается только нелицеприятиую бухгалтерию вести. Око за око, номер за номер. Ежели следует искалечить полностью — полностью искалечь: сам виноват! Ежели следует искалечить в частиости — искалечь частицу: вперед наука! И так она этою своею резоиностью всем понравилась, что скоро про совесть иикто и вспомнить без смеха не мог...

Но больше всего была богата последствиями добровольческая воблушкина деятельность по распространеиию здравых мыслей в обществе. С утра до вечера не уставаючи ходила она по градам и весям [1] и все одну песню пела: не расти ушам выше лба! не расти!! И не то чтоб с азартом пела, а солидио, рассудительио, так что и рассердиться иа иее было ие за что. Разве что вгорячах кто крикнет: ишь, паскуда, распелась! — иу, да ведь в деле распространения здравых мыслей без того нельзя, чтоб кто-нибудь паскудой ие обругал...

Вялеиая вобла, впрочем, не смущалась этими иапутствия-

[1] Грады и веси *(церк.-слав.)* — города и села.

ми. Она не без основания говорила себе: пускай сначала к голосу моему привыкнут, а затем я своего уж добьюсь...

Надо сказать правду: общество, к которому обращались поучения воблы, не представляло особенной устойчивости. Были в нем и убежденные люди, но более преобладал пестрый человек[1]. Это, положим, и везде так бывает, но в других местах для убежденных людей выдаются изрядные светлые промежутки, а тут они — коротенькие. Извольте-ка в одночасье всю эту массу пестрых людей на правую стезю поставить, извольте добиться, чтоб они усвоили себе представление о своем праве на жизнь, да не машинально только усвоили, а с тем, чтобы, в случае надобности, и защитить это право умели. Утвердительно можно сказать, что это задача мучительная. А между тем сколько во имя ее погубляется жизней, сколько проливается поту и крови, сколько передумывается скорбных и тяжелых дум! И ежели в результате этих усилий блеснет одна-единственная минута радости (вдобавок, мнимой), то это уже награда, которая считается достаточною, чтобы оправдать целые годы последующих отрав...

А кроме того, и время стояло смутное, неверное и жестокое. Убежденные люди надрывались, мучились, метались, вопрошали и вместо ответа видели перед собой запертую дверь. Пестрые люди следили в недоумении за их потугами и в то же время нюхали в воздухе, чем пахнет. Пахло нехорошо; ощущалось присутствие железного кольца, которое с каждым днем все больше и больше стягивалось. Кто-то нас выручит? Кто-то подходящее слово скажет? — ежемгновенно тосковали пестрые люди и были рады-радехоньки, когда в ушах их раздались отрезвляющие звуки.

Наступает короткий период задумчивости: пестрые люди уже решились, но еще стыдятся. Затем пестрая масса начинает мало-помалу волноваться. Больше, больше, и вдруг вопль: не растут уши выше лба, не растут!

Общество отрезвилось. Это зрелище поголовного освобождения от лишних мыслей, лишних чувств и лишней совести до такой степени умилительно, что даже клеветники и человеконенавистники на время умолкают. Они вынуждены сознаться,

[1] Пестрый человек — либерал-обыватель, лишенный твердых убеждений.

что простая вобла, с провялеиными молóками и выветрившимся мозгом, совершила такие чудеса коисерватизма, о которых оии и гадать не смели. Одно утешает их: что эти подвиги подъяты воблой под прикрытием их человекоиеиавистнических воплей. Если б оии не взывали к посредиичеству ежовых рукавиц, если б не угрожали согиутием в бараиий рог — могла ли бы вобла с успехом вести свою мирио-возродительную пропаганду? Не заклевали ли бы ее? Не иасмеялись ли бы иад иею? И, накоиец, ие перспектива ли скорпиоиов и ран, ежемииутио ими, клеветниками, показываемая, повлияла иа решение пестрых людей?

Некоторые из клеветииков даже устраивали иа всякий случай лазейку. Хвалить хвалили, ио камеиь за пазухой все-таки приберегали. «Прекрасно, — говорили они. — Мы с удовольствием допускаем, что общество отрезвилось, что химера[1] упраздиена, а иа место ее вступила в свои права здоровая, неподкрашеииая жизнь. Но иадолго ли? Но прочио ли наше отрезвлеиие? — вот вопрос. В этом смысле мириый характер, который озиамеиовал процесс иашего возрождеиия, наводит иа очень серьезиые мысли. До сих пор мы зиали, что заблуждеиия ие так-то легко полагают оружие даже перед очевидиостью совершавшихся фактов, а тут вдруг, иеждаииоиегадаиио, благодаря авторитету пословицы, — положим, благоиамереииой и освящеииой вековым опытом, но все-таки не более как пословицы, — является радикальиое и повсеместиое отрезвлеиие! Полио, так ли это? Искренно ли состоявшееся иа иаших глазах обращение? Не представляет ли оио искусного компромисса или времеииого modus vivendi[2], допущеииого для отвода глаз? И нет ли в самых приемах, которыми сопровождалось возрождеиие, призиаков того легковесиого либерализма, который, избегая такие испытаииые средства, как ежовые рукавицы, мечтает кроткими мерами разогиать тяготеющую над иами хмару?[3] Не забывается ли при этом слишком легко, что общество наше ие что иное, как разиошерстный и бесхарактерный агломерат[4] всевозможиых веяний и иаслоений и что с успехом действовать иа этот

---

[1] Химера — несбыточная мечта.
[2] Поведення *(лат.)*.
[3] Хмара — туча.
[4] Агломерат *(лат.)* — соединенне.

агломерат можно лишь тогда, когда разнообразные элементы, его составляющие, предварительно приведены к одному знаменателю?»

Как бы то ни было, но настоящий, здоровый тон был найден. Сперва его в салонах усвоили; потом он в трактиры проник, потом... Дамочки радовались и говорили: теперь у нас балы начнутся. Гостинодворцы развертывали материи и ожидали оживления промышленности.

Оставалось одно: отыскать настоящее, здоровое «дело», к которому можно было бы «здоровый» тон применить.

Однако тут совершилось нечто необыкновенное. Оказалось, что до сих пор у всех на уме были только ежовые рукавицы, а об деле так мало думали, что никто даже по имени не мог его назвать. Все говорят охотно: надо дело делать, но какое — не знают. А вобла похаживает между тем среди возрожденной толпы и самодовольно выкрикивает: не растут уши выше лба! не растут!

— Помилуй, воблушка! Да ведь это только «тон», а не «дело», — возражают ей. — Дело-то какое нам предстоит, скажи!

Но она заладила одно и ни пяди уступить не согласна! Так ни от кого насчет дела ничего и не узнали.

Но, кроме того, тут же сбоку выскочил и другой вопрос: а что, если настоящее дело наконец и откроется — кто же его делать-то будет?

— Вы, Иван Иваныч, будете дело делать?

— Где мне, Иван Никифорович! Моя изба с краю... вот разве вы...

— Что вы! что вы! Да разве я об двух головах! Ведь я, батюшка, не забыл...

И таким образом все. У одного — изба с краю, другой — не об двух головах, третий — чего-то не забыл... Все глядят, как бы в подворотню проскочить, у всех сердце не на месте и руки — как плети...

«Уши выше лба не растут!» — хорошо это сказано, сильно, а дальше что? На стене каракули-то читать? — положим, и это хорошо, а дальше что? Не шевельнуться, не пикнуть, носа не совать, не рассуждать? — прекрасно и это, а дальше что?

И чем старательнее выводились логические последствия,

вытекающие из воблушкиной доктрины [1], тем чаще и чаще становился поперек горла вопрос: а дальше что?

Ответить на этот вопрос вызвались клеветники и человеконенавистники.

«Само по себе взятое, — говорили и писали они, — учение, известное под именем доктрины вяленой воблы, не только не заслуживает порицания, но даже может быть названо вполне благонадежным. Но дело не в доктрине и ее положениях, а в тех приемах, которые употреблялись для ее осуществления и насчет которых мы с самого начала предостерегали тех, кому ведать о сем надлежит. Приемы эти были положительно негодны, как это уже и оказалось теперь. Они носили на себе клеймо того же паскудного либеральничанья, которое уже столько раз приводило нас на край бездны. Так что ежели мы еще не находимся на дне оной, то именно только благодаря здравому смыслу, искони лежавшему в основании нашей жизни. Пускай же этот здравый смысл и теперь сослужит нам свою обычную службу. Пусть подскажет он всем, серьезно понимающим интересы своего отечества, что единственный целесообразный прием, при помощи которого мы можем прийти к какому-нибудь результату, представляют ежовые рукавицы. Об этом напоминают нам предания прошлого; о том же свидетельствует смута настоящего. Этой смуты не было бы и в помине, если б наши предостережения были своевременно выслушаны и приняты во внимание. «Caveant consules!» [2] — повторяем мы и при этом прибавляем для не знающих по-латыни, что в русском переводе выражение это значит: «не зевай!»

Таким образом, оказалось, что хоть и провялили воблу, и внутренности у нее вычистили, и мозг выветрили, а все-таки в конце концов ей пришлось распоясываться [3]. Из торжествующей она первратилась в заподозренную, из благонамеренной — в либералку. И в либералку тем более опасную, чем благонадежнее была мысль, составлявшая основание ее пропаганды.

И вот в одно утро совершилось неслыханное злодеяние. Один из самых рьяных клеветников ухватил вяленую воблу

---

[1] Доктрина — учение.

[2] «Пусть будут бдительны консулы!» *(лат.)*.

[3] «Пришлось распоясываться» — то есть приготовляться к расправе, ожидающей ее.

под жабры, откусил у нее голову, содрал шкуру и у всех на виду слопал...

Пестрые люди смотрели на это зрелище, плескали руками и вопили: да здравствуют ежовые рукавицы! Но История взглянула на дело иначе и втайне положила в сердце своем: годиков через сто я непременно все это тисну!

1884 г.





ОРЕЛ-МЕЦЕНАТ[1]

Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И статьи[2] у орла красоты неописанной, и взгляд быстрый, и полет величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит, либо ширяет[3]; сверх того, глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердце великодушием. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городового, то непременно сравнивают его с орлом. Подобно орлу, говорят, городовой бляха № такой-то высмотрел, выхватил и, выслушав, — простил.

Я сам очень долго этим панегирикам[4] верил. Думал: ведь, в самом деле, красиво! Выхватил... простил! простил?! — вот что в особенности пленяло. Кого простил? — мышь!! Что

---

[1] Меценат — богатый покровитель наук и искусств (по имени римского вельможи, жившего в I веке до н. э. и прославившегося широким покровительством поэтам и художникам).

[2] Статьи (стати) — здесь: особенности строения животных.

[3] Ширять (*церк.-слав.*) — широко взмахивать крыльями.

[4] Панегирик — хвалебное слово, стихотворение.

такое мышь?! И я бежал впопыхах к кому-нибудь из друзей-поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуту сопел, и затем его начинало тошнить стихами.

Но однажды меня осенила мысль: с чего же, однако, орел «простил» мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и... простил! Почему он «простил» мышь, а не мышь «простила» его?

Дальше — больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не за тем орел мышей ловит, чтоб их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орел «простил» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он совсем ею не интересовался. И, в-третьих, наконец, будь он хоть орел, хоть архиорел, все-таки он — птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городового может быть лестно только по недоразумению.

И теперь я думаю об орлах так: орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в свое оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так как они в то же время сильны, дальнозорки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что при появлении их все пернатое царство спешит притаиться. И это происходит от страха, а не от восхищения, как уверяют поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют.

* * *

Выискался, однако ж, орел, которому опостылело жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице:

— Скучно сам-друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце — инда одуреешь.

И начал он задумываться. Что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится: хорошо бы так пожить, как в старину помещики живали. Набрал бы он дворню и зажил бы припеваючи. Вороны бы сплетни ему переносили, попугаи кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добыва-

ли. А он бы оставил при себе одну кровожадность. Думал-думал, да и решился. Кликнул однажды ястреба, коршуна да сокола и говорит им:

— Соберите мне дворню, как в старину у помещиков бывало: она меня утешать будет, а я ее в страхе держать стану. Вот и все.

Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего нагнали целую уйму воро́н. Нагнали, записали в ревизские сказки[1] и выдали окладные листы[2]. Ворона — птица плодущая и на все согласная. Главным же образом тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица. А известно, что ежели готовы «мужички», то дело остается только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали. Из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев скоморохами нарядили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от казны препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать. Словом сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили.

Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести, как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали-думали, что бы такое было, и наконец догадались: во всех дворнях полагаются науки и искусства, а у орла нет ни тех, ни других.

Три птицы в особенности считали этот пропуск для себя обидным: снигирь, дятел и соловей.

Снигирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе кантонистов, потом служил в полку писарем и, научившись ставить знаки препинания, начал издавать, без предварительной цензуры, газету «Вестник лесов». Только никак приноровиться не мог. То чего-нибудь коснется — ан касаться нельзя; то чего-нибудь не коснется — ан касаться не только можно, но и должно. А его за это в головку тук да тук. Вот он и замыс-

---

[1] Ревизские сказки — списки крепостных крестьян, составлявшиеся по ревизии (переписи).

[2] Окладной лист — извещение о размере налога.

лил: пойду в дворню к орлу! Пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвещать!

Дятел был скромный ученый и вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся (многие даже думали, что он запо́ем, как и все серьезные ученые, пьет), но целые дни сидел на сосновом суку и все долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований: «Родословная лешего», «Была ли замужем Баба-Яга», «Каким по́лом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжиц найти не мог. Поэтому и он надумал: пойду к орлу в дворовые историографы! авось-либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает!

Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он искони так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы[1], слушая его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и славолюбив выше всякой меры. Мало было ему вольной песней по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонией звуков напоять... Думалось: орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать...

Словом сказать, пристали все три птицы к соколу: доложи да доложи!

Выслушал орел соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусств — и не сразу понял. Сидит себе да цыркает, да когтями играет, а глаза у него, словно точеные камешки, глянцем на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал; ни Бабой-Ягой, ни ведьмами не интересовался. а об соловье только одно слыхал: что эта птица малая, не сто́ит из-за нее клюв марать.

— Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт[2]-то умер? — спросил сокол.

— Какой-такой Бонапарт?

— То-то вот. А знать об этом не худо. Ужо гости приедут, разговаривать будут. Скажут: при Бонапарте это было, а ты будешь глазами хлопать. Нехорошо.

---

[1] Московские гостинодворцы — купцы.
[2] Бонапарт — здесь: французский император Наполеон III.

Призвали на совет сову — и та подтвердила, что надо науки и искусства в дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живется, да и со стороны посмотреть не зазорно. Ученье — свет, а неученье — тьма. Спать-то да жрать всякий умеет, а вот поди разреши задачу: «летело стадо гусей» — ан до́ма не скажешься. Умные-то помещики, бывало, за битого двух небитых давали, — значит, пользу в том видели. Вон чижик: только и науки у него, что ведерко с водой таскать умеет, а какие деньги за этакого-то платят!

— Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты и на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят: ловок орел, а простофиля.

— Что ж, я не прочь от наук! — цыркнул орел.

Сказано — сделано. На другой же день у орла в дворне начался «золотой век». Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают»[1], коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи новые кунштюки[2] выдумывали. С ворон определили новый налог, под названием «просветительного»; для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса[3], для сов, филинов и сычей — академию де сиянс[4], да кстати уж и воронятам купили по экземпляру азбуки-копейки. И в заключение самого старого скворца определили стихотворцем, под именем Василия Кирилыча Тредьяковского[5], и отдали ему приказ, чтоб назавтра же был готов к состязанию с соловьем.

И вот вожделенный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться.

Самый большой успех достался на долю снигиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил снигирь, что

[1] «Науки юношей питают» — строка из оды М. В. Ломоносова («На день восшествия на престол Елизаветы Петровны», 1747 г.).

[2] Кунштюк — фокус, ловкий прием.

[3] Кадетский корпус — среднее военно-учебное заведение в царской России.

[4] Академия де сиянс (с франц. Académie des ciences — Академия наук). — Употребляя французское название, Щедрин подчеркивает холопский характер царской академии.

[5] Василий Кириллович Тредьяковский (1703—1769) — известный русский поэт, переводчик и ученый. Его стихи за неуклюжесть и тяжесть слога были часто предметом насмешек современников. Щедрин сатирически использует его образ в своей сказке для изображения придворного поэта.

надо жить припеваючи, а орел подтвердил: имянно! Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а орел подтвердил: имянно! Говорил, что холопское житье лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет, а орел подтвердил: имянно! Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает, — а орел подтвердил: имянно!

Наконец снигирь надоел.

— Следующий! — цыркнул орел.

Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца повел, а орел, с своей стороны, подтвердил: и я в этом роде от папеньки слышал. Было у солнца, говорил дятел, трое детей: дочь Акула да два сына: Лев да Орел. Акула была распутная — ее за это отец в морские пучины заточил; сын Лев от отца отшатнулся — его отец владыкою над пустыней сделал; а Орёлко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил — воздушные пространства ему во владенье отвел.

Но не успел дятел даже введение к своему исследованию продолбить, как уже орел в нетерпенье крикнул:

— Следующий! следующий!

Тогда запел соловей и сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают... Однако как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ноту попасть, но с «искусством», которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был (даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил), да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел — не понимает орел, да и шабаш!

— Что этот дуралей бормочет! — крикнул он наконец. — Позвать Тредьяковского!

А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял: «Имянно! имянно! имянно!» И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: «Убрать негодяя!»

На этом честолюбивые попытки соловья и покончились.

Живо запрятали его в куролеску и продали в Зарядье, в трактир «Расставанье друзей», где и о сю пору он напояет сладкой отравой сердца захмелевших «метеоров».

Тем не менее дело просвещения все-таки не было покинуто. Ястребята и соколята продолжали ходить в гимназии; академия де сиянс принялась издавать словарь и одолела половину буквы А; дятел дописывал 10-й том «Истории леших». Но снигирь притаился. С первого же дня он почуял, что всей этой просветительной сутолоке последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание.

Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководительство в просветительном деле, допустили большую ошибку: они задумали обучить грамоте самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но, как ни бились, он и через год вместо «Орел» подписывался «Аре́р», так что ни один солидный заимодавец векселей с такою подписью не принимал. Но еще бо́льшая ошибка заключалась в том, что, подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Ежеминутно следовала сова по пятам, выкрикивая: бб... зз... хх..., а сокол, тоже ежеминутно, внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя.

— Украл ты десять гусенков, двух письмоводителю квартального подарил, одного сам съел — сколько в запасе осталось? — с укоризною спрашивал сокол.

Орел не мог разрешить и молчал, но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днем больше и больше.

Произошла натянутость отношений, которою поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился коршун и увлек за собой кукушку. Последняя стала нашептывать орлице: «Изведут они кормильца нашего, заучат!» А орлица начала орла дразнить: «Ученый! ученый!» Затем, общими силами, возбудили «дурные страсти» в ястребе.

И вот однажды на зорьке, едва орел глаза продрал, сова, по обыкновению, подкралась сзади и зажужжала ему в уши: вв... зз... рррр...

— Уйди, постылая! — кротко огрызнулся орел.

— Извольте, ваше степенство, повторить: бб... кк... мм...

— Второй раз говорю: уйди!

— Пп... хх... шш...

В один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое.

А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол.

— Вот тебе задача, — сказал он: — награблено нынче за ночь два пуда дичины; ежели на две равные части эту добычу разделить, одну — тебе, другую — всем прочим челядинцам, — сколько на твою долю достанется?

— Все, — отвечал орел.

— Ты говори дело, — возразил сокол. — Ежели бы «все», я бы и спрашивать тебя не стал!

Не впервые такие задачи сокол задавал; но на этот раз тон, принятый им, показался орлу невыносимым. Вся кровь в нем вскипела при мысли, что он говорит «всё», а холоп осмеливается возражать: «не всё». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то они педагогические приемы от крамолы отличать не умеют. Так он и поступил.

Но, покончивши с соколом, орел, однако, оговорился:

— А де сиянс академии оставаться по-прежнему!

Опять пропели скворцы: «Науки юношей питают», но для всех уже было ясно, что «золотой век» находится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества, с своими обязательными спутниками: междоусобием и всяческою смутою.

Смута началась с того, что на место умершего сокола явилось два претендента: ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счетов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение.

Через месяц от недавнего золотого века не осталось и следов. Скворцы заленились, коростели стали фальшивить, сорока-белобока воровала без пróсыпу, а на воронах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченую.

Чтоб оправдать себя в этой неурядице, ястреб и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение. Науки-де, бесспорно, полезны, но лишь тогда, когда они благовременны. Жили-де наши дедушки без наук, и мы без них проживем...

И в доказательство, что весь вред от наук идет, начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть

часослов[1] да замешан в них был. Начались розыски, следствия, судбища...

— Шабаш! — вдруг раздалось в вышине.

Это крикнул орел. Просвещение прекратило течение свое.

Во всей дворне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шепоты.

Первою жертвою нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения.

— Знаки препинания ставить умеешь?

— Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как-то: кавычки, тире, скобки — всегда, по сущей совести, становлю.

— А женский пол от мужеского отличить можешь?

— Могу. Даже в ночное время не ошибусь.

Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, по́мре.

Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в академии де сиянс.

Однако ж сычи и филины защищались твердо: жалко им было с теплыми казенными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянсами занимаются, дабы их распространять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но коршун сразу увертки их опровергнул, спросив: да сиянсы-то зачем? И они на этот вопрос не ответили (не ждали). Тогда их поштучно распродали огородникам, а последние, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить.

В это же самое время отобрали у воронят азбуку-копейку, истолкли оную в ступе и из полученной массы наделали игральных карт.

Дальше — больше. За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи... Даже глухого тетерева заподозрили в «образе мыслей» на том основании, что он днем молчит, а ночью спит...

Дворня опустела. Остались орел с орлицею и при них ястреб да коршун. А вдали — масса воронья, которое бессовестно плодилось. И чем больше плодилось, тем больше накоплялось на нем недоимок.

---

[1] **Часослов** — богослужебная книга.

Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить (вороньё в счет не полагалось), стали изводить друг друга. И все на почве наук. Ястреб донес, что коршун, по секрету, читает часослов, а коршун съябедничал, что у ястреба в дупле «новейший песенник» спрятан.

Орел смутился...

Но тут уж сама История ускорила свое течение, чтоб положить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, воро́ны вдруг спохватились: а что́, бишь, на этот счет в азбуке-копейке сказано? И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели.

Погнался за ними орел, да не тут-то было: сладкое помещичье житье до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить.

Тогда он повернулся к орлице и возгласил:

— Сие да послужит орлам уроком!

Но что означало в данном случае слово «урок» — то ли, что просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то и другое вместе, — об этом он умолчал.

1884 г.





КАРАСЬ-ИДЕАЛИСТ

Карась с ершом спорнл. Карась говорнл, что можно на свете одною правдою прожнть, а ерш утверждал, что нельзя без того обойтнсь, чтоб не слукавнть. Что именно разумел ерш под выражением «слукавнть» — нензвестно, но только всякнй раз, как он этн слова пронзноснл, карась в негодованни восклицал:

— Но ведь это подлость!

На что ерш возражал:

— Вот ужó увндишь!

Карась — рыба смирная и к ндеалнзму склонная: недаром его монахн любят. Лежит она больше на самом дне речной зáводи (где потише) нли пруда, зарывшись в нл, и выбирает оттуда мнкроскопнческн ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как карасн ни в цензуру свонх мыслей не представляют, ни в участке

не прописывают, то в политической иеблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени иа карасей устраивается облава, то отнюдь ие за вольнодумство, а за то, что они вкусны.

Ловят карасей по преимуществу сетью или иеводом; но чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сиоровку. Опытиые рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начииают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что ои возвещает торжество вольиых идей, карась сиимается со диа и иачинает справляться, иельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадет во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворяиства охотно потчуют ими даже губернаторов.

Что касается до ершей, то это рыба, уже тронутая скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, оиа дает бесподобиый бульои.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, — не знаю; знаю только, что одиажды, сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали иазиачать. Сплывутся где-иибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около их и ума-разума иабирается.

Первым всегда задирал карась.

— Не верю, — говорил ои, — чтобы борьба и свара были нормальиым законом, под влияиием которого будто бы суждеио развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяиие, верю в гармонию и глубоко убеждеи, что счастие — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздио сделается общим достояиием!

— Дожидайся! — иронизировал ерш.

Ерш спорил отрывисто и неспокойно. Это рыба иервная, которая, по-видимому, помиит иемало обид. Накипело у ней на сердце... ах, накипело! До иенависти покуда еще ие дошло, ио веры и наивиости уж и в помине нет. Вместо мириого жития оиа повсюду распрю видит; вместо прогресса — всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию

жить, должен все это в расчет принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же время сознает, что с ним только и можно «душу отводить».

— И дождусь! — отзывался карась. — И не я один, — все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности; но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустранимыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет!

— Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет?

— Каких таких щук? — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили: на то щука в море, чтоб карась не дремал, то он думал, что это что-нибудь вроде тех никс[1] и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

— Ах, фофан[2] ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!

Ерш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал восвояси; но спустя малое время собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно) и опять начинали диспутировать.

— В жизни первенствующую роль добро играет, — разглагольствовал карась; — зло — это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила все-таки в добре замыкается.

— Держи карман!

— Ах, ерш, какие ты несообразные выражения употребляешь! «Держи карман»! — разве это ответ?

— Да тебе, по-настоящему, и совсем отвечать не следует. Глупый ты — вот тебе и сказ весь!

— Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой — об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущею силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно

---

[1] Никсы — название русалок в немецких народных легендах.
[2] Фофан — простофиля, тупой человек.

давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История — это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.

— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены? — подтрунивал ерш.

— Не посрамлены еще, но будут посрамлены — это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что некогда было, с тем, что есть, — и ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы, как одурелые, сами прямо в сети лезем, а нынче именно во время «хода»-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли — в Урале, сказывают, во время багрения, вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче — шабаш. Неводы, да верши, да уды — больше чтобы ни-ни! Да и об этом еще в комитетах рассуждают: какие неводы? По какому случаю? На какой предмет?

— А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть?

— В какую такую уху? — удивлялся карась.

— Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об ухе не слыхал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь: что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь... заколю!

Ерш ощетинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.

— Намеднись в нашу за́водь щука заглядывала, — объявлял ерш.

— Та самая, о которой ты намеднись упоминал?

— Она. Приплыла, заглянула, молвила: чтой-то будто уж слишком здесь тихо! должно быть, тут карасям вод?.. И с этим уплыла.

— Что же мне теперича делать?

— Изготовляться, — только и всего. Ужо, как приплывет она да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло!

— Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват...

— Глуп ты — вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок. А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть!

— Не может такого закона быть! — искренно возмущался карась. — И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я ее до седьмого пота прошибу.

— Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторю: фофан! фофан! фофан!

Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасем. Но чрез несколько дней — смотришь — привычка опять взяла свое.

— Вот, кабы все рыбы между собой согласились... — загадочно начинал карась.

Но тут уж и самого ерша брала оторопь. «О чем это фофан речь заводит? — думалось ему. — Того гляди, прорвется, а тут головель неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам, знай, прислушивается».

— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет! — убеждал он карася. — Не для чего пасть-то разевать; можно и шепотком, что нужно, сказать.

— Не хочу я шептаться, — продолжал карась невозмутимо, — а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда...

Но тут ерш грубо прерывал своего друга.

— С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо! — кричал он на карася и, навостривши лыжи, уплывал от него восвояси.

И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не продаст — в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя об ней

прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки, того и гляди, не понимаючи, сболтнет! А об головлях, язях, линях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами[1] принять готовы! Бедный карась! Ни за грош он между ними пропадет!

— Посмотри ты на себя, — говорил он карасю: — ну, какую ты, неровён час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки не гораздая, рот — чутошный. Даже чешуя на тебе — и та не серьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости — как есть — увалень! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!

— Да за что же меня есть, коли я не провинился? — попрежнему упорствовал карась.

— Слушай, дурья порода! Едят-то разве «за что»? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется — только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: вот кабы все рыбы между собой согласились... А что, если бы ракушки между собой согласились — сладко ли бы тебе, простофиле, тогда было?

Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.

— Но ракушки — ведь это... — пробормотал он смущенно.

— Ракушки — ракушки, а караси — караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями — щуки. И ракушки ни в чем не повинны, и караси не виноваты, а и те и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь.

Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубь тины и стал на досуге думать. Думал-думал и, между прочим, ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж, додумался.

— Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были — это ты правду сказал, — объяснил он ершу, — а потому я их

---

[1] Присяга под колоколами. — В старину присяга под звон колоколов считалась наиболее обязывающей и торжественной.

ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.

— Кто же тебе это сказал?

— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошел. У ракушки не душа, а пар; ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб ее не проглотить. Потяни рылом воду, ан в зобу у тебя уж видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их — сами в рот лезут. Ну, а карась — совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают, — так с этаким стариком еще поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтобы он серьезную пакость сделал — ну, тогда, конечно...

— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы.

— Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не глухи. Помилуй, скажи: может ли такое злодейство статься! Лежит карась, никого не трогает, и вдруг, ни дай, ни вынеси за что, к щуке в брюхо попадает! Ни в жизнь я этому не поверю.

— Чудак! Да ведь намеднись, на глазах у тебя, монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил... Как ты думаешь: любоваться, что ли, он на карасей-то будет?

— Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что с теми карасями сталось: ино их съели, ино в сажалку[1] посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!

— Ну, живи, коли так, и ты, сорви-голова!

Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленою плесенью подернутое, самое для диспутов благоприятное. О чем ни калякай, какими мечтами ни задавайся — безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом все больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев повышал.

— Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! — ораторствовал он. — Чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда настоящая гармония осуществится!

[1] Сажалка — речное судно, приспособленное для перевозки живой рыбы.

— Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке подъедешь! — расхолаживал его ерш.

— Я, брат, подъеду! — стоял на своем карась. — Я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

— А ну-тка, скажи!

— Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?

— Огорошил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот проколю?

— Ах, нет! Сделай милость, ты этим не шути!

Или:

— Только тогда мы, рыбы, свои права сознáем, когда нас с малых лет в гражданских чувствах воспитывать будут!

— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?

— Все-таки...

— То-то «все-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними, в тине лежа, делать будешь?

— Не в тине, а вообще...

— Например?

— Например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу: не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!

— А он тебя за грубость на сковороду либо в золу в горячую... Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолопьи чувства надо иметь — вот это верно. Схоронился где погуще и молчи, остолоп!

Или еще:

— Рыбы не должны рыбами питаться, — бредил наяву карась. — Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И все это добро, все на потребу.

— А для щук на потребу караси, — отрезвлял его ерш.

— Нет, карась сам себе довлеет. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особливый закон, в видах обеспечения его личности, издать!

— А ежели тот закон исполняться не будет?

— Тогда надо внушение распубликовать; лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.

— И ладно будет?

— Полагаю, что многие устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, а карась все бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему — ничего. И растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерегся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчета вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему головель с повесткой: назавтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри! чуть свет ответ держать явись!

Карась, однако ж, не оробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слово надеялся.

Даже ерш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уж далеко зашел в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце ее просветили? Может быть, она... добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется, а, напротив того, с расчетцем свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке, да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмет да и скажет: за то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этой заводью; будь ты над нею начальник!

Приплыла наутро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась и дивится: каких ему про щуку сплеток ни наплели, а она — рыба как рыба! Только рот до ушей да хайло такое, что как раз ему, карасю, пролезть.

— Слышала я, — молвила щука, — что очень ты, карась, умен и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай.

— Об счастии я больше думаю, — скромно, но с достоинством ответил карась. — Чтобы не я один, а все были бы счастливы. Чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать

было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит.

— Гм... и ты думаешь, что такому делу статься возможно?

— Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.

— Например: плыву я, а рядом со мною... карась?

— Так что же такое?

— В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карасято... съем?

— Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище сопричислены: водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели. Но не рыбы.

— Маловато для меня. Головель! неужто такой закон есть? — обратилась щука к головлю.

— В забвении, ваше высокостепенство! — ловко вывернулся головель.

— Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну, а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?

— А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловче — ты и дело на себя посильнее возьмешь; а мне, карасю, по моим скромным способностям, и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого — вот как будет. Когда мы за друг дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-то еще где покажется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй что, видно, бросить придется!

— Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это еще когда-то будет. А вот что: так, значит, по-твоему, и я работать буду должна?

— Как прочие, так и ты.

— В первый раз слышу! Поди проспись!

Проспался ли, нет ли карась, но ума у него, во всяком случае, не прибавилось. В полдень опять он явился

на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.

— Так ты полагаешь, что я работать стану и ты от моих трудов лакомиться будешь? — прямо поставила вопрос щука.

— Все друг от дружки... от общих, взаимных трудов...

— Понимаю: «друг от дружки»... а между прочим, и от меня... гм! Думается, однако ж, что ты это зазорные речи говоришь. Головель! как, по-нынешнему, такие речи называются?

— Сицилизмом, ваше высокостепенство!

— Так я и знала. Давненько я уж слышу: бунтовские, мол, речи карась говорит! Только думаю: дай, лучше сама послушаю... Ан вон ты каков!

Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.

— Я, ваше высокостепенство, ничего, — пробормотал он в смущении, — это я по простоте...

— Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе с три короба, а ты — карась как карась, — только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел.

Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после вчерашнего обжорства сыта была и потому зевнула и сейчас же захрапела.

Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили головли и взяли под караул.

Вечером, еще не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.

Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.

— Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука, — да, видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!

При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в

нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста, и глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:

— Знаешь ли ты, что такое добродетель?

Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ерш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил:

— Вот они, диспуты-то наши, каковы!

1884 г.





ВЕРНЫЙ ТРЕЗОР

Служил Трезорка сторожем при лабазе московского 2-й гильдии купца Воротилова и недреманым оком хозяйское добро сторожил. Никогда от конуры не отлучался; даже Живодерки, на которой лабаз стоял, настоящим образом не видал; с утра до вечера так на цепи и скачет, так и заливается! Caveant consules! [1]

И премудрый был, никогда на своих не лаял, а все на чужих. Пройдет, бывало, хозяйский кучер овес воровать — Трезорка хвостом машет, думает: много ли кучеру нужно! А случится прохожему по своему делу мимо двора идти — Трезорка еще где заслышит: ах, батюшки, воры!

Видел купец Воротилов Трезоркину услугу и говорил: цены этому псу нет! И ежели случалось в лабаз мимо собачьей конуры проходить, непременно скажет: дайте Трезорке

[1] Пусть консулы будут бдительны! *(лат.)*.

помоев! А Трезорка из кожи от восторга лезет: рады стараться, ваше степенство!.. хам-ам! почивайте, ваше степенство, спокойно... хам... ам... ам... ам!

Однажды даже такой случай был: сам частный пристав к купцу Воротилову на двор пожаловал — так и на него Трезорка вóззрился. Такой содом поднял, что и хозяин, и хозяйка, и дети — все выбежали. Думали, грабят; смотрят — ан гость дорогой!

— Вашескородие! милости просим! Цыц, Трезорка! Ты это что, мерзавец? не узнал? а? Вашескородие! водочки! закусить-с.

— Благодарю. Прекраснейший у вас песик, Никанор Семеныч! благонамеренный!

— Такой пес! такой пес! Другому человеку так не понять, как он понимает!

— Собственность, значит, признает; а это, по нынешнему времени, ах как приятно!

И затем, обернувшись к Трезорке, присовокупил:

— Лай, мой друг, лай! Нынче и человек, ежели который с отличной стороны себя зарекомендовать хочет, — и тот по-песьему лаять обязывается!

Три раза Воротилов Трезорку искушал, прежде чем вполне свое имущество доверил ему. Нарядился вором (удивительно, как к нему этот костюм шел!), выбрал ночь потемнее и пошел в амбар воровать. В первый раз корочку хлебца с собой взял — думал этим его соблазнить, — а Трезорка корочку обнюхал, да как вцепится ему в икру! Во второй раз целую колбасу Трезорке бросил: пиль, Трезорушка, пиль! — а Трезорка ему фалду оторвал. В третий раз взял с собой рублевую бумажку замасленную — думал, на деньги пес пойдет; а Трезорка, не будь прост, такого трезвону поднял, что со всего квартала собаки сбежались: стоят да дивуются, с чего это хозяйский пес на своего хозяина заливается?

Тогда купец Воротилов собрал домочадцев и при всех сказал Трезорке:

— Препоручаю тебе, Трезорка, все мои потроха: и жену, и детей, и имущество — стереги! Принесите Трезорке помоев!

Понял ли Трезорка хозяйскую похвалу или уж сам собой, в силу собачьей природы, лай из него, словно из пустой бочки, валил — только совсем он с тех пор иссобачился. Одним

глазом спит, а другим глядит, не лезет ли кто в подворотню; скакать устанет — ляжет, а цепью все-таки погромыхивает: вот он, я! Накормить его позабудут — он даже очень рад: ежели, дескать, каждый-то день пса кормить, так он, чего доброго, в одну неделю разопсеет! Пинками его челядинцы наделят — он и в этом полезное предостережение видит, потому что ежели пса не бить, он и хозяина, того гляди, позабудет.

— Надо с нами, со псами, сурьезно поступать, — рассуждал он: — и за дело бей и без дела бей — вперед наука! Тогда только мы, псы, настоящими псами будем!

Одним словом, был пес с принципами и так высоко держал свое знамя, что прочие псы поглядят-поглядят, да и подожмут хвост — куды тебе!

Уж на что Трезорка детей любил, однако и на их искушения не сдавался. Подойдут к нему хозяйские дети:

— Пойдем, Трезорушка, с нами гулять!

— Не могу.

— Не смеешь?

— Не то что не смею, а права не имею.

— Пойдем, глупый! Мы тебя потихоньку... никто и не увидит!

— А совесть?

Подожмет Трезорка хвост и спрячется в конуру, от соблазна подальше.

Сколько раз и воры сговаривались: поднесемте Трезорке альбом с видами Замоскворечья; но он и на это не польстился.

— Не требуется мне никаких видов, — сказал он. — На этом дворе я родился, на нем же и старые кости сложу — каких еще видов нужно! Уйдите до греха!

Одна за Трезоркой слабость была: Кутьку крепко любил, но и то не всегда, а временно.

Кутька на том же дворе жила и тоже была собака добрая, но только без принципов. Полает и перестанет. Поэтому ее на цепи не держали, а жила она больше при хозяйской кухне и около хозяйских детей вертелась. Много она на своем веку сладких кусков съела и никогда с Трезоркой не поделилась; но Трезорка нимало за это на нее не претендовал: на то она и дама, чтобы сладенько поесть! Но когда Кутькино сердце начинало говорить, то она потихоньку взвизгивала и скреблась лапой в кухонную дверь. Заслышав эти ти-

хие всхлипыванья, Трезорка, с своей стороны, поднимал такой неистовый и, так сказать, характерный вой, что хозяин, понимая его значение, сам спешил на выручку своего имущества. Трезорку спускали с цепи и на место его сажали дворника Никиту. А Трезорка с Кутькой, взволнованные, счастливые, убегали к Серпуховским воротам.

В эти дни купец Воротилов делался зол, так что когда Трезорка возвращался утром из экскурсии, то хозяин бил его арапником[1] нещадно. И Трезорка, очевидно, сознавал свою вину, потому что не подбегал к хозяину гоголем, как это делают исполнившие свой долг чиновники, а униженно и поджавши хвост подползал к ногам его; и не выл от боли под ударами арапника, а потихоньку взвизгивал: mea culpa! mea màxima culpa![2] В сущности, он был слишком умен, чтобы не понимать, что, поступая таким образом, хозяин упускал из виду некоторые смягчающие обстоятельства; но в то же время, рассуждая логически, он приходил к заключению, что ежели его в таких случаях не бить, то непременно разопсеет.

Но что было особенно в Трезорке дорого, так это совершенное отсутствие честолюбия. Неизвестно, имел ли он даже понятие о праздниках и о том, что к праздникам купцы имеют обыкновение дарить верных своих слуг. Никаноры ли («сам» именинник), Анфисы ли («сама» именинница) на дворе — он, все равно что в будни, на цепи скачет!

— Да замолчи ты, постылый! — крикнет на него Анфиса Карповна. — Знаешь ли, какой сегодня день!

— Ничего, пусть лает! — пошутит в ответ Никанор Семеныч. — Это он с ангелом поздравляет! Лай, Трезорушка, лай!

Только раз в нем проснулось что-то вроде честолюбия — это когда бодливой хозяйской корове Рохле, по требованию городского пастуха, колокол на шею привесили. Признаться сказать, позавидовал-таки он, когда она пошла по двору звонить.

— Вот тебе счастье какое; а за что? — сказал он Рохле с горечью. — Только твоей и заслуги, что молока полведра в день из тебя надоят, а, по-настоящему, какая же это заслуга!

---

[1] Арапник — охотничий кнут для собак.
[2] Мой грех! мой тягчайший грех! *(лат.)*.

Молоко у тебя даровое, от тебя не зависящее: хорошо тебя кормят — ты много молока даешь; плохо кормят — и молоко перестанешь давать. Копыта об копыто ты не ударишь, чтоб хозяину заслужить, а вот тебя как награждают! А я вот сам от себя, motu proprio[1], день и ночь маюсь, не доем, не досплю, инда осип от беспокойства, — а мне хоть бы гремушку кинули! Вот, дескать, Трезорка, знай, что услугу твою видят!

— А цепь-то? — нашлась Рохля в ответ.

— Цепь?!

Тут только он понял. До тех пор он думал, что цепь есть цепь, а оказалось, что это нечто вроде как масонский знак[2]. Что он, стало быть, награжден уже изначала, награжден еще в то время, когда ничего не заслужил. И что отныне ему следует только об одном мечтать: чтоб старую, проржавленную цепь (он ее однажды уже порвал) сняли и купили бы новую, крепкую.

А купец Воротилов точно подслушал его скромно-честолюбивое вожделение: под самый Трезоркин праздник купил совсем новую, на диво выкованную цепь и сюрпризом приклепал ее к Трезоркину ошейнику. Лай, Трезорка, лай!

И залился он тем добродушным, заливистым лаем, каким лают псы, не отделяющие своего собачьего благополучия от неприкосновенности амбара, к которому определила их хозяйская рука.

В общем, Трезорке жилось отлично, хотя, конечно, от времени до времени не обходилось и без огорчений. В мире псов, точно так же как и в мире людей, лесть, пронырство и зависть нередко играют роль, вовсе им по праву не принадлежащую. Не раз приходилось и Трезорке испытывать уколы зависти; но он был силен сознанием исполненного долга и ничего не боялся. И это вовсе не было с его стороны самомнением. Напротив, он первый готов был бы уступить честь и место любому новоявленному барбосу, который доказал бы свое первенство в деле непреоборимости. Нередко он даже с тревогою подумывал о том, кто заступит его место в ту минуту, когда старость или смерть положит предел его нестомчивости... Но увы! во всей громадной стае измельчавших

---

[1] По собственному побуждению (*лат.*).

[2] Масонский знак — отличительный знак для членов тайного религиозно-философского общества, возникшего в XVIII веке.

и излаявшихся псов, населявших Живодерку, он, по совести, не находил ни одного, на которого мог бы с уверенностью указать: вот мой преемник! Так что когда интрига задумала во что бы то ни стало уронить Трезорку в мнении купца Воротилова, то она достигла только одного — и притом совершенно для нее нежелательного — результата, а именно: выказала повальное оскудение псовых талантов.

Не раз завистливые барбосы, и в одиночку и небольшими стайками, собирались во двор купца Воротилова, садились поодаль и вызывали Трезорку на состязание. Поднимался несосветимый собачий стон, который наводил ужас на всех домочадцев, но к которому хозяин дома прислушивался с любопытством, потому что понимал, что близко время, когда и Трезору понадобится подручный. В этом неистовом хоре выдавались голоса недурные; но такого, от которого внезапно заболел бы живот со страху, не было и в помине. Иной барбос выказывал недюжинные способности, но непременно или перелает, или недолает. Во время таких состязаний Трезорка обыкновенно умолкал, как бы давая противникам возможность высказаться, но под конец не выдерживал и к общему стону, каждая нота которого свидетельствовала об искусственном напряжении, присоединял свой собственный свободный и трезвенный лай. Этот лай сразу устранял все сомнения. Заслышав его, кухарка выбегала из стряпущей и ошпаривала коноводов интриги кипятком. А Трезорке приносила помоев.

Тем не менее купец Воротилов был прав, утверждая, что ничто под луною не вечно. Однажды утром воротиловский приказчик, проходя мимо собачьей конуры в амбар, застал Трезорку спящим. Никогда этого с ним не бывало. Спал ли он когда-нибудь — вероятно, спал, — никто этого не знал, и, во всяком случае, никто его спящим не заставал. Разумеется, приказчик не замедлил доложить об этом казусе хозяину.

Купец Воротилов сам вышел к Трезорке, взглянул на него и, видя, что он повинно шевелит хвостом, как бы говоря: и сам не понимаю, как со мной грех случился! — без гнева, полным участия голосом, сказал:

— Что, старик, на кухню собрался? Стара стала, слаба стала? Ну ладно! Ты и на кухне службу сослужить можешь.

На первый раз, однако ж, решились ограничиться при-

исканием Трезорке подручного. Задача была нелегкая; тем не менее после значительных хлопот успели-таки отыскать у Калужских ворот некоего Арапку, репутация которого установилась уже довольно прочно.

Я не стану описывать, как Арапка первый признал авторитет Трезорки и беспрекословно ему подчинился, как оба они подружились, как Трезорку, с течением времени, окончательно перевели на кухню и как, несмотря на это, он бегал к Арапке и бескорыстно обучал его приемам подлинного купеческого пса... Скажу только одно: ни досуг, ни обилие сладких кусков, ни близость Кутьки не заставили Трезорку позабыть те вдохновенные минуты, которые он проводил, сидючи на цепи и дрожа от холода в длинные зимние ночи.

Время, однако ж, шло, и Трезорка все больше и больше старелся. На шее у него образовался зоб, который пригибал его голову к земле, так что он с трудом вставал на ноги; глаза почти не видели; уши висели неподвижно; шерсть свалялась и линяла клочьями; аппетит исчез, а постоянно ощущаемый холод заставлял бедного пса жаться к печке.

— Воля ваша, Никанор Семеныч, а Трезорка начал паршиветь, — доложила однажды купцу Воротилову кухарка.

На этот раз, однако, купец Воротилов не сказал ни слова. Тем не менее кухарка не унялась и через неделю опять доложила:

— Как бы дети около Трезорки не испортились... Опаршивел он вовсе.

Но и на этот раз Воротилов промолчал. Тогда кухарка, через два дня, вбежала уже совсем обозленная и объявила, что она ни минуты не останется, ежели Трезорку из кухни не уберут. И так как кухарка мастерски готовила поросенка с кашей, а Воротилов безумно это блюдо любил, то участь Трезоркина была решена.

— Не к тому я Трезорку готовил, — сказал купец Воротилов с чувством, — да, видно, правду пословица говорит: собаке — собачья и смерть... Утопить Трезорку!

И вот вывели Трезорку на двор. Вся челядь высыпала, чтоб посмотреть на предсмертную агонию верного пса; даже хозяйские дети окно обсыпали. Арапка был тут же и, увидев старого учителя, приветливо замахал хвостом. Трезор-

ка от старости еле передвигал ногами и, по-видимому, не понимал; но когда начал приближаться к воротам, то силы оставили его, и надо было его тащить волоком за загривок.

Что затем произошло — об этом история умалчивает, но назад Трезорка уж не возвратился.

А вскоре Арапка и совсем изгнал Трезоркин образ из сердца купца Воротилова.

1885 г.





ДУРАК

В старые годы, при царе Горохе это было: у умных родителей родился сын дурак. Еще когда младенцем Иванушка был, родители дивились: в кого он уродился? Мамочка говорила, что в папочку, папочка — что в мамочку, а, наконец, подумали и решили: должно быть, в обоих.

Не то, впрочем, родителей смущало, что у них сын дурак, — дурак, да ежели ко двору, лучше и желать не надо, — а то, что он дурак особенный, за которого, того гляди, перед начальством ответить придется. Набедокурит, начудит — по какому праву? какой-такой закон есть?

Бывают дураки легкие, а этот мудреный. Вон у Милитрисы Кирбитьевны[1] — рукой подать — сын Левка, тоже дура-

[1] Милитриса Кирбитьевна — герония сказки о Бове-королевиче.

чок. Выбежит босиком на улицу, спустит рукава, на одной ножке скачет, а сам во всю мочь кричит: тили-тили, Левку били, бими-бими, бом-бум! Сейчас его изымают да на замок в холодную: сиди да посиживай! Даже губернатору, когда на ревизию приезжал, Левку показывали, и тот похвалил: берегите его, нам дураки нужны!

А *этот* дурак — необыкновенный. Сидит себе дома, книжку читает либо к папке с мамкой ласкается — и вдруг ни с того ни с сего в нем сердце загорится. Бежит, земля дрожит. К которому делу с подходцем бы подойти, а он на него прямиком лезет; которое слово совсем бы позабыть надо, а он его-то и ляпнет. И смех и грех. Хоть кричи на него, хоть бей — ничего он не чувствует и не слышит. Сделает, что ему хочется, и опять домой прибежит, к папке с мамкой под крылышко.

— Что с тобой, ненаглядный ты наш? Сядь, миленький, отдохни!

— Я, мамочка, не устал.

— Куда ты, голубчик, бегаешь? Не скажешься никому и убежишь!

— Я, мамочка, к Левке бегал. Левка болен, калачика просит; я взял с прилавка в булочной калачик и снес.

Услышит мамочка эти слова, так и ахнет:

— Ах, убил! ах, голову с меня, несчастный, ты снял! Что ты наделал! Это ты, значит, калачик-то украл!

— Как «украл»? Что такое «украл»?

Сколько раз и соседи папочку с мамочкой предостерегали:

— Уймите вы своего дурака! Большие он вам неприятности через свою глупость предоставит!

Но родители ничего не могли, только думали: легко сказать: «уймите!», а как ты его уймешь? Как это люди не понимают, что родительское сердце по глупом сыне больше даже, чем по умном, разрывается?

И точно, примется, бывало, папочка дурака усовещивать: калач есть собственность — он как будто и понимает: да, папочка! Но вдруг в это время, откуда ни возьмись, Левка: дай, Ваня, калачика! Он — шмыг, и точно вот слизнул калач с прилавка! Как тут понять: украл он его или не украл?

Терпел-терпел булочник, но наконец обиделся: принес в квартал жалобу. Явился к дураковым родителям квартальный и сказал: как угодно, а извольте вашего дурака высечь.

Плакала родительская утроба, а делать нечего. Видит папочка, что резонно квартальный говорит: высек дурака.

Но дурак ничего не понял. Почувствовавши, что больно, всплакнул, но не жаловался: за что? И не кричал: не буду! Скорее как будто удивился: для чего это папочке понадобилось?

Так и пропал этот урок даром: как был Иванушка до сечения дураком, так и после сечения дураком остался. Увидит из окна, что Левка босиком по улице скачет, — и он выбежит, сапоги снимет, рукава у рубашки спустит и начнет заодно с дурачком куролесить.

— Ишь занятие нашел! — рассердится мамочка. — Дурака дразнит!

— Я, мамочка, не дразню, а играю с ним, потому что ему одному скучно.

— Повертись! повертись! Довертишься, что сам дураком сделаешься!

Услышит папочка этот разговор и на мамочку накинется:

— Сечь его надо, а она разговаривает! Разговаривай больше, дождешься! Кабы ты чаще ему под рубашку заглядывала, давно бы он у нас человеком был!

И все соседи папочку одобряют: во-первых, потому, что закон есть такой, чтобы дураков учить; а во-вторых, и потому, что никому от Иванушки житья не стало. Намеднись соседские мальчишки вздумали козла дразнить — он за козла вступился. Стал посередке и не дает козла в обиду. Козел его сзади рогами бьет, мальчишки спереди по чем попало тузят, а ему горюшка мало — всего в синяках домой привели! А на другой день опять с дураком история: у повара петуха отнял. Несет повар под мышкой петуха на кухню, а дурак ему навстречу: «Куда, Кузьма, петушка несешь?» — «Известно, мол, на кухню да в суп»... Как кинется на него дурак! Не успел Кузьма опомниться — смотрит, а петух уж на забор взлетел и крыльями хлопает!

Толковал-толковал ему папочка: петух — не твой, как же ты смел его у повара отнимать? А он в ответ одно твердит: знаю я, что петух не мой, да и не поваров он, а свой собственный.

Как ни любили дурака все домочадцы за его ласковость и тихость, но с течением времени он всех поступками своими донял. Есть ему захочется — нет чтобы мамочку попросить: позвольте, мол, милый друг, маменька, в буфете пирожок

взять, — сам пойдет, и в буфете и в кухне перешарит, и что попадется под руку, так, без спросу, и съест. Захочется погулять — возьмет картуз, так, без спросу, и уйдет. Раз нищий под окном остановился, а у мамочки, как на грех, в ту пору трехрублевенькая бумажка на столе лежала, — он взял да *все* три рублика нищему в суму и ухнул!

— Батюшка! да из него Картуш[1] выйдет! — не взвидела света мамочка.

— И непременно выйдет, — отозвался папочка. — Хуже выйдет, ежели ты, вместо того чтобы сечь, лясы с ним точить будешь!

Делать нечего, высекла дурака и мамочка. Но высекла, надо прямо сказать, чуть-чуть, только чтобы наука была. А он встал, сердечный, весь заплаканный, и обнял мамочку:

— Ах, мамочка, мамочка! Бедненькая ты моя мамочка!

И сделалось мамочке вдруг так стыдно, так стыдно, что она и сама заплакала.

— Дурачок ты мой ненаглядный! Вот кабы нас бог с тобой вместе к себе взял!

Наконец, однако, он и себя и мамочку едва не погубил. Гуляли они однажды всей семьей по набережной реки. Папочка мамочку под ручку вел, а он, впереди, разведчика из себя изображал. Будто бы они источники Нигера открывать собирались, так он послан вперед разузнать, не угрожает ли откуда опасность. Вдруг слышат стоны; взглянули на реку, а там чей-то мальчишечко в воде барахтается! Не успели опомниться — ан дурак уж в реку бухнул, а за дураком мамочка — как была в кринолине, так и очутилась в воде. А за мамочкой — пара городовых в амуниции. А папочка стоит у решетки да руками, словно птица крыльями, машет: моих-то спасайте! моих! Наконец городовые всех троих из воды вытащили. Мамочка-то одним страхом поплатилась, а дурак целый месяц в горячке вылежал. Понял ли он, что поступил по-дурацки, или сделалось ему мамочку жалко, только как пришел он в себя да увидел, что мамочка, худенькая да бледненькая, в головах у него сидит, — так и залился слезами! Только и твердит: «Мамочка! мамочка! мамочка! Зачем нас бог к себе не взял?»

А папочка тут же стоял и все надеялся, что дурак хоть на

[1] Картуш — легендарный французский разбойник XVIII века.

этот раз скажет: «Простите, милый папочка, я вперед не буду!» Однако он так-таки и не сказал.

После этого случая папочка с мамочкой серьезно совещались: как с дураком быть? Ходили, обнявшись, по зале, со всех сторон предмет рассматривали и долго ни на чем не могли сойтись.

Дело в том, что папочка был человек справедливый. И дома, и в гостях, и на улице он только об одном твердил: всу́е[1] законы писать, ежели их не исполнять. У него даже и наружность такая уморительная была, как будто он в одной руке весы[2] держит, а другою — то золотник в чашечку поступков подбавит, то ползолотника в чашечку возмездий подкинет. Поэтому, и принимая во внимание все вышеизложенное, он требовал, чтобы с Иванушкой было поступлено по всей строгости домашнего кодекса.

— Преступил он — следовательно, и соответствующее возмездие понести должен. Вот смотри!

И он показал мамочке табличку, в которой было изображено:

Название поступка:	Число ударов розгою	
	от	до
Отступление от правил субординации[3]	5	7

Но мамочка была мамочка — только и всего. Справедливости она не отрицала, но понимала ее в каком-то первобытном смысле, в каком понимает это слово простой народ, говоря о «справедливом» человеке. Без возмездий, а вроде как бы отпущения. И как ни мало она была в юридическом отношении развита, однако в одну минуту папочку осрамила.

— За что ж мы наказывать его будем? — сказала она. — За то, что он утопающего спасти хотел? Опомнись!

Тем не менее папочка настоял-таки, что дома держать дурака невозможно, а надо отдать его в «заведение».

Регулярно-спокойный обиход заведения на первых порах отразился на дураке довольно выгодно. Ничто не бередило его восприимчивости, не пробуждало в нем внезапных движений души. В первые годы даже ученья настоящего не было, а

[1] Всуе — напрасно.

[2] Весы — здесь: символ правосудия (древнегреческая богиня правосудия Фемида изображалась с весами в руках).

[3] Субординация — подчинение младших старшим.

только усваивался учебный материал. Не встречалось также резкой разницы и в товарищеской среде — такой разницы, которая вызывала бы потребность утешить, помочь. Все шло тем средним ходом, который успех ученья ставил главным образом в зависимость от памяти. А так как память у Иванушки была превосходная, да и сердце, к тому же, было золотое, то чуть-чуть Иванушка и впрямь из дурака не сделался умницей.

— Говорил я тебе? — торжествовал папочка.

— Ну-ну, не сердись! — отвечала мамочка, как бы винясь, что она чересчур поторопилась папочку осрамить.

Но по мере того как объем предлагаемого знания увеличивался, дело Иванушки усложнялось. Большинства наук он совсем не понимал. Не понимал истории, юриспруденции, науки о накоплении и распределении богатств. Не потому, чтобы не хотел понимать, а воистину не понимал. И на все усовещевания учителей и наставников отвечал одно: не может этого быть!

Только тогда настоящим образом узнали, что он несомненный круглый дурак. Такой дурак, которому могут быть доступны только склады науки, а самая наука — никогда. Природа поступает по временам жестоко: раскроет способности человека только в меру понимания азбучного материала, а как только дойдет очередь, чтобы из материала делать выводы, — законопатит, и конец.

Снова сконфузился папочка и стал мамочку упрекать, что Иванушка в нее уродился. Но мамочка уж не слушала попреков, а только глаз не осушала, плакала. Неужто Иванушка так-таки навек дураком и останется?

— Да ты хоть притворись, что понимаешь! — уговаривала она Иванушку. — Принудь себя, хоть немножко пойми. Ну, дай, я тебе покажу!

Раскроет мамочка книжку, прочтет: *«§ о порядке наследования по закону единоутробных»* — и ничего-таки не понимает! Плачут оба: и дурак и мамочка. А папочка между тем так и режет: *единоутробных* прежде всего необходимо отличать: во-первых, от *единокровных;* во-вторых, от тех, кои, будучи единоутробными, суть в то же время и единокровные, и, в-третьих, от *червонных валетов...* [1]

[1] Червонные валеты — шайка мошенников, состоявшая главным образом из разорившихся дворян.

— Вот папенька-то как хорошо знает! — удивлялась мамочка, заливаясь слезами.

Видя материнские слезы, дурак напрягал нередко все свои усилия. Уйдет во время рекреации[1] в класс, сядет за тетрадку, заложит пальцами уши и начнет долбить. Выдолбит и так отлично скажет урок, словно на бобах разведет... И вдруг что-нибудь такое насчет Александра Македонского ляпнет, что у учителя на плешивой голове остальные три волоса дыбом встанут.

— Садитесь! — молвит учитель. — Печальная вам в будущем участь предстоит! Никогда вы государственным человеком не сделаетесь. Благодарите бога, что он дал вам родителей, которые ни в чем не замечены. Потому что, если б не это... Садитесь! И ежели можете, то старайтесь не огорчать ваших наставников возмутительными выходками!

И точно: только благодаря родительскому благонравию дурака из класса в класс переводили, а наконец и из заведения с чином выпустили. Но когда он домой с аттестатом явился, то мамочка как взглянула, что там написано, так и залилась слезами. А папочка сурово спросил:

— Что ты, бесчувственный идол, набедокурил?

— Я, папочка, так себе, — ответил он, — это, должно быть, такое правило в заведении...

Даже не объяснился порядком; увидал на улице Левку и убежал.

Левку он полюбил пуще прежнего, потому что бедный дурак еще жальче стал. Как и шесть лет тому назад, он ходил босой, худой, держа руки граблями, но весь оброс волосами и вытянулся с коломенскую версту. Милитриса Кирбитьевна давно от него отказалась: не кормила его и почти совсем не одевала. Поэтому он был всегда голоден, и если б не сердобольные торговки-калашницы, то давно бы с голоду помер. Но больше всего он страдал от уличных мальчишек. Отдыху они ему не давали: дразнились, науськивали на него собак, щипали за икры, теребили на нем рубашку. Целый день раздавался на улице его вой, сопровождаемый неистовым дурацким щелканьем. Он выл от боли, но не понимал, откуда эта боль идет.

Дурак защитил Левку, обогрел, накормил и одел. Все,

[1] **Рекреация** — перемена между уроками.

что для Левки было нужно, Иванушка брал без спроса; а ежели не знал, где найти, то требовал таким тоном, как будто самое представление об отказе ему было совершенно чуждо. Только у дураков бывает такая убежденность в голосе, такая непререкаемость во взорах. Никого и ничего он не боялся, ни к чему не питал отвращения и совсем не имел понятия об опасности. Завидев исправника, он не перебегал на другую сторону улицы, но шел прямо навстречу, точно ни в чем не был виноват. Случится в городе пожар — он первый идет в огонь; услышит ли, что где-нибудь есть трудный больной, — он бежит туда, садится к изголовью больного и прислуживает. И умные слова у него в таких случаях оказывались, словно он и не дурак. Одно только тяжелым камнем лежало на его сердце: мамочка бессонные ночи проводила, пока он дурачество свое ублажал. Но было в его судьбе нечто непреодолимое, что фаталистически влекло его к самоуничижению и самопожертвованию, и он инстинктивно повиновался этому указанию, не справляясь об ожидаемых последствиях и не допуская сделок даже в пользу кровных уз.

Не раз родители задумывались, каким бы образом дурака пристроить, чтобы он хоть мало-мальски на человека похож был. Определил было папочка его на службу чем-то вроде попечителя[1] местного училища (без жалованья, дескать, и дурак сойдет, а с жалованьем — даже наверное!); но дурак сразу такую ахинею понес, что исправник, только во внимание к испытанному благонравию родителей, согласился это дело замять. Тогда мамочка напала на мысль — женить дурака; может быть, бог узы ему разрешит. Подыскали невесту, молодую купеческую вдову Подвохину. Невеста из себя писаная краля была и в гостином дворе две лавки имела. Вдовела она безупречно, товар держала всегда первейшего качества и дела свои по торговле вела умело и самостоятельно. Словом сказать, лучше партии желать не надо. Дурак, в свою очередь, тоже понравился невесте: внешность у него была приличная, поведение — кроткое. Даже ума в нем она не отрицала, как другие, но только находила, что нужно этот ум развязать. И вполне на себя надеялась, что успеет в этом.

Но у дурака все вообще инстинкты до такой степени глу-

[1] Попечитель — выборный представитель дворянства, следивший за благосостоянием и порядком школы.

боко спали, что даже эта жалостливая и скромная женщина удивилась. Ни разу он не дрогнул от прикосновения к ней, ни разу не смутился, не почувствовал ни одной из тех неловкостей, к которым с таким сердечным желанием относятся женщины, инстинктивно угадывая в них первые, сладостнейшие трепетания любви. Придет дурак, отобедает, чаю напьется и, по-видимому, совсем не понимает, почему он находится у Подвохиной, а не дома.

— Как это вам не скучно: ничего вы не понимаете? — спросит его красавица вдова.

— Ах, нет, мне очень скучно! Говорят, будто оттого, что занятия у меня никакого нет.

— Так вы займитесь... полюбите кого-нибудь?

— Помилуйте, как же возможно не любить! Всех любить надо. Счастливых — за то, что они сумели себя счастливыми сделать; несчастных — за то, что у них радостей нет.

Так это сватовство и не состоялось. Потужила вдова Подвохина и даже пообещала годок подождать, но месяц-другой потерпела, да в рождественский мясоед и вышла замуж за городского голову Лиходеева. Теперь у них уж четыре лавки в гостином дворе; по будням они во всех четырех лавках торг ведут: она — по галантерейной части, он — по бакалейной; а по праздникам исправника и прочих властей пирогом угощают.

А дурак засел дома на родительской шее и ухом не ведет. На пожары бегает, больных выхаживает, нищих целыми табунами домой приводит.

— Хоть бы господь его прибрал! — шепчет папочка потихоньку, чтоб мамочка не слыхала.

А мамочка все молится, на милость божью надеется. Просветит господь разум Иванушки пониманием, направит стопы его по стезе господина исправника, его помощника и непременного заседателя! Должен же он какую-нибудь должность по службе получить! Не может быть, чтоб для всех было дело, и только для него одного — ничего.

Только один человек на дурака иными глазами взглянул, да и тот был случайный проезжий. Ехал он мимо города и завернул к папочке, с которым он старинный-старинный приятель был. Пошли сказы да рассказы; упомянули старину, об увлечениях молодости досыта наговорились, а между прочим и настоящего коснулись. Папочка двери на всякий

случай притворил, и оба, что было на душе, всё выложили. Объяснились. Не сказали, а подумали: так вот, брат, ты кто! Разумеется, не обошлось без жалоб и на дурака; а так как с ним уж не чинились, то так-таки, в его присутствии, прямо «дураком» его и чествовали. Заинтересовался проезжий рассказами о дураке, остался ночевать у старого приятеля, а на другой день и говорит:

— Совсем он не дурак, а только подлых мыслей у него нет — от этого он и к жизни приспособиться не может. Бывают и другие, которые от подлых мыслей постепенно освобождаются, но процесс этого освобождения сто́ит больших усилий и нередко имеет в результате тяжелый нравственный кризис. Для него же и усилий никаких не требовалось, потому что таких пор в его организме не существовало, через которые подлая мысль заползти бы могла. Сама природа ему это дала. А впрочем, несомненно, что настанет минута, когда наплыв жизни силою своего гнета заставит его выбирать между дурачеством и подлостью. Тогда он *поймет*. Только не советовал бы я вам торопить эту минуту, потому что как только она пробьет, не будет на свете другого такого несчастного человека, как он. Но и тогда — я в этом убежден, — он предпочтет остаться дураком.

Сказал это проезжий и проследовал из города дальше. А папочка между тем задумался. Начал всю свою жизнь перебирать, припоминая, какие у него подлые мысли бывали и каким манером он освобождался от них. И, разумеется, как ни строго себя экзаменовал, но вышел из испытания с честью. Никогда у него подлых мыслей не бывало, а следовательно, и освобождаться от них он надобности не ощущал. Отчего же, однако, он не дурак?

Наконец порешил на том, что у старого друга ум за разум зашел. «Сидят они там, в петербургских мурья́х[1], да развиваются. Разовьются, да и заврутся. А мы вот засели по Пошехоньям[2]: не развиваемся, да зато и не завираемся — так-то прочнее. И врет он все: никакого дара природы в дурачестве нет, и ежели, по милости божией, мой дурак когда-нибудь умницей сделается, то, наверное, несчастным оттого

[1] Мурья — лачуга, тесное и темное жилье.

[2] Пошехонье — так называл Щедрин захолустную, патриархальную самодержавно-помещичью Россию.

не будет, а поступит на службу, да и начнет жить да поживать, как и прочие все».

Порешивши таким родом, стал ждать: вот-вот Иванушка просияет, и его, не в пример другим, на чреду служения призовут. Ан вместо того в одно прекрасное утро ему объявили, что дурак совсем из дома исчез[1].

. . . .

Прошли годы; старики родители очи выплакали. Не было той минуты, в которую бы они не ждали; не было той мысли, которая бы, прямо или косвенно, не относилась к исчезнувшему дураку. Всё перезабыли старики, только об одном помнили: где он теперь? сыт ли? одет ли? Много ли дураку нужно, чтоб погибнуть! Не дай бог врагу испытывать эту пытку родительского сердца, которое все вины на себя берет, всеми детскими стонами, в тысячекратно раздающемся эхе, раздирается!

Однако дурак воротился. Внезапно, точно так же, как и исчез. Но от прежнего, цветущего здоровьем дурака не осталось и следов. Он был бледен, худ и измучен. Где он скитался? что видел? понял или не понял? — никто ничего дознаться от него не мог. Пришел он домой и замолчал.

Во всяком случае, проезжий был прав: так до смерти и осталась при нем кличка: *дурак*.

1885 г.

---

[1] «Дурак совсем из дома исчез» — то есть был арестован или сослан.





СОСЕДИ

В некотором селе жили два соседа: Иван Богатый да Иван Бедный. Богатого величали «сударем» и «Семенычем», а бедного — просто Иваном, а иногда и Ивашкой. Оба были хорошие люди, а Иван Богатый — даже отличный. Как есть во всей форме филантроп[1]. Сам ценностей не производил, но о распределении богатств очень благородно мыслил. «Это, — говорит, — с моей стороны лепта. Другой, — говорит, — и ценностей не производит, да и мыслит неблагородно — это уж свинство. А я еще ничего». А Иван Бедный о распределении богатств совсем не мыслил (недосужно ему было), но взамен того производил ценности. И тоже говорил: «Это с моей стороны лепта».

Сойдутся они вечером под праздник, когда и бедным и богатым — всем досужно, сядут на лавочку перед хоромами Ивана Богатого и начнут калякать.

— У тебя завтра с чем щи? — спросит Иван Богатый.

[1] Филантроп — благотворитель.

— С пу́стом, — ответит Иван Бедный.

— А у меня с убоиной.

Зевнет Иван Богатый, рот перекрестит, взглянет на Бедного Ивана, и жаль ему станет.

— Чудно́ на свете деется, — молвит он. — Который человек постоянно в трудах находится, у того по праздникам пустые щи на столе; а который при полезном досуге состоит — у того и в будни щи с убоиной. С чего бы это?

— И я давно думаю: с чего бы это? да недосуг раздумывать-то мне. Только начну думать, ан в лес за дровами ехать надобно; привез дров — смотришь, навоз возить или с сохой выезжать пора пришла. Так, между делом, мысли-то и уходят.

— Надо бы, однако, нам это дело рассудить.

— И я говорю: надо бы.

Зевнет и Иван Бедный, с своей стороны, перекрестит рот, пойдет спать и во сне завтрашние пустые щи видит. А на другой день проснется — смотрит, Иван Богатый сюрприз ему приготовил: убоины, ради праздника, во́ щи прислал.

В следующий предпраздничный канун опять сойдутся соседи и опять за старую материю примутся.

— Веришь ли, — молвит Иван Богатый, — и наяву и во сне только одно я и вижу: сколь много ты против меня обижен!

— И на этом спасибо, — ответит Иван Бедный.

— Хоть и я благородными мыслями немалую пользу обществу приношу, однако ведь ты... не выйди-ка ты вовремя с сохой — пожалуй, и без хлеба пришлось бы насидеться. Так ли я говорю?

— Это так точно. Только не выехать-то мне нельзя, потому что в этом случае я первый с голоду пропаду.

— Правда твоя: хитро эта механика устроена. Однако ты не думай, что я ее одобряю — ни боже мой! Я только об одном и тужу: господи! как бы так сделать, чтобы Ивану Бедному хорошо было?! Чтоб и я — свою порцию, и он — свою порцию.

— И на этом, сударь, спасибо, что беспокоитесь. Это действительно, что кабы не добродетель ваша — сидеть бы мне праздник на тюре на одной...

— Что ты! что ты! Разве я об том! Ты об этом забудь, а я вот об чем. Сколько раз я решался: пойду, мол, и отдам

пол-имения нищим! И отдавал. И что же! Сегодня я отдал пол-имения, а назавтра проснусь — у меня вместо убылой-то половины целых три четверти опять объявилось.

— Значит, с процентом...

— Ничего, братец, не поделаешь. Я — от денег, а деньги — ко мне. Я бедному пригоршню, а мне вместо одной-то, неведомо откуда, две. Вот ведь чудо какое!

Наговорятся и начнут позевывать. А между разговором Иван Богатый все-таки думу думает: что бы такое сделать, чтобы завтра у Ивана Бедного щи с убоиной были? Думает-думает, да и выдумает.

— Слушай-ка, миляга! — скажет. — Теперь уже недолго и до ночи осталось, сходи-ка ко мне в огород грядку вскопать. Ты шутя часок лопатой поковыряешь, а я тебя, по силе-возможности, награжу — словно бы ты и взаправду работал.

И действительно, поиграет лопатой Иван Бедный часок-другой, а завтра он с праздником, словно бы и «взаправду поработал».

Долго ли, коротко ли соседи таким манером калякали, только под конец так у Ивана Богатого сердце раскипелось, что и взаправду невтерпеж ему стало. «Пойду, — говорит, — к самому На́большему, паду перед ним и скажу: «Ты у нас око царево! ты здесь решишь и вяжешь, караешь и милуешь! Повели нас с Иваном Бедным в одну вёрсту поверстать. Чтобы с него рекрут — и с меня рекрут, с него подвода — и с меня подвода, с его десятины грош — и с моей десятины грош. А души чтобы и его и моя от акциза[1] одинаково свободны были!»

И как сказал, так и сделал. Пришел к На́большему, пал перед ним и объяснил свое горе. И На̀больший за это Ивана Богатого похвалил. Сказал ему: «Исполать[2] тебе, добру молодцу, за то, что соседа своего, Ивашку Бедного, не забываешь. Нет для начальства приятнее, как ежели государевы подданные в добром согласии и во взаимном радении живут, и нет того зла злее, как ежели они в сваре, в ненависти и в доносах друг на дружку время про̀водят!» Сказал это На́больший и, на свой страх, повелел своим помощникам, чтобы,

---

[1] Акциз — налог, обложение.
[2] Исполать — здесь: хвала, слава.

в виде опыта, обоим Иванам суд равный был и дани равные, а того бы, как прежде было: один тяготы несет, а другой песенки поет, — впредь чтобы не было.

Воротился Иван Богатый в свое село, земли под собою от радости не слышит.

— Вот друг сердешный, — говорит он Ивану Бедному. — Своротил я, по милости начальнической, с души моей камень тяжелый! Теперь уж мне супротив тебя, в виде опыта, никакой вольготы не будет. С тебя рекрут — и с меня рекрут, с тебя подвода — и с меня подвода, с твоей десятины грош — и с моей грош. Не успеешь и ты оглянуться, как у тебя от одной этой поровёнки во щах ежедёнь убоина будет!

Сказал это Иван Богатый, а сам, в надежде славы и добра, уехал на теплые воды, где года два сряду и находился при полезном досуге.

Был в Вестфалии — ел вестфальскую вечтину; был в Страсбурге — ел страсбургские пироги; в Бордо был — пил бордоское вино; наконец приехал в Париж — всё вообще пил и ел. Словом сказать, так весело прожил, что насилу ноги унес. И все время об Иване Бедном думал: «То-то он теперь, после поровёнки-то, за обе щеки уписывает!»

А Иван Бедный между тем в трудах жил. Сегодня вспашет полосу, а завтра заборонует; сегодня скосит осьминник, а завтра, коли бог вёдрушко даст, сено сушить принимается. В кабак и дорогу позабыл, потому знает, что кабак — это погибель его. И супруга его, Марья Ивановна, заодно с ним трудится: и жнет, и боронует, и сено трясет, и дрова колет. И детушки у них подросли — и те так и рвутся хоть с эстолько поработать. Словом сказать, вся семья с утра до ночи словно в котле кипит, и все-таки пустые щи не сходят у нее со стола. А с тех пор, как Иван Богатый из села уехал, так даже и по праздникам сюрпризов Иван Бедный не видит.

— Незадача нам, — говорит бедняга жене. — Вот и сравняли меня, в виде опыта, в тягостях с Иваном Богатым, а мы всё при прежнем интересе находимся. Живем богато, со двора покато; чего ни хватись, за всем в люди покатись.

Так и ахнул Иван Богатый, как увидел соседа в прежней бедности. Признаться сказать, первою его мыслью было, что Ивашка в кабак прибытки свои таскает. «Неужели он так закоренел? Неужели он неисправим?» — восклицал он в глубоком огорчении. Однако Ивану Бедному не стоило никакого

труда доказать, что у него не только на вино, но и на соль не всегда прибытков достаточно. А что он не мот, не расточитель, а хозяин радетельный, так и тому доказательства были налицо. Показал Иван Бедный свой хозяйственный инвентарь, и все оказалось в целости, в том самом виде, в каком было до отъезда богатого соседа на теплые воды. Лошадь гнедая покалеченная — 1; корова бурая, с подпалиной — 1; овца — 1; телега, соха, борона. Даже старые дровнишки — и те прислонены к забору стоят, хотя, по летнему времни, надобности в них нет и, стало быть, можно было бы, без ущерба для хозяйства, их в кабаке заложить. Затем осмотрели избу — и там все налицо, только с крыши местами солома повыдергана; но и это произошло оттого, что позапрошлой весной кормов недостало, так из прелой соломы резку для скота готовили.

Словом сказать, не оказалось ни единого факта, который обвинял бы Ивана Бедного в разврате или в мотовстве. Это был коренной, задавленный русский мужик, который напрягал все усилия, чтобы осуществить все свое право на жизнь, но, по какому-то горькому недоразумению, осуществлял его лишь в самой недостаточной степени.

— Господи! да с чего ж это? — тужил Иван Богатый. — Вот и поровняли нас с тобой, и права у нас одни, и дани равные платим, и все-таки пользы для тебя не предвидится — с чего бы?

— Я и сам думаю: с чего бы? — уныло откликнулся Иван Бедный.

Стал Иван Богатый умом раскидывать и, разумеется, нашел причину. Оттого, мол, так выходит, что у нас нет ни общественного, ни частного почина. Общество — равнодушное; частные люди — всякий об себе промышляет; правители же хоть и напрягают силы, но вотще. Стало быть, прежде всего надо общество подбодрить.

Сказано — сделано. Собрал Иван Семеныч Богатый на селе сходку и в присутствии всех домохозяев произнес блестящую речь о пользе общественного и частного почина... Говорил пространно, рассыпчато и вразумительно, словно бисер перед свиньями метал; доказывал примерами, что только те общества представляют залог преуспеяния и живучести, кои сами о себе промыслить умеют; те же, кои предоставляют событиям совершаться помимо общественного участия, те сами

себя заранее обрекают на постепенное вымирание и конечную погибель. Словом сказать, все, что в азбуке-копейке вычитал, все так и выложил перед слушателями.

Результат превзошел все ожидания. Посадские люди не только прозрели, но и прониклись самосознанием. Никогда не испытывали они такого горячего наплыва разнообразнейших ощущений. Казалось, к ним внезапно подкралась давно желанная, но почему-то и где-то задерживавшаяся жизненная волна, которая высоко-высоко подняла на себе этот темный люд. Толпа ликовала, наслаждаясь своим прозрением; Ивана Богатого чествовали, называли героем. И в заключение единогласно постановили приговор: 1) кабак закрыть навсегда; 2) положить основание самопомощи, учредив Общество Доброхотной Копейки.

В тот же день, по числу приписанных к селу душ, в кассу общества поступило две тысячи двадцать три копейки, а Иван Богатый, сверх того, пожертвовал неимущим сто экземпляров азбуки-копейки, сказав: «Читайте, други! тут все есть, что для вас нужно!»

Опять уехал Иван Богатый на теплые воды, и опять остался Иван Бедный при полезных трудах, которые на сей раз, благодаря новым условиям самопомощи и содействию азбуки-копейки, несомненно должны были принести плод сторицею.

Прошел год, прошел другой. Ел ли в течение этого времени Иван Богатый в Вестфалии вестфальскую ветчину, а в Страсбурге — страсбургские пироги, достоверно сказать не умею. Но знаю, что когда он, по окончании срока, воротился домой, то в полном смысле слова обомлел.

Иван Бедный сидел в развалившейся лачуге, худой, отощалый; на столе стояла чашка с тюрей, в которую Марья Ивановна, по случаю праздника, подлила, для запаха, ложку конопляного масла. Детушки обсели кругом стола и торопились есть, как бы опасаясь, чтоб не пришел чужак и не потребовал сиротской доли.

— С чего бы это? — с горечью, почти с безнадежностью воскликнул Иван Богатый.

— И я говорю: с чего бы это? — по привычке, отозвался Иван Бедный.

Опять начались предпраздничные собеседования на лавочке перед хоромами Ивана Богатого; но как ни всесторонне

рассматривали собеседники удручавший их вопрос, ничего из этих рассмотрений не вышло. Думал было сначала Иван Богатый, что оттого это происходит, что не дозрели мы; но, рассудив, убедился, что есть пирог с начинкою — вовсе не такая трудная наука, чтоб для нее был необходим аттестат зрелости. Попробовал было он поглубже копнуть, но с первого же абцуга[1] такие пугала из глубины повыскакивали, что он сейчас же дал себе зарок — никогда ни до чего не докапываться. Наконец решились на последнее средство: обратиться за разъяснением к местному мудрецу и филосо́фу Ивану Простофиле.

Простофиля был коренной сельчанин, колченогий горбун, который, по случаю убожества, ценностей не производил, а питался тем, что круглый год в кусочки ходил. Но в селе про него говорили, что он умен, как поп Семен, и он вполне оправдывал эту репутацию. Никто лучше его не умел на бобах развести и чудеса в решете показать. Посулит Простофиля красного петуха — глядь, ан петух уж где-нибудь на крыше крыльями хлопает; посулит град с голубиное яйцо — глядь, ан от града с поля уж ополоумевшее стадо бежит. Все его боялись; а когда под окном раздавался стук его нищенской клюки, то хозяйка-стряпуха торопилась как можно скорее подать ему лучший кусок.

И на этот раз Простофиля вполне оправдал свою репутацию прозорливца. Как только Иван Богатый изложил пред ним обстоятельства дела и затем предложил вопрос: с чего бы? — Простофи́ля тотчас же, нимало не задумываясь, ответил:

— Оттого, что в планту́ так значится.

Иван Бедный, по-видимому, сразу понял Простофилину речь и безнадежно покачал головой. Но Богатый Иван решительно недоумевал.

— Плант такой есть, — пояснил Простофиля, отчетливо произнося каждое слово и как бы наслаждаясь собственным прозорливством, — и в оном планту значится: живет Иван Бедный на распутии, а жилище у него не то изба, не то решето дырявое. Вот богачество-то и течет все мимо да скрозь, потому задержки себе не видит. А ты, Богатый Иван, живешь у самого стёка, куда со всех сторон ручьи бегут. Хоромы у

[1] «С первого же абцуга» — с самого начала, с первого шага.

тебя просторные, справные, частоколы кругом выведены крепкие. Притекут к твоему жительству ручьи с богачеством — тут и застрянут. И ежели ты, к примеру, вчера пол-имения роздал, то сегодня к тебе на смену целых три четверти привалило. Ты — от денег, а деньги — к тебе. Под какой куст ты ни заглянешь, везде богачество лежит. Вот он каков, этот плант! И сколько вы промеж себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом — ничего не выдумаете, покуда в оном планту так значится.

1885 г.





ЛИБЕРАЛ

В некоторой стране жил-был либерал, и притом такой откровенный, что никто слова не молвит, а он уж во все горло гаркает: «Ах, господа, господа! что вы делаете! Ведь вы сами себя губите!» И никто на него за это не сердился, а, напротив, все говорили: «Пускай предупреждает — нам же лучше!»

— Три фактора, — говорил он, — должны лежать в основании всякой общественности: свобода, обеспеченность и самодеятельность. Ежели общество лишено свободы, то это значит, что оно живет без идеалов, без горения мысли, не имея ни основы для творчества, ни веры в предстоящие ему судьбы. Ежели общество сознает себя необеспеченным, то это налагает на него печать подавленности и делает равнодушным к собственной участи. Ежели общество лишено самодеятельности, то оно становится неспособным к устройству своих дел и даже мало-помалу утрачивает представление об отечестве.

Вот как мыслил либерал, и, надо правду сказать, мыслил

правильно. Он видел, что кругом него люди, словно отравленные мухи, бродят, и говорил себе: «Это оттого, что они не сознают себя строителями своих судеб. Это колодники, к которым и счастие и злосчастие приходит без всякого с их стороны предвидения, которые не отдаются беззаветно своим ощущениям, потому что не могут определить, действительно ли это ощущения или какая-нибудь фантасмагория». Одним словом, либерал был твердо убежден, что лишь упомянутые три фактора могут дать обществу прочные устои и привести за собою все остальные блага, необходимые для развития общественности.

Но этого мало: либерал не только благородно мыслил, но и рвался благое дело делать. Заветнейшее его желание состояло в том, чтобы луч света, согревавший его мысль, прорезал окрестную тьму, осенил ее и все живущее напоил благоволением. Всех людей он признавал братьями, всех одинаково призывал насладиться под сенью излюбленных им идеалов.

Хотя это стремление перевести идеалы из области эмпиреев на практическую почву припахивало не совсем благонадежно, но либерал так искренно пламенел, и притом был так мил и ко всем ласков, что ему даже неблагонадежность охотно прощали. Умел он и истину с улыбкой высказать, и простачком, где нужно, прикинуться, и бескорыстием щегольнуть. А главное, никогда и ничего он не требовал наступя на горло, а всегда только *по возможности*.

Конечно, выражение «по возможности» не представляло для его ретивости ничего особенно лестного, но либерал примирялся с ним, во-первых, ради общей пользы, которая у него всегда на первом плане стояла, и, во-вторых, ради ограждения своих идеалов от напрасной и преждевременной гибели. Сверх того, он знал, что идеалы, его одушевляющие, имеют слишком отвлеченный характер, чтобы воздействовать на жизнь непосредственным образом. Что такое свобода? обеспеченность? самодеятельность? Всё это отвлеченные термины, которые следует наполнить, несомненно, осязательным содержанием, чтобы в результате вышло общественное цветение. Термины эти, в своей общности, могут воспитывать общество, могут возвышать уровень его верований и надежд, но блага осязаемого, разливающего непосредственное ощущение довольства, принести не могут. Чтобы достичь этого бла-

га, чтобы сделать идеал общедоступным, необходимо разменять его на мелочи и уже в этом виде применять к исцелению недугов, удручающих человечество. Вот тут-то, при размене на мелочи, и вырабатывается само собой это выражение: «по возможности», которое из двух приходящих в соприкосновение сторон одну заставляет в *известной степени* отказаться от замкнутости, а другую — в *значительной степени* сократить свои требования.

Все это отлично понял наш либерал и, заручившись этими соображениями, препоясался на брань с действительностью. И прежде всего, разумеется, обратился к сведущим людям.

— Свобода — ведь, кажется, тут ничего предосудительного нет? — спросил он их.

— Не только не предосудительно, но и весьма похвально, — ответили сведущие люди, — ведь это только клевещут на нас, будто бы мы не желаем свободы; в действительности, мы только об ней и печалимся... Но, разумеется, в пределах...

— Гм... «в пределах»... понимаю! А что вы скажете насчет обеспеченности?

— И это милости просим... Но, разумеется, тоже в пределах.

— А как вы находите мой идеал общественной самодеятельности?

— Его только и недоставало. Но, разумеется, опять-таки в пределах.

Что ж! в пределах так в пределах! Сам либерал хорошо понимал, что иначе нельзя. Пусти-ка савраса без узды — он в один момент того накуролесит, что годами потом не поправишь! А с уздою — святое дело! Идет саврас и оглядывается: а нутко я тебя, саврас, кнутом шарахну... вот так!

И начал либерал «в пределах» орудовать: там урвет, тут урежет, а в третьем месте и совсем спрячется. А сведущие люди глядят на него и не нарадуются. Одно время даже так работой его увлеклись, что можно было подумать, что и они либералами сделались.

— Действуй! — поощряли они его. — Тут обойди, здесь стушуй, а там и вовсе не касайся. И будет все хорошо. Мы бы, любезный друг, и с радостью готовы тебя, козла, в огород пустить, да сам видишь, каким тыном у нас огород обнесен!

— Вижу-то вижу, — соглашался либерал, — но только

как мне стыдно свои идеалы ломать! Так стыдно! Ах, как стыдно!

— Ну, и постыдись маленько: стыд глаза не выест! зато, *по возможности*, все-таки затею свою выполнишь!

Однако, по мере того как либеральная затея *по возможности* осуществлялась, сведущие люди догадывались, что даже и в этом виде идеалы либерала не розами пахнут. С одной стороны, чересчур широко задумано; с другой стороны — недостаточно созрело, к восприятию не готово.

— Невмоготу нам твои идеалы! — говорили либералу сведущие люди. — Не готовы мы, не выдержим!

И так подробно и отчетливо все свои несостоятельности и подлости высчитывали, что либерал, как ни горько ему было, должен был согласиться, что действительно в предприятии его существует какой-то фаталистический огрех: не лезет в штаны, да и баста.

— Ах, как это печально! — роптал он на судьбу.

— Чудак! — утешали его сведущие люди. — Есть от чего плакать! Тебе что нужно? Будущее за твоими идеалами обеспечить? Так ведь мы тебе в этом не препятствуем. Только не торопись ты, ради Христа! Ежели нельзя «по возможности», так удовольствуйся тем, что отвоюешь «хоть что-нибудь»! Ведь и «хоть что-нибудь» свою цену имеет. Помаленьку да полегоньку, не торопясь да богу помолясь — смотришь, ан одной ногой ты уж и в капище[1]. В капище-то, с самой постройки его, никто не заглядывал; а ты взял да и заглянул... И за то бога благодари.

Делать нечего, пришлось и на этом помириться. Ежели нельзя «по возможности», так «хоть что-нибудь» старайся урвать, и на том спасибо скажи. Так либерал и поступил и вскоре так свыкся с своим новым положением, что сам дивился, как он был так глуп, полагая, что возможны какие-нибудь иные пределы. И уподобления всякие на подмогу к нему явились. И пшеничное, мол, зерно не сразу плод дает, а также поцеремонится. Сперва надо его в землю посадить, потом ожидать, покуда в нем произойдет процесс разложения, потом оно даст росток, который прозябнет, в трубку пойдет, восколосится и т. д. Вот через сколько волшебств долж-

[1] Капище — языческий храм. Здесь означает царство идеалов, которое либералы проповедуют, но осуществлять и не думают.

но перейти зерно, прежде нежели даст плод сторицею! Так же и тут, в погоне за идеалами. Посадил в землю «хоть что-нибудь» — сиди и жди.

И точно: посадил либерал в землю «хоть что-нибудь» — сидит и ждет. Только ждет-пождет, а не прозябает «хоть что-нибудь», и вся недолга. На камень оно, что ли, попало или в навозе сопрело — поди разбирай!

— Что за причина такая? — бормотал либерал в великом смущении.

— Та самая причина и есть, что загребаешь ты чересчур широко, — отвечали сведущие люди. — А народ у нас, между тем, слабый, расподлеющий. Ты к нему с добром, а он норовит тебя же в ложке утопить. Большую надо сноровку иметь, чтобы с этим народом в чистоте себя сохранить!

— Помилуйте! что уж теперь об чистоте говорить. С каким я запасом-то в путь вышел, а кончил тем, что весь его по дороге растерял. Сперва «по возможности» действовал, потом на «хоть что-нибудь» съехал — неужто можно и еще дальше под гору идти?

— Разумеется, можно. Не хочешь ли, например, «применительно к подлости»?

— Как так?

— Очень просто. Ты говоришь, что принес нам идеалы, а мы говорим: прекрасно; только ежели ты хочешь, чтоб мы восчувствовали, то действуй применительно.

— Ну?

— Значит, идеалами-то не превозносись, а по нашему масштабу их сократи, да применительно и действуй. А потом, может быть, и мы, коли пользу увидим... Мы, брат, тоже травленные волки, прожектеров-то[1] видели! Намеднись генерал Крокодилов вот этак же к нам отъявился: господа, говорит, мой идеал — кутузка! пожалуйте! Мы сдуру-то поверили, а теперь и сидим у него под ключом.

Крепко задумался либерал, услышав эти слова. И без того от первоначальных его идеалов только одни ярлыки остались, а тут еще подлость прямую для них прописывают! Ведь этак, пожалуй, не успеешь оглянуться, как и сам в подлецах очутишься. Господи! вразуми!

---

[1] Прожектёр — человек, склонный к фантастическим планам и проектам.

А сведущие люди, видя его задумчивость, с своей стороны стали его понуждать: «Коли ты, либерал, заварил кашу, так уж не мудри, вари до конца! Ты нас взбудоражил, ты же нас и ублаготвори... действуй!»

И стал он действовать. И все применительно к подлости. Попробует иногда, грешным делом, в сторону улизнуть, а сведущий человек сейчас его за рукав: «Куда, либерал, глаза скосил? Гляди прямо!»

Таким образом шли дни за днями, а за ними шло вперед и дело преуспевания «применительно к подлости». Идеалов и в помине уж не было — одна мразь осталась, — а либерал все-таки не унывал. «Что ж такое, что я свои идеалы по уши в подлости завязил? Зато я сам, яко столп, невредим стою! Сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь — я и опять молодец молодцом!» А сведущие люди слушали эти его похвальбы и поддакивали: именно так!

И вот шел он однажды по улице с своим приятелем, по обыкновению об идеалах калякал и свою мудрость на чем свет превозносил. Как вдруг он почувствовал, словно бы на щеку ему несколько брызгов пало. Откуда? с чего? Взглянул либерал наверх: не дождик ли, мол? Однако видит, что в небе ни облака и солнышко, как угорелое, на зените играет. Ветерок хоть и подувает, но так как помои из окон выливать не указано, то и на эту операцию подозрение положить нельзя.

— Что за чудо! — говорит приятелю либерал. — Дождя нет, помоев нет, а у меня на щеку брызги летят!

— А видишь, вон за углом некоторый человек притаился, — ответил приятель, — это его дело! Плюнуть ему на тебя за твои либеральные дела захотелось, а в глаза сделать это смелости не хватает. Вот он, «применительно к подлости», из-за угла и плюнул, а на тебя ветром брызги нанесло.

1885 г.



КОНЯГА

Коняга лежит при дороге и тяжко дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но Коняге не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком: в великую силу они с мужичком ее одолели.

Коняга — обыкновенный мужицкий живот[1]; замученный, побитый, узкогрудый, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову Коняга держит понуро; грива на шее у него свалялась; из глаз и ноздрей сочится слизь; верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День-деньской Коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает; зимой, вплоть до ростепели, «произведения» возит.

А силы Коняге набраться неоткуда: такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживится, а зимой перевозит на базар «произведения» и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на

[1] Живот — здесь в значении «животное».

ноги поднимают; а в поле ни травинки нет; кой-где только торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел.

Худое Конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выедут оба с сохой в поле. «Ну, милый, упирайся!» — слышит Коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними — забирает, морду к груди пригнет. «Ну, каторжный, вывози!» А за сохой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в соху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец — и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть — и Коняге и мужику; каждый день смерть.

Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит: юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с небом слилась, и там всё поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные — они железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вон он, человек, вдали идет; может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет-тускнеет и вдруг неожиданно пропадет, точно пространство само собой ее засосет.

Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эти силу из плена? Кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало — той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие плечи.

Лежит Коняга на самом солнечном припеке; кругом ни деревца, а воздух до того накалился, что дыханье в гортани захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрами пыль, но ветер, который поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи, как бешеные, ме-

чутся над Конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он — только ушами автоматически вздрагивает от уколов. Дремлет ли Коняга или помирает — нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что все нутро у него от зноя да от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе бог бессловесной животине отказал.

Дремлет Коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидения носятся, а бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые и стоят, и движутся вместе с измученным Конягой, и тянут его за собой все дальше и дальше в бездонную глубь.

Нет конца полю, не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и поперек, и все-таки ему конца-краю нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном — оно властно раскинулось вглубь и вширь и не на борьбу с собою вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно помертвело, сейчас — опять народилось. Не поймешь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти и в жизни первый и неизменный свидетель — Коняга. Для всех поле — раздолье, поэзия, простор; для Коняги оно — кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и все-таки не признает себя сытым. Ходит Коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрик: «Ну, милый! ну, каторжный! ну!»

Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на Конягу потоки горячих лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз... Для всех природа — мать, для него одного она бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение — отравою. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастия. Пускай солнце напояет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию, — бедный Коняга знает об нем только одно: что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь.

Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его



существоваиия: для иее он зачат и рождеи, н вие ее он не только иикому ие нужен, ио, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстаиовка, в которой ои живет, иаправлеиа едииственно к тому, чтобы ие дать замереть в нем той мускульиой силе, которая нсточает из себя возможность физического труда. И корма н отдыха отмеривается ему имеиио столько, чтоб ои был способен выполиить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его — иикому нет дела до того, сколько новых раи прибавилось у иего на ногах, на плечах н иа спине. Не благополучие его иужио, а жизнь, способиая выиоснть иго работы. Сколько веков ои иесет это иго — ои ие зиает; сколько веков предстоит нести его впереди — ие рассчитывает. Он живет, точио в темиую бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому организму, зиает только иоющую боль, которую дает работа.

Самая жизнь Коияги запечатлеиа клеймом бесконечности. Он ие живет, ио и ие умирает. Поле, как головоиог[1], присосалось к иему бесчислеииыми щупальцами и ие спускает его с урочной полосы. Какнми бы наружиымн отличками нн наделил его случай, ои всегда одии и тот же: побитый, замучеииый, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своею кровью, ои ие считает ни дней, ии лет, ии веков, а зиает только вечиость. По всему полю ои разбрелся и там и тут одииаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде все он, все одии н тот же, безымянный Коняга. Целая масса живет в ием, неумирающая, иерасчлеиимая и иеистребимая. Нет конца жнзнн — только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жнзиь? Зачем она опутала Коиягу узами бессмертия? Откуда она пришла и куда идет? Вероятио, когда-инбудь на эти вопросы ответит будущее... Но, может быть, и оио остается столь же иемо и безучастио, как н та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениямн н отдала им в жертву живых.

Дремлет Коияга, а мимо иего пустоплясы проходят. Никто с первого взгляда ие скажет, что Коияга и Пустопляс — одиого отца дети. Одиако предаине об этом родстве еще не совсем заглохло.

Жил во времеиа оны старый коиь, н было у него два сы-

[1] Головоног — маленькое беспозвоночное животное с щупальцами вокруг рта.

на: Коняга и Пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а Коняга — неотесанный и бесчувственный. Долго терпел старик Конягину неотесанность, долго обоих сыновей вел ровно, как подобает чадолюбивому отцу, но наконец рассердился и сказал: «Вот вам на веки вечные моя воля: Коняге — солома, а Пустоплясу — овес». Так с тех пор и пошло. Пустопляса в теплое стойло поставили, соломки мякенькой постелили, медовой сытóй напоили и пшена ему в ясли засыпали; а Конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы: хлопай зубами, Коняга! А пить — вон из той лужи.

Совсем было позабыл Пустопляс, что у него братец на свете живет, да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил. «Надоело, — говорит, — мне стойло теплое, прискучила сыта медовая, не лезет в горло пшено ярое; пойду проведаю, каково-то мой братец живет!»

Смотрит — ан братец-то у него бессмертный! Бьют его чем ни попадя, а он живет; кормят его соломою, а он живет! И в какую сторону поля ни взгляни — везде все братец орудует; сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом — он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама об него сокрушается, а его сокрушить не может!

И вот начали пустоплясы кругом Коняги похаживать.

Один скажет:

— Это оттого его ничем доконать нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь, и живет себе смирнехонько, весь опутанный пословицами, словно у Христа за пазушкой. Будь здоров, Коняга! Делай свое дело, бди!

Другой возразит:

— Ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь! Что такое здравый смысл? Здравый смысл — это нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в Коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит! И покуда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит!

Третий молвит:

— Какую вы, однако, галиматью городите! Жизнь духа,

дух жизни — что это такое, как не пустая перестановка бессодержательных слов? Совсем не потому Коняга неуязвим, а потому, что он «настоящий труд» для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своею личною совестью и с совестью масс и наделяет его тою устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить! Трудись, Коняга! Упирайся! загребай! и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда.

А четвертый (должно быть, прямо с конюшни от кабатчика) присовокупляет:

— Ах, господа, господа! всё-то вы пальцем в небо попадаете! Совсем не оттого нельзя Конягу донять, чтобы в нем особенная причина засела, а оттого, что он спокон веку к своей юдо́ли[1] привычен. Теперича хоть целое дерево об него обломай, а он все жив. Вон он лежит — кажется, и духу-то в нем нисколько не осталось, — а взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывертывать пошел. Кто к какому делу приставлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их, калек этаких, по полю разбрелось — и все как один. Калечьте их теперича сколько угодно — их вот ни на эстолько не убавится. Сейчас — его нет, а сейчас — он опять из-под земли выскочил.

И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами:

— Н-но, каторжный, шевелись!

Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется.

— Смотрите-ка, смотрите-ка! — закричат они вкупе и влюбе. — Смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает! Вот уж именно, дело мастера боится! Упирайся, Коняга! Вот у кого учиться надо! вот кому надо подражать! Н-но, каторжный, н-но!

1885 г.

---

[1] Юдоль — участь.



ПУТЕМ-ДОРОГОЮ

Разговор

Шли путем-дорогою два мужика: Иван Бодров да Федор Голубкин. Оба были односельчане и соседи по дворам, оба только что в весенний мясоед женились. С апреля месяца жили они в Москве в каменщиках и теперь выпросились у хозяина в побывку домой на сенокосное время. Предстояло пройти от железной дороги верст сорок в сторону, а этакую махину, пожалуй, и привычный мужик в одни сутки не оплетет.

Шли они не торопко, не надрываясь. Вышли ранним утром, а теперь солнце уж высоко стояло. Они отошли всего верст пятнадцать, как ноги уж потребовали отдыха, тем больше что день выдался знойный, душный. Но, высматривая по сторонам, не встретится ли стога сена, под которым можно было бы поесть и соснуть, они оживленно между собой разговаривали.

— Ты что домой, Иван, несешь? — спросил Федор.

— Да три пятишницы хозяин до расчета дал. Одну-то, признаться, в Москве еще на мелочи истратил, а две домой несу.

— И я тоже. Да только куда с двумя пятишницами повернешься?

— Тут и в пир и в мир, а отец велел сказать, что какая-то старая недоимка нашлась, так понуждают. Пожалуй, и все туда уйдет.

— А у нас и хлеба-то до нового не хватит. Пришел сенокос, руки-то целый день намахаешь, так поневоле есть запросишь. Ничего-то у нас нет, ни хлеба, ни соли, а тоже людьми считаемся. Говорят: вы — каменщики, в Москве работаете, у вас должны деньги значиться... А сколько их и по осени-то принесешь!

— Худо наше крестьянское житье! Нет хуже.

— Чего еще!

Путники вздохнули и несколько минут шли молча.

— Что-то теперь наши делают? — опять начал Федор.

— Что делают! Чай, навоз вывезли, пашут... и пашут, и боронят, и сеют; круглое лето около земли ходят, а все хлеба нет. Сряду три года — то вымокнет, то сухмень высушит, то градом побьет... Как-то нынче господь совершит!

— А у меня, брат, и еще горе. К Дуньке волостной старшина увязался; не дает бабе проходу, да и вся недолга. Свах с подарками засылает; одну батюшка вожжами поучил, так его же на три дня в холодную засадили.

— И ничего не поделаешь! Помнишь, как летось Прохорова Матренка задавилась? Тоже старшина... Терпела, терпела, да и в петлю...

— Нам худо, а бабам нашим еще того хуже. Мы, по крайности, в Москву сходим, на свет поглядим, а баба — куда она пойдет? Словно к тюрьме прикованная. Ноги и руки за лето иссекутся; лицо словно голенище черное сделается, и на человека-то не похоже. И всякий-то норовит ее обидеть да обозвать...

— Давай-ка, Федя, песню с горя споем!

Стали петь песню, но с горя и с устатку как-то не пелось.

— А что, Иван, я хотел тебя спросить: где Правда находится? — молвил Федор.

— И я тоже не однова́ спрашивал у людей: где, мол, Правда, где ее отыскать? А мне один молодой барин в Москве сказал, будто она на дне колодца сидит спрятана.

— Ишь ведь! Кабы так, давно бы наши бабы ее оттоле бадьями вытащили, — пошутил Федор.

— Известно, посмеялся надо мной барчук. Им что! Они и без Правды проживут. А нам Неправда-то оскомину набила.

— Старики сказывают, что дедушко Еремей еще при старом барине Правды искал; да Правда-то, вишь, изувечила его.

— Прежде многие Правду разыскивали; тяжельше, стало быть, жить было, да и сердце у стариков болело. Одна барщина сколько народу сгубила. В поле — смерть, дома — смерть, везде... Придет крестьянин о празднике в церковь, а там на всех стенах Правда написана, — только со стены-то ее не снимешь.

— Это правда твоя, что не снимешь. Что крестьянин? Он и видит, да глаз неймет. Темные мы люди, бессчастные; вздохнешь да поплачешь: господи, помилуй! — только и всего. И молиться-то мы не умеем.

— Прежде ходоки такие были, за мир стояли. Соберется, бывало, ходок, крадучись, в Петербург, а его оттоле по этапу...

— Все-таки прежде хоть насчет Правды лучше было. И старики детям наказывали: одолела нас Неправда, надо Правды искать. Батюшко сказывал: такое сердце у дедушки Еремея было, так и рвется за мир постоять! И теперь он на печи изувеченный лежит; в чем душа, а все об Правде твердит! Только нынче его уж не слушают.

— То-то, что легче, говорят, стало — оттого и Еремея не слушают. Кому нынче Правда нужна? И на сходке и в кабаке — везде нонче легость...

— Прежде господа рвали душу, теперь — мироеды да кабатчики. Во всякой деревне мироед завелся: рвет христианские души, да и шабаш.

— Возьмем хоть бы Василия Игнатьева — какие он себе хоромы на христианскую кровь взбо́дрил. Крышу-то красную за версту видно; сбо́к лавка, а он стоит в дверях да брюхо об косяк чешет.

— И все к нему с почтением. Старшина приедет — с ним вместе бражничает, долги его прежде казенных податей собирает; становой приедет — тоже у него становится. У него и щи с убоиной и водка. Летось молодой барин из Питера приезжал — сейчас: «Попросите ко мне Василия Игнатьича!.. Ну, что, Василий Игнатьич, всё ли подобру-поздорову? Хорошо ли торгуете? Чайку вместе попьемте.. вы, дескать, настоящий добрый русский крестьянин! Печетесь о себе, другим пример показываете... И ежели, мол, вам что нужно, так пишите ко мне в Петербург».

— Одворицу[1] выкупил да надел на семь душ! Совсем из мира[2] увольнился, сам барин.

— А теперь мир ему в ноги кланяется, как придет время подати вносить. Миром ему и сенокос убирают и хлеб жнут...

— Вот так легость! Нет, ты скажи, где же Правду искать?

— У бога она, должно быть. Бог ее на небо взял и не пущает.

Опять смолкли спутники, опять завздыхали. Но Федор верил, что не может этого статься, чтобы Правды не было на свете, и ему не по нраву было, что товарищ его относится к этой вере так легко.

— Нет, я попробую, — сказал он. — Я как приду, так сейчас же к дедушке Еремею схожу. Все у него выспрошу, как он Правду разыскивал.

— А он тебе расскажет, как его в части секли, как по этапу гнали да в Сибирь совсем было собрали, только барин вдруг спохватился: определить Еремея лесным сторожем! И сторожил он барские леса до самой воли[3], жил в трущобе, и никого не велено было пускать к нему. Нет, уж лучше ты этого дела не замай!

— Никак этого сделать нельзя. Возьми хоть Дуньку: как я приду, сейчас она мне все расскажет... Что ж, я столбом, что ли, перед ней стоять буду? Нет, тут и до смертного случая недалеко. Я ему кишки, псу несытому, выпущу!

— Ишь ведь! Все говорил об Правде, а теперь на кишки

[1] Одворица — земля, находящаяся около двора.
[2] Мир — сельская община.
[3] До самой воли — то есть до крестьянской реформы 1861 года.

своротил. Разве это Правда? Знаешь ли ты, что за такую Правду с тобой сделают?

— И пущай делают. По-твоему, значит, так и оставить. Приходите, мол, Егор Петрович: моя Дунька завсегда... Нет, это надо оставить! Сыщу я Правду, сыщу!

— Ах ты, жарынь какая! — молвил Иван, чтобы переменить разговор. — Скоро, поди, столб будет, а там деревенюшка. Туда, что ли, полдничать пойдем или в поле отдохнем?

Но Федор не мог уж угомониться и все бормотал: «Сыщу я Правду, сыщу!»

— А я так думаю, что ничего ты не сыщешь, потому что нет Правды для нас; время, вишь, не наступило! — сказал Иван. — Ты лучше подумай, на какие деньги хлеба искупить, чтоб до нового есть было что.

— К тому же Василию Игнатьеву пойдем, в ноги поклонимся! — угрюмо ответил Федор.

— И то придется; да десятину сенокоса ему за подожданье уберем! Батюшка, пожалуй, скажет: чем на платки жене да на кушаки третью пятишницу тратить, лучше бы на хлеб ее сберег.

— Терпим и холод и голод, каждый год всё ждем: авось будет лучше... доколе же? Ин и в самом деле Правды на свете нет! Так только, попусту, люди болтают: Правда, Правда... а где она?!

— Намеднись начетчик один в Москве говорил мне: Правда— у нас в сердцах; живите по правде — и вам и всем хорошо будет.

— Сыт, должно быть, этот начетчик, оттого и мелет.

— А может, и господа набаловали. Простой, дескать, мужик, а какие речи говорит! Ему-то хорошо, так он и забыл, что другим больно.

В это время навстречу путникам мелькнул полусгнивший верстовой столб, на котором едва можно было прочитать: «От Москвы 18, от станции Рудаки 3 версты».

— Что ж, в поле отдохнем? — спросил Иван. — Вон и стожок близко.

— Известно, в поле, а то где ж? В деревне, что ли, харчиться?

Товарищи свернули с дороги и сели под тенью старого, накренившегося стога.

— Есть же люди, — заметил Иван, снимая лапти, — у которых еще старое сено осталось. У нас и солому-то с крыш по весне коровы приели.

Начали полдничать: добыли воды да хлеб из мешков вынули — вот и еда готова. Потом вытащили из стога по охапке сена и улеглись.

— Смотри, Федя, — молвил Иван, укладываясь и позевывая. — во все стороны сколько простору! Всем место есть, а нам...

1886 г.





ПРИКЛЮЧЕНИЕ С КРАМОЛЬНИКОВЫМ

Сказка-элегия

Однажды утром, проснувшись, Крамольников совершенно явственно ощутил, что его нет. Еще вчера он сознавал себя сущим; сегодня вчерашнее *бытие* каким-то волшебством превратилось в *небытие*. Но это небытие было совершенно особого рода. Крамольников торопливо ощупал себя, потом произнес вслух несколько слов, наконец посмотрел в зеркало; оказалось, что он — тут, налицо и что, в качестве ревизской души[1], он существует в том же самом виде, как и вчера. Мало того: он попробовал мыслить — оказалось, что и мыслить он может... И за всем тем, для него не подлежало сомнению, что его нет. Нет того *не-ревизского* Крамольникова, каким он сознавал себя накануне. Как будто бы перед ним

[1] Ревизская душа — крепостной крестьянин.

захлопнулась какая-то дверь или завалило впереди дорогу и ему некуда и незачем идти.

Переходя от одного предположения к другому и в то же время с любопытством всматриваясь в окружающую обстановку, он взглянул мимоходом на лежавшую на письменном столе начатую литературную работу, и вдруг все его существо словно электрическая струя пронизала...

Не нужно! не нужно! не нужно!

. . . .

Сначала он подумал: какой вздор! — и взялся за перо. Но когда он хотел продолжать начатую работу, то сразу убедился, что, действительно, ему предстоит провести черту и под нею написать: *Не нужно!!*

Он понял, что все оставалось по-прежнему, — только душа у него запечатана[1]. Отныне он волен производить свойственные ревизской душе отправления; волен, пожалуй, мыслить; но все это ни к чему. У него отнято главное, что составляло основу и сущность его жизни: отнята та лучистая сила, которая давала ему возможность огнем своего сердца зажигать сердца других.

Он стоял изумленный; смотрел и не видел; искал и не находил. Что-то бесконечно мучительное жгло его внутренности... А в воздухе, между тем, носился нелепо-озорной шепот: «поймали, расчухали, уличили!»

— Что такое? что такое случилось?

Положительно, душа его была запечатана. Как у всякого убежденного и верящего человека, у Крамольникова был внутренний храм, в котором хранилось сокровище его души. Он не прятал этого сокровища, не считал его своею исключительною собственностью, но расточал его. В этом, по его мнению, замыкался весь смысл человеческой жизни. Без этой деятельной силы, которая, наделяя человека потребностью источать из себя свет и добро, в то же время делает его способным воспринимать свет и добро от других, — человеческое общество уподобилось бы кладбищу. Это было бы не общество, а склад трупов... И вот теперь трупный период для него на-

[1] «Только душа у него запечатана». — Здесь имеется в виду закрытие царским правительством 20 апреля 1884 года журнала «Отечественные записки», который редактировался Щедриным в течение многих лет.

ступил. Обмену света и добра пришел конец. И сам он, Крамольников, — труп, и те, к которым он так недавно обращался, как к источнику живой воды для своей деятельности, — тоже трупы... Никогда, даже в воображении, не представлял он себе несчастия столь глубокого.

Крамольников был коренной пошехонский литератор, у которого не было никакой иной привязанности, кроме читателя, никакой иной радости, кроме общения с читателем. Читатель не олицетворялся для него в какой-нибудь материальной форме и, тем не менее, всегда предстоял перед ним. В этой привязанности к отвлеченной личности было что-то исключительное, до болезненности страстное. Целые десятки лет она одна питала его и с каждым годом делалась все больше и больше настоятельною. Наконец пришла старость, и все блага жизни, кроме одного, высшего и существеннейшего, окончательно сделались для него безразличными, ненужными...

И вдруг, в эту минуту, — рухнуло и последнее благо. Разверзлась темная пропасть и поглотила то «единственное», которое давало жизни смысл...

В литературном цехе такие, направленные исключительно в одну сторону, личности по временам встречаются. Смолоду так односторонне слагается их жизнь, что какие бы случайности ни сталкивали их с фаталистически обозначенной колеи, уклонение никогда не бывает ни серьезно, ни продолжительно. Под грудами наносного хлама продолжает течь настоящая жильная струя. Все разнообразие жизни представляется фиктивным; весь интерес ее сосредотачивается в одной светящей точке. Никогда они не дают себе отчета в том, какого рода случайности ждут на пути, никогда не предусматривают, не стараются обеспечить тыл, не предпринимают разведок, не справляются с бывшими примерами. Не потому, чтобы проходящие перед ними явления и зависимость их от этих явлений были для них неясны, а потому, что никакие предвидения, никакие справки ни на йоту не могут видоизменить те функции, прекращение которых было бы равносильно прекращению бытия. Нужно убить человека, чтобы эти функции прекратились.

Неужели именно это убийство и совершилось теперь, в эту загадочную минуту? Что такое случилось? Тщетно искал он ответа на этот вопрос. Он понимал только одно, что его со всех сторон обступает зияющая пустота.

Крамольников горячо и страстно был предан своей стране и отлично знал как прошедшее, так и настоящее ее. Но это знание повлияло на него совершенно особенным образом: оно было живым источником болей, которые, непрерывно возобновляясь, сделались наконец главным содержанием его жизни, дали направление и окраску всей его деятельности. И он не только не старался утишить эти боли, а, напротив, работал над ними и оживлял их в своем сердце. Живость боли и непрерывное ее ощущение служили источником живых образов, при посредстве которых боль передавалась в сознание других.

Знал он, что пошехонская страна исстари славилась непостоянством и неустойчивостью, что самая природа ее — какая-то не заслуживающая доверия. Реки расползлись вширь и что ни год, то меняют русло, пестрея песчаными перекатами. Атмосферические явления поражают внезапностью, похожею на волшебство: сегодня — жара, хоть рубашку выжми, завтра — та же рубашка коло́м стоит на обывательской спине. Лето короткое, растительность бедная, болота неоглядные... Словом сказать — самая неспособная, предательская природа, такая, что никаких дел загадывать вперед не приходится.

Но еще более непостоянны в Пошехонье судьбы человеческие. Смерд[1] говорит: от сумы да от тюрьмы не открестишься; посадский человек[2] говорит: барыши наши на воде вилами писаны; боярин говорит: у меня вчера уши выше лба росли, а сегодня я их вовсе сыскать не могу. Нет связи между вчерашним и завтрашним днем! Бродит человек словно по Чуровой долине[3]: пронесет бог — пан, не пронесет — пропал.

Какая может быть речь о совести, когда все кругом изменяет, предательствует? На что обопрется совесть? На чем она воспитается?

Знал все это Крамольников, но, повторяю, это знание оживляло боли его сердца и служило отправным пунктом его деятельности. Повторяю: он глубоко любил свою страну, любил ее бедноту, наготу, ее злосчастие. Быть может, он

[1] Смерд — крестьянин в Древней Руси.

[2] Посадский человек — торговый промышленник в Древней Руси.

[3] Чурова долина — сказочная долина.

усматривал впереди чудо, которое уймет снедавшую его скорбь.

Он верил в чудеса и ждал их. Воспитанный на лоне волшебств, он незаметно для самого себя подчинился действию волшебства и признал его решающим фактором пошехонской жизни. В какую сторону направит волшебство свое действие? — в этом весь вопрос... К тому же и в прошлом не все была тьма. По временам мрак редел, и в течение коротких просветов пошехонцы, несомненно, чувствовали себя бодрее. Это свойство расцветать и ободряться под лучами солнца, как бы ни были они слабы, доказывает, что для всех вообще людей свет представляет нечто желанное. Надо поддерживать в них эту инстинктивную жажду света, надо напоминать, что жизнь есть радование, а не бессрочное страдание, от которого может спасти лишь смерть. Не смерть должна разрешить узы, а восстановленный человеческий образ, просветленный и очищенный от тех посрамлений, которые наслоили на нем века подъяремной неволи. Истина эта так естественно вытекает из всех определений человеческого существа, что нельзя допустить даже минутного сомнения относительно ее грядущего торжества. Крамольников верил в это торжество и всего себя отдал напоминаниям об нем.

Все силы своего ума и сердца он посвятил на то, чтобы восстановлять в душах своих присных представление о свете и правде и поддерживать в их сердцах веру, что свет придет и мрак его не обнимет. В этом собственно заключалась задача всей его деятельности.

Действительно, волшебство не замедлило вступить в свои права. Но не то благотворное волшебство, о котором он мечтал, а заурядное, жестокое пошехонское волшебство.

Не нужно! не нужно! не нужно!

К чести Крамольникова, должно сказать, что он ни разу не задался вопросом: за что? Он понимал, что при полном отсутствии винословности[1] подобного рода вопрос не только неуместен, но прямо свидетельствует о слабодушии вопрошающего. Он даже не отрицал нормальности настигшего его факта, — он только находил, что нормальность в настоящем случае заявила себя чересчур уже жестоко и резво. Не раз

[1] Винословность — виновность.

приходилось ему, в течение долгого литературного пути, играть роль anima vilis[1] перед лицом волшебства, но до сих пор последнее хоть душу его оставляло нетронутою. Теперь оно эту душу отняло, скомкало и запечатало, и как ни привычны были Крамольникову капризы волшебства, но на этот раз он почувствовал себя изумленным. Весь он был словно расшиблен, везде, во всем существе, ощущал жгучую и совсем новую боль.

И вдруг он вспоминал о «читателе». До сих пор он отдавал читателю все силы вполне беззаветно; теперь в его сердце впервые шевельнулось смутное чаянье отклика, сочувствия, помощи...

И его инстинктивно потянуло на улицу, как будто там его ожидало какое-то разъяснение.

Улица имела обыкновенный пошехонский вид. Крамольникову показалось, что перед глазами его расстилается немое, слепое и глухое пространство. Только камни вопияли. Люди сновали взад и вперед осторожно и озираясь, точно шли воровать. Только эта струна и была живая. Все прочее было проникнуто изумлением, почти остолбенением. Однако ж Крамольникову сгоряча показалось, что даже эта немая улица нечто *знает*. Ему этого так страстно хотелось, что он вопль камней принял за вопль людей. Тем не менее отчасти он не ошибался. Действительно, там и сям раздавалось развязное гуденье. То было гуденье либералов, недавних друзей его. Одних он обгонял, другие шли навстречу. Но, увы! никакого оттенка участия не виделось на их лицах. Напротив, на них уже успела лечь тень отступничества.

— Однако! похоронили-таки вас, голубчик! живо! — сказал один. — Строгонько, сударь, строгонько! Ну, да ведь тоже и вы... нельзя этого, мой друг; я вам давно говорил, что нельзя! Терпели вас, терпели, — ну, наконец...

— Но что же такое «наконец»?

— Да просто «наконец» — и все тут! Скучно стало. Нынче не разговаривать нужно, а взирать и, буде можно, — усматривать. Вам, сударь, следовало самому заранььше догадаться; а ежели вам претило присоединиться от полноты души, — ну, так хоть слегка бы: разбирайте, мол, каков я там... внутри! А то все сплеча! все сплеча! Ну, и надоело. Я и сам —

[1] Низшего организма (*лат.*).

разве, вы думаете, мне сладко? Не со вчерашнего дня, чай, меня знаете! Однако и я поразмыслил да посоветовался с добрыми людьми... Господи, благослови... Бух!

Другой сказал:

— Да, любезный друг, жаль вас, очень жаль! Приятно было почитать. Улыбнешься, вздохнешь, а иногда и дельное что-нибудь отыщешь... Даже приятелям, бывало, спешишь сообщить. В канцеляриях цитировали. У меня был знакомый, который наизусть многое знал. Но, с другой стороны, есть всему и предел. Настали времена, когда понадобилось другое; вы должны были понять это, а не дожидаться, пока вас прихлопнут. Что такое это «другое» — выяснится потом, но не теперь... Вот я, вслед за другими, смотрел-смотрел, да и говорю жене: надо же! Ну, и она говорит: надо! Я и решился.

— На что же вы решились?

— Да просто — идти общим торным путем. Не заглядываясь по сторонам, не паря ввысь, не думая о широких задачах... Помаленьку да полегоньку. Оно скучненько и серенько, положим, но ведь, с одной стороны, блистать-то нам не по плечу, а с другой стороны — семейство. Жена принарядиться любит, повеселиться... Сам тоже: имеешь положение в свете, связи, знакомства; видишь, как другие вперед да вперед идут, — неужто же все потерять? Вы думаете, я так-таки навсегда... нет, я тоже с оговорочкой. Придут когда-нибудь и лучшие времена... Вот, например, ежели Николай Семеныч... Кормило-то, батюшка, нынче... Сегодня Иван Михайлыч, а завтра Николай Семеныч... Ну, тогда и опять...

— Да ведь Николай-то Семеныч — вор!

— Вор! Ах, как вы жестоко выражаетесь!

Наконец третий просто напрямки крикнул на него:

— И за дело! Будет с вас! Вы, сударь, не только себя, но и других компрометируете — вот что! Я из-за вас вчера объяснение имел, а нынче и не знаю, есмь я или не есмь! А какое вы имеете право, позвольте вас спросить? «В приятельских отношениях с господином Крамольниковым, — говорит, — а посему...» Я — туда-сюда. «Какие же, — говорю, — это приятельские отношения, вашество? так, буфон[1] — отчего же

[1] Буфон — здесь: шутка, забава.

после трудов и не посмеяться!» Ну, дали покамест двадцать четыре часа на размышление, а там что будет. А у меня, между тем, семья, жена, дети... Да и сам я в поле не обсевок... Можно ли было этого ожидать! Повторяю: какое вы имеете право? ах-ах-ах!

Крамольников не счел нужным продолжать беседу и пошел дальше. Но так как на пути его стоял дом, в котором жил давний его однокашник, то он и зашел к нему, думая хоть тут отвести душу.

Лакей принял его радушно: по-видимому, он ничего еще не знал. Он сказал, что Дмитрия Николаича нет дома, а Аглая Алексеевна в гостиной. Крамольников отворил дверь, но едва переступил порог гостиной, как сидевшая в ней дама взвизгнула и убежала. Крамольников отретировался.

Наконец он вспомнил, что на Песках живет старый его сослуживец (Крамольников лет пятнадцать назад тоже служил в департаменте Грешных Помышлений), Яков Ильич Воробушкин. Человек этот был большой почитатель Крамольникова и служил неудачно. С лишком десять лет тянул он лямку столоначальника, не имея в перспективе никакого повышения и при каждой перемене веяния дрожа за свое столоначальничество. Робкий и неискательный от природы, он и на частной службе приютиться не мог. Как-то с самого начала он устроил себя так, что ему самому казалось странным чего-нибудь искать, подавать записки об уничтожении и устранении, слоняться по передним и лестницам и т. д. Раз только он подал записку о необходимости ободрить нищих духом; но директор, прочитав ее, только погрозил ему пальцем, и с тех пор Воробушкин замолчал. В последнее время, однако ж, он начал смутно надеяться: стал ходить в ту самую церковь, куда ходил его начальник, так что последний однажды подарил ему половину заздравной просфоры (донышко) и сказал: «Очень рад!» Таким образом, дело его было уже на мази, как вдруг...

Крамольникову отворила дверь старая нянька, сзади которой, из внутренних дверей, выглядывали испуганные лица детей. Нянька была сердита, потому что нежданный посетитель помешал ей ловить блох. Она напрямки отрезала Крамольникову:

— Нет Якова Ильича дома; его из-за вас к начальнику

позвали, и жив он теперь или нет — неизвестно; а барыня в церкву молиться ушли.

Крамольников стал спускаться по лестнице, но едва сделал несколько шагов, как встретил самого Воробушкина.

— Крамольников! простите меня, но я не могу поддерживать наши старые отношения! — сказал Воробушкин взволнованным голосом. — На этот раз, впрочем, я, кажется, оправдался, но и то наверное поручиться не могу. Директор так и сказал: «На вас неизгладимое пятно!» А у меня жена, дети! Оставьте меня, Крамольников! Простите, что я такой малодушный, но я не могу.

. . . .

Крамольников воротился домой удрученный, почти испуганный.

Что отныне он был осужден на одиночество — это он сознавал. Не потому он был одинок, что у него не было читателя, который ценил, а быть может, и любил его, а потому, что он утратил всякое общение с *своим* читателем. Этот читатель был далеко и разорвать связывающие его узы не мог. Напротив, был другой читатель, ближний, который во всякое время имел возможность зажалить Крамольникова до смерти. Этот остался налицо и нагло выражал, что самая немота Крамольникова ему ненавистна.

Смутно проносилось в его уме, что во всех отступничествах, которых он был свидетелем, кроется не одно личное предательство, а целый подавляющий порядок вещей. Что все эти вчерашние свободные мыслители, которые еще недавно так дружелюбно жали ему руки, а сегодня чураются его, как чумы, делают это не только страха ради иудейска, но потому, что их придавило.

Их придавила жажда жизни; а так как жажда эта вполне законна и естественна, то Крамольникову становилось страшно при этой мысли. «Неужто, — спрашивал он себя, — для того, чтобы удержать за собой право на существование, нужно пройти сквозь позорное и жестокое иго? Неужто в этом загадочном мире только то естественно, что идет вразрез с самыми заветными и дорогими стремлениями души?»

Или опять: почти всякий из недавних его собеседников ссылался на семью; один говорил: «жена принарядиться любит»; другой: «жена» — и больше ничего... Но особенно тяж-

ко выходило это у Воробушкина. Семья ему душу рвала. Вероятно, он лишал себя всего, плохо ел, плохо спал, добывал на стороне работишку — все ради семьи. И за всем тем, добывал так мало, что только самоотверженность Лукерьи Васильевны (жены Воробушкина) помогала переносить эту нужду. И вот, ради этого малого, ради нищенской подачки...

Что же это такое? Что такое семья? Как устроиться с семейным началом? Как сделать, чтобы оно не было для человека египетской язвой, не тянуло его во все стороны, не мешало быть гражданином?

Крамольников думал-думал, и вдруг словно кольнуло его.

«Отчего же, — говорил ему внутренний голос, — эти жгучие вопросы не представлялись тебе так назойливо *прежде*, как представляются *теперь?* Не оттого ли, что ты был прежде раб, сознававший за собой какую-то мнимую силу, а теперь ты раб бессильный, придавленный? Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался? Отчего ты подчинял себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно?

Из-под пера твоего лился протест, но ты облекал его в такую форму, которая делала его мертворожденным. Все, против чего ты протестовал, — все это и поныне стоит в том же виде, как и до твоего протеста.

Твой труд был бесплоден. Это был труд адвоката, у которого язык измотался среди опутывающих его лжей. Ты протестовал, но не указал ни того, что нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие. Но это было пленное раздражение мысли, — раздражение, положим, доброе, но все-таки только раздражение. Ты даже тех людей, которые сегодня так нагло отвернулись от тебя, — ты и их не сумел понять. Ты думал, что *вчера* они были иными, нежели *сегодня*.

Правда, ты неспособен идти следом за этими людьми; ты неспособен изменить тем добрым раздражениям, которые с молодых ногтей вошли тебе в плоть и кровь. Это, конечно, зачтется тебе... где и когда? Но теперь, когда тебя со всех сторон обступила старость, с ее недугами, рассуди сам, что тебе предстоит?..»

Post scriptum[1] *от автора.* Само собой разумеется, что все написанное выше — не больше, как сказка. Никакого Крамольникова нет и не было; отступники же и переметные сумы водились во всякое время, а не только в данную минуту. А так как и во всем остальном все обстоит благополучно, то не для чего было и огород городить, в чем автор и кается чистосердечно перед читателями.

1886 г.

---

[1] Приписка *(лат.)*.





СКАЗКА О РЕТИВОМ НАЧАЛЬНИКЕ, КАК ОН СВОИМ УСЕРДИЕМ ВЫШНЕЕ НАЧАЛЬСТВО ОГОРЧИЛ

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был ретивый начальник. Случилось это давно, еще в ту пору, когда промежду начальников такое правило было: стараться как можно больше вреда делать, а уж из сего само собой впоследствии польза произойдет.

— Обывателя надо сначала скрутить, — говорили тогдашние генералы, — потом в бараний рог согнуть, а наконец, в отделку, ежовой рукавицей пригладить. И когда он вышколится, тогда уж само собой постепенно отдышится и процветет.

Правило это ретивый начальник без труда на носу у себя зарубил. Так что когда он впоследствии «вверенный край» в награду за понятливость получил, то у него уж и программа

была припасена. Сначала он науки упразднит, потом город спалит и наконец население испугает. И всякий раз будет при этом слезы проливать и приговаривать: «Видит бог, что я сей вред для собственной ихней пользы делаю!» Годик-другой таким образом попалит — смотришь, ан вверенный-то край и остепеняться помаленьку стал. Остепенялся да остепенялся — и вдруг каторга!

Каторга, то есть общежитие, в котором обыватели не в свое дело не суются, пороху не выдумывают, передовых статей не пишут, а живут и степенно блаженствуют. В будни работу работают, в праздники — за начальство богу молят. И оттого у них все как по маслу идет. Наук нет — а они хоть сейчас на экзамен готовы; вина не пьют, а питейный доход возрастает да возрастает; товаров из-за границы не получают, а пошлины на таможнях поступают да поступают. А он, ретивый начальник, только смотрит да радуется: бабам по платку дарит, мужикам — по красному кушаку.

— Вот какова *моя* каторга! — говорит. — Вот зачем я науки истреблял, людей калечил, город огнем палил! Теперь понимаете?

— Как не понимать — понимаем.

В этой надежде приехал он в свое место и начал вредить. Вредит год, вредит другой. Народное продовольствие — прекратил, народное здравие — упразднил, письмена́ — сжег и пепел по ветру развеял. На третий год стал себя проверять — что за чудо! — надо бы, по-настоящему, вверенному краю уж процвести, а он даже остепеняться не начинал! Как ошеломил он с первого абцуга обывателей, так с тех пор они распахня рот и ходят...

Задумался ретивый начальник, принялся разыскивать: какая тому причина?

Думал-думал, и вдруг его словно свет озарил. «Рассуждение» — вот причина. Стал он припоминать разные случаи и чем больше припоминал, тем больше убеждался, что хоть и много он навредил, но до *настоящего* вреда, до такого, который бы всех сразу прищемил, все-таки не дошел. А не дошел потому, что этому препятствовало «рассуждение». Сколько раз с ним бывало: разбежится, размахнется, закричит: «разнесу!» — ан вдруг «рассуждение»: какой же ты, братец, осел! — Ну, он и спасует. А кабы не было у него «рассуждения», он бы давно уж до каторги дело довел.

— Давно бы вы у меня отдышались! — крикнул он не своим голосом, сделавши это открытие.

И погрозил кулаком в пространство, думая хоть этим посильную пользу вверенному краю принести.

На его счастье, жила в этом городе колдунья, которая на кофейной гуще будущее отгадывала, а между прочим умела и «рассужденье» отнимать. Побежал он к ней, кричит: отымай! Видит колдунья, что дело к спеху, живым манером сыскала у него в голове дырку и подняла клапанчик. Вдруг что-то из дырки свистнуло... шабаш! Остался наш парень без рассуждения...

Разумеется, очень рад. Стал есть — куска до рта донести не может, все мимо. Хохочет.

Сейчас побежал в присутственное место. Стал посредине комнаты и хочет вред сделать. Только хотеть-то хочет, а какой именно вред и как к нему приступить — не понимает. Таращит глазами, губами шевелит — больше ничего. Однако так он одним своим нерассудительным видом всех испугал, что разом все разбежались. Тогда он ударил кулаком по столу, расколол его и убежал.

Прибежал в поле. Видит — люди пашут, боронят, косят, гребут. Знает, сколь необходимо сих людей в рудники заточить, а каким манером — не понимает. Вытаращил глаза, отнял у одного пахаря косулю[1] и разбил вдребезги, но только что бросился к другому пахарю, чтоб борону разнести, как все испугались, и в одну минуту поле опустело. Тогда он разметал только что сметанный стог сена и убежал.

Воротился в город. Знает, что надобно его с четырех концов запалить, а каким манером — не понимает. Вынул, по привычке, из кармана коробочку спичек, чиркает, да не тем концом. Взбежал на колокольню и стал бить в набат. Звонит час, звонит другой, а что за причина — не понимает. А народ, между тем, сбежался, спрашивает: «Где, батюшко, где?» Наконец устал звонить, сбежал вниз, опять вынул коробку со спичками, зажег их все разом и только было ринулся в толпу, как все мгновенно брызнули в разные стороны, и он остался один. Тогда побежал домой и заперся на ключ.

Сидит неделю, сидит другую; вреда не делает, а только

[1] Косуля — здесь: вид сохи, отваливающей землю только на одну сторону.

не понимает. И обыватели тоже не понимают. Тут-то бы им и отдышаться, покуда он без вреда запершись сидел, а они вместо того испугались. Да нельзя было и не испугаться. До тех пор всё вред был, и все от него пользы с часу на час ждали; но только что было польза наклевываться стала, как вдруг все кругом стихло: ни вреда, ни пользы. И чего от этой тишины ждать — неизвестно. Ну, и оторопели. Бросили работы, попрятались в норы, азбуку позабыли, сидят и ждут.

А у него, между тем, опять рассуждение прикапливаться стало. Однажды выглянул он в окошко и как будто понял.

— Кажется, я одним своим нерассудительным видом *настоящий* вред сделал! — воскликнул он и стал ждать: вот сейчас соберутся перед домом обыватели и будут каторги просить.

Но сколько он ни ждал, никто не пришел. По-видимому, всё уже у него начеку: и поля заскорбли, и реки обмелели, и стада сибирская язва посекла, и письменá пропали — еще одно усилие, и каторга готова! Только вопрос: с кем же он устроит ее, эту каторгу? Куда он ни посмотрит — везде пусто; только «мерзавцы», словно комары на солнышке, стадами играют. Так ведь с ними с одними и каторгу устроить нельзя. Потому что и для каторги не ябедник праздный нужен, а коренной обыватель, работяга, смирный.

Рассердился. Вышел на улицу, стал в обывательские норы залезать и поодиночке народ оттоле вытаскивать. Вытащит одного — приведет в изумление; вытащит другого — тоже в изумление приведет. Но тут опять беда. Не успеет до крайней норы дойти — смотрит, ан прежние опять в норы уползли...

Тогда он вспомнил, что когда он еще ребенком был, то воспитатель-француз (из эмигрантов) говаривал: буде хочешь отечество подкузьмнть — призови на помощь «мерзавцев».

Обрадовался, созвал «мерзавцев» и сказал им:

— Пишите, мерзавцы, доносы!

И вдруг пошла во всем крае суматоха. Кому горе, а «мерзавцам» радость. Кружатся, галдят, играют; с утра до вечера пир горой. Одни пишут доносы, другие вредные проекты сочиняют, третьи об оздоровлении ходатайствуют. «Не хлеба нам надобно, а шпицрутенов![1]» — вопиют. И все эти вопли

[1] Шпицрутены — длинные прутья или палки, которыми били наказываемых солдат, проводя их «сквозь строй».

ихние, полуграмотные, вонючие, к ретивому начальнику в кабинет ползут. А он читает и ничего не понимает: «Необходимо поначалу в барабаны бить и от сна обывателей внезапно пробуждать...» Почему? «Необходимо обывателей во всегдашнем изумлении содержать...» На какой предмет? «Необходимо вновь закрыть Америку...» Но, кажется, сие от меня не зависит? Словом сказать, начитался и нанюхался по горло, а ни одной резолюции положить не мог.

Горе тому граду, в котором начальник без расчету резолюциями сыплет, но еще горше, когда начальник совсем никакой резолюции положить не может!

Снова он собрал «мерзавцев» и говорит им:

— Сказывайте, мерзавцы, в чем, по вашему мнению, настоящий вред состоит?

И ответили ему «мерзавцы» единогласно:

Дотоле, по нашему мнению, *настоящего* вреда не получится, доколе наша программа вся, во всех частях, выполнена не будет. А программа наша вот какова. Чтобы мы, мерзавцы, говорили, а прочие чтобы молчали. Чтобы наши, мерзавцев, затеи и предложения принимались немедленно, а прочих желания чтобы оставлялись без рассмотрения. Чтоб нам, мерзавцам, жить было повадно, а прочим всем чтоб ни дна, ни покрышки не было. Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холе и в неженье, а прочих всех — в кандалах. Чтобы нами, мерзавцами, сделанный вред за пользу считался, а прочими всеми если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы считалась. Чтобы об нас, об мерзавцах, никто слова сказать не смел, а мы, мерзавцы, о ком вздумаем, что хотим, то и лаем! Вот коли все это неукоснительно выполнится, тогда и вред настоящий получится.

Выслушал он эти «мерзавцевы» речи, и хоть очень наглость ихняя ему не по нраву пришлась, однако видит, что люди на правой стезе стоят, — делать нечего, согласился.

— Ладно, — говорит, — принимаю вашу программу, господа мерзавцы. Думаю, что вред от нее будет изрядный, но достаточный ли, чтоб вверенный край от него процвел, — это еще бабушка надвое сказала!

Распорядился «мерзавцевы» речи на досках написать и ко всеобщему сведению на площадях вывесить, а сам встал у окошка и ждет, что будет. Ждет месяц, ждет другой; видит: рыскают «мерзавцы», сквернословят, грабят, друг дружку

за горло рвут, а вверенный край никак-таки процвести не может! Мало того: обыватели до того в норы уползли, что и достать их оттуда нет средств. Живы ли, нет ли — голосу не подают.

Тогда он решился. Вышел из ворот и пошел прямиком. Шел-шел и пришел в большой город, в котором вышнее начальство резиденцию имело.

Смотрит — и не верит глазам своим! Давно ли в этом самом городе «мерзавцы» на всех перекрестках программы выкрикивали, а «людишки» в норах хоронились — и вдруг теперь все наоборот! Людишки без задержки по улицам ходят, а «мерзавцы» в норах попрятались!

Куда ни взглянет — везде благорастворение воздухов и изобилие плодов земных. Зайдет в трактир — никогда, сударь, так бойко не торговали! Заглянет в калашную — никогда столько калачей не пекли! Завернет в бакалейную лавку — икры, сударь, наготовиться не можем! Сколько привезут, столько сейчас и расхватают!

— Что за причина? — спрашивает он у знакомых и незнакомых. — Какой такой *настоящий* вред вам учинен, от которого вы вдруг так ходко пошли?

— Не от вреда это, — отвечают ему, — а напротив. Новое начальство у нас нынче; оно все вреды упразднило. От этого так у нас и хорошо.

Отправился ретивый начальник по начальству. Видит: дом, где начальник живет, новой краской выкрашен; швейцар — новый, курьеры — новые. А наконец, и сам начальник — с иголочки. От прежнего начальника вредом пахло, а от нового — пользою. Прежний начальник сопел, новый — соловьем щелкает. Улыбается, руку жмет, садиться просит, о благосостоянии вверенного края осведомляется: «Как у вас там... фабрики-заводы, пчеловодство, скотоводство... надеюсь?»... Ангел!

Делать нечего, стал он докладывать. И что дальше докладывает, то гаже выходит. Так, мол, и так, сколько ни делал вреда, а пользы ни на грош из того не вышло. Не может отдышаться вверенный край, да и шабаш.

— Повторите! — не понял новый начальник.

— Так и так. Никаким манером до *настоящего* вреда дойти не могу!

— Что такое вы говорите?

Оба разом встали и смотрят друг на друга. И вдруг новый начальник вспомнил, что он сам сколько раз в этом смысле для своего предместника циркуляры изготовлял.

— Ах, так вы вот об чем! — расхохотался он. — Но ведь мы уж эту манеру оставили! Нынче мы вреда не делаем, а только пользу. Ибо *невозможно в реку нечистоты валить и ожидать, что от сего вода в ней слаще будет*. Зарубите это себе на носу.

Воротился ретивый начальник в вверенный край, и с тех пор у него на носу две зарубки. Одна (старая) гласит: «Достигай пользы посредством вреда»; другая (новая): «Ежели хочешь пользу отечеству сделать, то...» Остальное на носу не уместилось.

Но иногда он принимает одну зарубку за другую. Тогда выходит так: что ел, что кушал — все едино.

1882 г.



ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ

I

Перед нами суровый старик, проницательно и строго всматривающийся в людей, в окружающую действительность; в его больших, несколько выпуклых глазах живет пламенная, непреклонная воля, страстная, требовательная мысль, проникающая далеко вперед, в будущее; открытый лоб прорезан между бровей резкой складкой, увеличивающей то впечатление мощной, сосредоточенной решительности и целеустремленности, которое вызывают эти замечательные, навсегда остающиеся в памяти черты.

Таков облик великого русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, сохраненный для нас воспоминаниями современников и лучшими из имеющихся портретов и фотографий.

Щедрин был страстным борцом за интересы народных масс. Решительно и смело выступал он против угнетателей народа, неопровержимо доказывая их внутреннее ничтожество и историческую обреченность. Оружием Щедрина была литература, которой он, по собственному выражению, был предан «страстно и исключительно». В литературе он видел, прежде всего, могучее средство пропаганды передовых идей. «Литература и пропаганда — одно и то же», — заявлял Щедрин.

К деятельности Щедрина с полным правом могут быть отнесены следующие слова А. И. Герцена: «Литература у

народа, политической свободы не имеющего, — единственная трибуна, с высоты которой он может заставить услышать крик своего негодования и своей совести».

В 70—80-х годах XIX века, в пору полного расцвета творчества Щедрина, революционные организации, боровшиеся за свободу, загонялись царским правительством в подполье; собрания, митинги, демонстрации преследовались и подавлялись. В такой обстановке передовая литература действительно стала политической трибуной.

Борьба, которую вел Щедрин, была суровой, мучительно трудной и опасной. Она требовала напряжения всех сил, глубокой проницательности, страстной стойкости и идейной последовательности. Ей отдавал он все свои силы, помыслы и чувства.

Именно эти черты деятельности Щедрина — его стойкость и неустрашимость, его постоянная борьба с реакцией, преследовавшей и травившей его, — отразились в картине, подпольно выпущенной в Москве в 80-х годах XIX века и распространявшейся в многочисленных фотографических снимках. Она изображает Щедрина, выходящего глубокой ночью из дремучего леса. Писатель крепко прижимает к груди книжку «Отечественных записок» — передового демократического журнала, который он редактировал.

Лес кишит гадами и чудовищами, преследующими писателя; в их числе и «торжествующая свинья» реакции, опоясанная шашкой полицейского. Писатель идет вперед по тропинке, ведущей к просвету. Между деревьями виден работающий в поле крестьянин. Под картиной было помещено четверостишие:

Тяжелый путь... но близок час рассвета,
И солнца блеск зарделся в небесах.
Его лучом живительным согрета,
Проснется жизнь и тьму рассеет впрах...

Щедрин называл эту картину «дорогим подарком» и считал, что «такого сходного портрета... во всяком случае, не имел и не видел». Говоря так, Щедрин имел в виду, очевидно, не внешнее сходство, а, прежде всего, то, что картина верно отражала тяжелую и опасную обстановку, в которой протекали его литературная деятельность и идейная политическая борьба.

Щедрин в своем творчестве выступал, как судья, как прокурор от лица народа, разоблачавший и обвинявший всех его угнетателей. Обвинения, которые Щедрин предъявлял самодержавно-крепостническому строю, основывались на глубоком изучении русской жизни и были поэтому точными, вескими и неопровержимыми.

Огромная сила и бодрость духа были присущи Щедрину. Он ненавидел и презирал эксплуататоров народа, их господство доставляло ему мучительные страдания, но он умел смеяться им в лицо.

Современники в своих воспоминаниях сохранили нам образ Щедрина-рассказчика. Великий писатель почти всегда оставался серьезным, но слушатели хохотали неудержимо, несмотря на то, что сам он бывал этим недоволен.

Щедрин для предмета своего негодования находил необычайно смешные положения, тем самым разоблачая, унижая и выставляя на всенародное посмешище тех, против кого были направлены его сатира и юмор.

При этом сатира Щедриыа всегда была идейно-целеустремленной, он не знал смеха, который служит только для забавы и развлечения.

Так, например, в «Истории одного города» великий сатирик изобразил градоначальника, у которого вместо головы — ящик, заключавший в себе небольшой органчик, автомат, который от времени до времени произносит: «Раззорю!» и «Не потерплю!» Других слов этот градоначальник не знает.

Как ни смело в данном случае воображение Щедрина, как ни фаитастичен на первый взгляд этот образ, на самом деле он верно отражает действительность. Конечно Щедрин вовсе не собирался уверять читателя в том, что существует человек, у которого вместо головы на плечах помещается такого рода автомат.

Но образ градоначальника-«органчика» с художественно-сатирической наглядностью и убедительностью указывал на то, что вся политика царской бюрократии сводилась к угнетению и ограблению народа. Царские чиновники противились всему, что могло бы повести к политическому, духовному и материальному прогрессу. «Не потерплю!» — заявляли они. Царизм нес крестьянству поборы, бедность, нищету.

Как ни бесновалась реакция, великий писатель твердо и неизменно шел вперед своей дорогой, предрекая неминуемую гибель тех, кто строил свое господство на крови и страданиях народа и торжествовал временную победу.

Сатира Щедрина выражала уверенность писателя в победе нового, в победе правого народного дела над всем старым и реакционным.

Такая героическая стойкость могла сложиться только в итоге большого и трудного жизненного опыта.

II

Михаил Евграфович Салтыков, впоследствии, в 50-х годах, избравший себе псевдоним «Н. Щедрин», родился 27 января 1826 года в помещичьей семье, в глухом углу Тверской губернии (ныне Калининской области).

Жестока, бесчеловечна была обстановка, окружавшая Салтыкова с детских лет. Об этом великий писатель ярко рассказывал в главе «День в помещичьей усадьбе» из хроники «Пошехонская старина», рисующей жизнь и быт крепостников-помещиков и их рабов в 30-х годах XIX века.

Праздность и пустомыслие отца, алчное приобретательство и скопидомство матери, жестокая повседневная издевка над человеческим достоинством эксплуатируемых рабов, лицемерие, царившее в семье, где дети разделялись на «любимчиков» и «постылых» (первые развращались подачками маменьки, вторые, стремясь «выслужиться», тщетно заискивали у родителей в чаянии лакомого куска), — таковы были обыденные, типические черты пошехонского помещичьего быта, которые Щедрин наблюдал в детстве.

Щедрин впоследствии так рассказывал о своих первых детских впечатлениях: «...знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут, кто именно, не помню, но секут как следует, розгою... Было мне тогда, должно быть, года два, не больше».

Заканчивая главу «День в помещичьей усадьбе», Щедрин задавал горький вопрос, в котором слышались глубокая обида и сердечная боль, испытанные им еще в детстве: «Кто поверит, что было время, когда вся эта смесь алчности, лжи, произвола и бессмысленной жестокости, с одной стороны, и

придавленности, доведенной до поругания человеческого образа, — с другой, называлась... жизнью?!»

В семье Салтыковых дети мечтали о том, чтобы самим со временем стать большими помещиками. Дети, как говорит Щедрин, «не сочувствуют мужичку и признают за ним только права терпеть обиду, а не роптать на нее. Напротив, поступки мамаши, по отношению к крестьянам, встречают их безусловное одобрение».

Братья Михаила Евграфовича Салтыкова и пошли по стопам своих родителей. Он же стал беспощадным врагом того класса, к которому принадлежал по своему рождению.

Чрезвычайно рано проснулась в Салтыкове наблюдательность и острая восприимчивость. Жизнь запечатлевалась в сознании будущего художника в конкретных образах. В Салтыкове пробуждались возмущение, сознательная мысль, в уме его складывалось «нечто устойчивое, свое».

Это «свое», эти первые зачатки будущих убеждений и взглядов уже не давали мириться с окружающим произволом и дикостью. Все с большим вниманием и сочувствием всматривался Салтыков в жизнь крепостных, которых помещики-крепостники и за людей не считали. Из разговоров взрослых, из слухов, распространявшихся среди дворни, он узнавал о крестьянских волнениях и бунтах, он начинал понимать, что крепостной гнет вызывает у крестьян «неудержимую потребность отмщения». И даже среди покорных, забитых дворовых слуг порой встречались такие яркие и сильные характеры, которые гнету и произволу своих хозяев умели противопоставить глухую, но непреклонную решимость неповиновения и предпочитали смерть послушанию. О такой борьбе «ничтожной рабы с всевластной госпожой» рассказал впоследствии Щедрин в «Мавруше-новоторке» (глава из «Пошехонской старины»), показав, что в неравном столкновении этом нравственная сила и правда были на стороне первой.

Мечта об иной, лучшей жизни уже манила даже таких забитых и истерзанных крепостных мальчиков, какие изображены в рассказе «Миша и Ваня»; и хотя мечта эта выражалась еще наивно и принимала религиозный характер, все же одно сознание невыносимости окружающего гнета будило возмущение и протест.

В рассказе «Развеселое житье» мы видим крепостного раба, ставшего бунтарем и охваченного неугасимой ненавистью к барству и крепостничеству. Его заветная мечта — уничтожение власти господ.

Этот подъем народного гнева и возмущения будущий великий писатель ощутил рано и чутко.

Одновременно с протестом против крепостничества в юном Салтыкове росло патриотическое чувство. Его волновали рассказы участников Отечественной войны 1812 года — этой «народной эпопеи», память о которой, по словам Щедрина, «перейдет в века и не умрет, пока будет жить русский народ».

Мечта о патриотическом подвиге и героическом самоотвержении запала в душу подрастающего мальчика.

Рано он почувствовал свое призвание.

Еще в первом классе Царскосельского лицея, когда Салтыкову шел всего тринадцатый год, его уже охватило «решительное влечение к литературе». Юный лицеист много читал и стал писать стихи. Как вспоминал впоследствии Щедрин, за чтение и писание стихов он в лицее «претерпевал многие гонения, так что должен был укрывать свои стихотворные детища в сапоге, дабы не подвергнуть их хищничеству господ воспитателей, не имевших большого сочувствия к словесным упражнениям».

Лицейское начальство считало самостоятельное духовное развитие, любовь к литературе и любознательность вредными для будущих чиновников, которых готовило это учебное заведение. Но Салтыков упорно шел по выбранному им пути. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, стихотворения его начали печататься в журналах.

В 40-е годы Салтыков постепенно приобщается к богатой и напряженной идейной жизни русской передовой интеллигенции, возглавленной великим критиком и публицистом В. Г. Белинским.

Белинский воспитывал русскую демократию в духе революционной стойкости и патриотической преданности родине, и этим традициям Салтыков остался верен на всю жизнь.

Под влиянием Белинского формируются основы мировоззрения Салтыкова как демократа и социалиста, закаляется его характер.

Вскоре Салтыкову на деле пришлось доказать свою верность передовым идеалам.

За напечатание повести «Запутанное дело», проникнутой революционными идеями, глубоким сочувствием ко всем угнетенным, Салтыков по приказу Николая I был сослан в Вятку. Здесь он провел почти восемь томительных лет (1848—1855).

Это было трудное испытание.

В Вятке (ныне город Киров), в то время захолустном и грязном городке, Салтыкову пришлось служить вместе с наглыми и невежественными чиновниками, для которых взяточничество было непременным законом и основой их существования. Здесь не с кем было поделиться своими мыслями, найти нравственную поддержку.

Служба была для Салтыкова вынужденной. Обязательная служба рассматривалась царским правительством как средство превращения дворянского интеллигента, склонного предаваться вольнолюбивым мечтаниям, в покорного обывателя и верноподданного. И действительно, многие дворянские сынки забывали в такой обстановке о тех высоких идеалах, которым они еще недавно клялись в верности. Они погрязли в обывательской тине — в карточной игре, сплетнях и пьянстве.

Салтыков и в Вятке сумел сохранить, по его собственному выражению, «чистоту мысли» — окружавшая его грязь не проникла в его ум и сердце. Лишенный возможности продолжать свою литературную деятельность, Салтыков и в этих условиях не перестает быть писателем: в уме он уже обдумывал свое новое произведение. Провинциальные наблюдения, знакомство с народной жизнью обогатили его духовный мир и художественную память. Он стремился создать такую картину русской жизни, которая явилась бы обвинительным актом против самодержавно-крепостнического строя. Когда в середине 50-х годов, в обстановке начавшегося общественного подъема, Салтыков получил возможность вернуться в Петербург, он необычайно быстро в течение нескольких месяцев, создал свое первое крупное литературное произведение — «Губернские очерки».

В этой книге, доставившей автору широкую известность и популярность и высоко оцененной Чернышевским и Добролюбовым, Щедрин изобразил многочисленные типы дорефор-

менного провинциального царского чиновничества — от мелких подьячих до начальствующих в губернии бюрократов. Произведение это наглядно раскрывает то «всевластие русских чиновников, полное бесправие народа перед ними»[1], о котором писал В. И. Ленин.

В «Губернских очерках», в первом и втором рассказах подьячего, Щедрин рисует мелких чинуш, стоящих на низших ступенях бюрократической лестницы, и вместе с тем воочию показывает, каким страшным бичом для народа были эти грабители, кровопийцы, мздоимцы, мучившие крестьян, видевшие в народе только источник своих преступных доходов, изощрявшиеся в гнусных проделках, мошенничествах и вымогательствах и отвратительно хваставшие ими. Глубоким сочувствием к народу проникнуты «Губернские очерки».

Начиная с «Губернских очерков» все более ширится поле наблюдений Щедрина, крепнет и развивается его художественное дарование, идеи и образы приобретают замечательную последовательность и силу, все более смелым становится его художественное воображение. Щедрин вырастает в одного из подлинно великих представителей русской революционно-демократической литературы.

По словам вождя русской революционной демократии Н. Г. Чернышевского, «в каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя. Честно имя его между лучшими, и полезнейшими, и даровитейшими детьми нашей родины».

Щедрин стал видным деятелем революционной демократии уже в период реакции, наступившей после 1861 года, когда крестьянское движение пошло на убыль, когда в 1862 году Чернышевский был арестован, а затем заточен. Царское правительство широко применяло в этой обстановке жестокие репрессии. Многие интеллигенты смалодушничали, отошли от революционного лагеря, примкнули к либерализму.

Щедрин же духовно закалялся в атмосфере все обостряющейся политической борьбы.

С 1863 года Некрасов и Щедрин возглавляют «Современник», журнал русской революционной демократии. В этом

[1] В. И. Ленин. Сочинения, изд. 5-е, т. 22, с. 84.

журнале произведения Щедрина печатаются рядом со знаменитым романом Чернышевского «Что делать?»

После того как царское правительство закрыло «Современник», Щедрин и Некрасов в 1868 году становятся редакторами нового демократического журнала — «Отечественные записки».

В «Отечественных записках» были напечатаны такие классические произведения великого русского писателя, как «История одного города», «Господа Головлевы», «За рубежом», ряд сказок и многие другие.

Гений Щедрина достигает своего полного расцвета, его творческое своеобразие и художественное богатство проявляются теперь в полной мере.

Щедрин сочетал в себе великого художника, глубокого мыслителя и замечательного публициста. Так же, как и его учитель Белинский, Щедрин был боевой натурой. Ему была по душе острая журнальная полемика против всего косного и реакционного.

Все великие русские писатели ставили в своих произведениях вопрос о судьбах родины, о том, какими путями русский народ сумеет завоевать свое светлое будущее. Порою их взгляды расходились, но для того чтобы ответить на этот вопрос, все передовые писатели с удивительной глубиной и проницательностью изучали русскую жизнь, прослеживали рост русского человека, подъем народного самосознания.

Для Щедрина той стороной русской деятельности, которую он исследовал наиболее пристально и которая интересовала его больше всего, была политическая жизнь России; взаимоотношения между различными классами, угнетение крестьянства чиновниками, крепостниками и буржуазией, рост в народных массах политической сознательности.

Щедрин всегда говорил о самых животрепещущих вопросах, и не только говорил о них, но раскрывал сущность их в ярких и живых художественных образах. Глубоко понял и изобразил Щедрин характер пореформенных общественных отношений.

Бесстрашно продолжая дело Чернышевского и Добролюбова в новой, все более усложнявшейся обстановке, требовавшей решения новых задач, Щедрин последовательно и

беспощадно боролся с самодержавием и крепостничеством, разоблачая подлость и предательство либералов.

Но в пореформенное время и особенно начиная с 70-х годов, когда капиталистическое развитие, рост промышленности в России шли все более быстрыми шагами, Щедрину пришлось направить оружие своей сатиры также и против нового врага.

Этим врагом была русская буржуазия, которая, хищнически обирая народ, добивалась все большего влияния среди правящих классов, полюбовно договариваясь с царскими чиновниками и дворянами-помещиками.

Щедрин ненавидел и презирал буржуа, хищника и собственника, который ради наживы готов надругаться над своей жертвой, готов торговать своим отечеством. Либералы славословили буржуазию. Они уверяли, что господство буржуазии откроет перед Россией новую, светлую эпоху. Щедрин же называл помещика-крепостника «ветхим человеком», а буржуа — «новым ветхим человеком».

В своих произведениях 60—80-х годов Щедрин нарисовал широкую и верную картину классовой, политической борьбы того времени.

В «Истории одного города» в лице глуповских градоначальников Щедрин пригвоздил к позорному столбу самодержавие и его бюрократию, с их дикостью, произволом, всевластием и угнетением, которые они несли народу. Щедрин показал, какую огромную роль еще играли вековые крепостнические пережитки, косность и застой в пореформенной русской жизни.

В. И. Ленин писал, что и после реформы «народ весь, целиком, остается таким же крепостным у чиновников, как крестьяне были крепостными у помещиков» [1].

В ряде своих произведений Щедрин обнажил также неослабевающую дикую, звериную ненависть помещиков-крепостников к крестьянину в пореформенное время.

Обобрать, ограбить крестьянина, высосать из него кровь, довести его до полного разорения и нищеты — об этом денно и нощно помышляет Иудушка Головлев.

Иудушка, обобравший своих родных, становится крупным помещиком пореформенного времени. Используя крепостни-

[1] В. И. Ленин. Сочинения, изд. 5-е, т. 2, с. 285.

ческие пережитки, он обирает крестьян, никогда не переставая притом лицемерить.

Рисуя в «Господах Головлевых» судьбу этой помещичьей семьи, ее распад, Щедрин указывал тем самым на неминуемый конец господства помещиков-крепостников в России.

Но типы Головлевых, и в особенности Иудушки, имели и гораздо более широкое значение. Щедрин воплотил в Иудушке черты, общие для всех господствовавших и эксплуататорских классов России и Западной Европы: их алчность, подлость, предательство и лицемерие, их враждебность народу, их внутреннюю опустошенность и обреченность.

Иудушка не достоин называться человеком — это кровопийца, хищник, паразит, чуждый каким бы то ни было живым человеческим интересам.

Щедрин эти же черты подметил во французской буржуазии, которую он высмеял в известном своем произведении «За рубежом».

Одновременно Щедрин в ряде своих произведений рисовал типы русской буржуазии — деревенских кулаков и мироедов — Разуваевых и Колупаевых, — а также разного рода столичных хищников — Деруновых и других.

Щедрин поднимал гнев народных масс не только против самодержавно-крепостнического строя царской России, но и против того общественного порядка, при котором господствует буржуазия. В своей книге «За рубежом» Щедрин показал, что буржуазный порядок также враждебен народу. Французский буржуа в изображении Щедрина — это сытый и тупой эксплуататор, который бросает голодному пролетарию объедки со своего стола.

В народных массах, указывал Щедрин, зреет грозное недовольство.

Щедрин мечтал о будущей подлинно свободной, демократической и социалистической России, не знающей ни крепостнического гнета, ни буржуазной эксплуатации.

Щедрин постоянно и настойчиво ставил вопрос о тех качествах и чертах, которые необходимо прививать русскому человеку для того, чтобы он в состоянии был успешно бороться за будущую свободную Россию. Великий писатель воспитывал сильного, стойкого, цельного человека, способного на героическую самоотверженность, на творческий труд ради блага родины.

Щедрин глубоко уважал труд. Он был убежден в том, что трудом строится жизнь народа. Щедрин сам был великим тружеником, не выпускающим пера из рук даже во время предсмертной болезни. Но Щедрин проводил резкое различие между трудом рабским, беспросветным, отупляющим и трудом творческим, сознательным, вдохновляющим, служащим великим прогрессивным целям.

Щедрин хорошо понимал, что проклятые условия, в которых люди жили при царизме, при господстве помещиков и капиталистов, мешали человеку проявить себя творчески. Большинство работало ради того, чтобы не умереть с голоду, уйдя целиком в «мелочи жизни», в крохотные личные интересы, не умея и не имея возможности принять активное участие в общественной жизни. Однако Щедрин считал, что человек, живущий сознательной жизнью, не должен, не имеет права подчиняться этим гнетущим «мелочам».

Щедрин в рассказе «Чудинов» показал студента, отдающего все свои силы учебе, но позабывшего о том, что «ученье для ученья» — бесплодно. Человек всегда должен помнить, что «существует общество, родная страна, дело, подвиг», — говорит Щедрин. Мысль о том, что участвуешь в большом общем деле, вдохновляет, удесятеряет силы; наоборот, труд и ученье, замыкающие человека в его скорлупе, обессиливают и истощают.

Основную задачу передовых людей Щедрин видел в революционизировании народа, в том, чтобы идеи демократии и социализма нести в народ. И он неутомимо искал путей к этому.

В «Приключении с Крамольниковым» Щедрин говорил о задаче писателя — «огнем своего сердца зажигать сердца других». С мукой и тоской спрашивал Щедрин, изображая «хозяйственного мужичка», погрязшего в мелочах своего существования: «Каким образом уверить его, что не о хлебе едином жив бывает человек?»

Особенно мучительными были последние годы жизни великого сатирика. В 1884 году, в разгар крепостнической реакции царствования Александра III, правительство закрыло «Отечественные записки», ответственным редактором которых после смерти Некрасова стал Щедрин.

Тем самым великому писателю были поставлены новые препоны в его стремлении регулярно беседовать с читателем,

влиять на него. Но Щедрин до самой своей смерти (1889) оставался на боевом посту. Голос великого писателя звучал громко и властно, идейное влияние его неизменно росло. Особенно жадно прислушивалась к слову своего мудрого наставника молодежь.

Настойчиво прививал Щедрин «идеалы будущего», идеалы демократии и социализма русскому юношеству.

Проницательной, страстной и нежной заботой о подрастающем поколении, о его духовном и идейном росте проникнута глава «Дети. — По поводу предыдущего» из «Пошехонской старины», законченной незадолго до смерти великого писателя.

Щедрин заявляет, что с разрешением «детского вопроса», то есть вопроса о том, какое направление примет идейно-политическое воспитание детей, «тесно связано благополучие или злополучие страны».

Бдительно призывал великий писатель бороться против реакционных влияний, могущих духовно искалечить целые поколения. И вместе с тем со страстной силой утверждал он свою веру в русскую молодежь как «устроителей грядущих исторических судеб» родины, ее светлого будущего.

К этому славному грядущему неизменно был прикован взор Щедрина.

III

Среди произведений Щедрина особое и очень важное место занимают его «Сказки». Большая часть их написана в 80-х годах, и они как бы подводят итог всему творчеству великого писателя.

В чрезвычайно сжатой, но яркой, выпуклой и широко доступной форме подытоживает здесь великий писатель те наблюдения, которые он делал в течение всей своей литературной деятельности. На наглядных и простых примерах ставит он здесь вновь все вопросы развития русской жизни, которые поднимал в прежних своих произведениях.

Каждый из сказочных образов Щедрина обобщает собой длинный ряд общественных типов, созданных великим сатириком в более ранних произведениях.

Так, либерал из одноименной сказки воплощает в себе в наиболее рельефном и заостренном виде те подлые черты, которые присущи многочисленным либералам различных оттенков и профессий, ранее появлявшимся на страницах щедринских сатир.

Начиная с 60-х годов великий писатель неустанно преследовал либералов, этих идеологов буржуазии, договаривавшихся с самодержавием и крепостниками за счет народа. Щедрин сдирал с них маску громких, «хороших», но пустых и лживых фраз, которую они так любили носить.

По словам В. И. Ленина, «...Щедрин беспощадно издевался над либералами и навсегда заклеймил их формулой: «применительно к подлости» [1]. Именно в сказке «Либерал» сатирик последовательно, со всей силой неопровержимой логики показал, как либерал постепенно и неизбежно катится по наклонной плоскости трусости, лицемерия, предательства и в конце концов сознается в том, что единственным принципом, определяющим его поведение, является формула «применительно к подлости».

В значительной части своих «Сказок» Щедрин своеобразно и глубоко использует красочные образы, созданные народом в его поэтическом творчестве.

Народные сказки, пословицы и поговорки в наивной и фантастической форме отражали действительность и представления народа. Щедрин сближает жизнь и сказку, заостряет юмор и сатиру народа, вводит в сказку злободневные политические мотивы, пронизывает ее острой мыслью и вместе с тем сохраняет все обаяние народно-сказочной формы.

Так, например, в народных сказках и поверьях медведь, Михаил Потапыч Топтыгин — таково его шутливое прозвище — выступает как владыка, воевода леса.

Уже Некрасов в своих «Стихотворениях, посвященных русским детям» нарисовал образ «генерала Топтыгина»: ревущего медведя принимают за рассерженного генерала. Некрасов тем самым обнажил социальную суть народных представлений о медведе — воеводе, начальнике: народ видит и чувствует, как много бессмысленного и дикого, звериного, «медвежьего» в действиях и повадках царского чиновничест-

[1] В. И. Ленин. Сочинения, изд. 5-е, т. 7, с. 134.

ва, всякого рода «начальства», высших представителей которого крестьяне называли «генералами».

У Некрасова медведь еще только похож на генерала, у Щедрина же медведь становится представителем царской власти, которую в сказке олицетворяет лев. Щедрин наполняет политическим содержанием образ Топтыгина, выражающий дикую жестокость политики царской бюрократии с ее жаждой «кровопролитиев» и враждебностью народу, гнев которого неуклонно растет.

В сказочно-фантастическую форму Щедрин вкладывает огромное реалистическое содержание. С этой точки зрения, характерна одна из самых замечательных щедринских сказок — «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».

На первый взгляд может показаться, что действующие лица этой сказки поставлены автором в невероятное, фантастическое положение — они почему-то внезапно, «по щучьему велению, по моему хотению», оказываются на необитаемом острове. Но фантастика Щедрина была по самой сути своей глубоко реалистической.

«Два генерала» воплощают в себе тунеядство, паразитизм эксплуататоров. Эти отставные чиновники («генералами» в царской России называли и высших гражданских чиновников) весь свой век жили за счет народа, угнетая его. Теперь они проводят свое время в полной праздности, получая от правительства большую пенсию.

Щедрин заставляет «двух генералов» оказаться на необитаемом острове, для того чтобы обнажить их социальную сущность, больше того — весь характер социальных отношений царской России.

Самодержавно-крепостническое государство и классы, интересы которых оно защищает, и после крестьянской реформы (ведь мужик, изображенный Щедриным, не крепостной!) угнетают и обирают крестьян — таков вывод великого сатирика.

Щедринское сатирическое преувеличение и заострение наполнено подлинно реалистическим содержанием. «Генералы» убеждены в том, что «мужик везде есть, стоит только поискать его», то есть что народ должен отдавать им плоды своего труда, должен проливать ради них пот и кровь. Эта власть над мужиком, которой обладают «генералы», убедительно

иллюстрирует силу крепостнических пережитков во всем общественном строе пореформенной России.

А. В. Луначарский совершенно справедливо назвал Щедрина «мастером такого смеха, смеясь которым. человек становится мудрым». Смеясь над двумя чванными и беспомощными «генералами», читатель учился глубже понимать характер социальных отношений в царской России, видеть непримиримую противоположность интересов, существовавшую между господствующими классами с одной стороны и народными массами — с другой. Двум «генералам» кажется, что их взаимоотношения с мужиком незыблемы, и поэтому они не чувствуют никакой благодарности к своему спасителю, наградив его по возвращении домой всего пятаком серебра да рюмкой водки. Но смех, пронизывающий щедринскую сказку, указывает на то, как духовно и нравственно убоги, безобразны и презренны, а потому и исторически обречены изображенные Щедриным «генералы», то есть эксплуатирующие классы. Ничтожным и ограниченным празднолюбцам, принадлежащим к социальной верхушке царской России, Щедрин противопоставляет неутомимого в труде крестьянина, мастера на все руки, быстрого, ловкого, смекалистого.

Охваченный страстным негодованием против всех врагов русского народа, Щедрин непоколебимо был убежден в их исторической обреченности, в грядущей победе народа.

Ненавидя, Щедрин умел трезво и глубоко изучать этих врагов передовой России, обнажать все самые слабые их стороны, выставлять на всенародный позор их убожество и уродство и, больше того, — смеяться веселым смехом, выражавшим идейную победу великого писателя над всем старым и отживающим.

Чернышевский говорил, что, смеясь над безобразным, «мы становимся выше его... Комическое побуждает в нас чувство собственного достоинства...»

Высмеивая «генералов», Щедрин стремился пробудить революционный дух народа. Рассказывая, что мужик дал себя связать веревкой, которую он сам же свил, Щедрин указывает тем самым на политическую темноту, несознательность народных масс того времени, покоряющихся своим эксплуататорам и собственными руками строящих те тюрьмы, куда царское правительство заключало крестьянских

вожаков и лучших представителей русской интеллигенции. С болью и горечью видел Щедрин эти черты политической забитости и пассивности, но он был глубоко убежден в том, что народ сумеет подняться на революционную борьбу.

В «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил», как и в других своих сказках, Щедрин углубляет мысль русских народных сказок. Глупость и жадность барина, ум и сметливость мужика — один из обычных мотивов русских народных сказок. В этот мотив Щедрин вложил новое политическое содержание.

На примере «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» можно также уяснить себе сущность так называемой «эзоповской манеры» Щедрина. Цензура не позволяла сатирику прямо ставить в своем творчестве политические вопросы, обличать самодержавие, и Щедрин применял поэтому эзоповскую, то есть иносказательную, манеру (по имени древнегреческого баснописца Эзопа).

Как будто Щедрин рассказывает всего лишь сказку о каких-то двух отставных чиновниках и одном мужике, на самом деле в это произведение вложено огромное и обобщающее социальное содержание — вопрос о взаимоотношениях народа и господствующих классов.

Как будто Щедрин рассказывает всего лишь облаченный в сказочную форму бытовой эпизод, рисующий, как два генерала заставили одного мужика работать на себя, — на самом же деле речь идет о всей политике угнетения и обирания крестьянства, проводимой царскими чиновниками и помещиками.

В своих «Сказках» он обличал все господствующие классы. В сказках «Медведь на воеводстве» и «Орел-меценат» Щедрин направил острие своей сатиры против царизма с его жестокостью и дикостью.

В сказке «Соседи» — рассказал о том, какова суть волчьих законов, «планта» буржуазного общества, утверждающих эксплуатацию человека человеком и материальное неравенство. На примере Ивана Богатого и Ивана Бедного читатель видит, что буржуазные «свободы», о которых с восторгом писали либералы, на самом деле способствуют обогащению капиталистической верхушки и разорению народных масс.

Щедрин разоблачал также всяческую политическую и ду-

ховную дряблость, нерешительность, половинчатость, мягкотелость.

Социальные группы, обладающие этими качествами, Щедрин выставлял на всенародный позор, ибо они — вольно или невольно, прямо или косвенно — поддерживали дикий произвол самодержавия, власть помещиков и капиталистов.

Он создал целый ряд общественно-политических типов, воплощающих в себе покорность реакции, либеральную трусость, безыдейность, духовную бедность и ограниченность. Таков, например, премудрый пискарь — убогий и трусливый обыватель. Щедрин показывает, как жалка и бесплодна жизнь человека, целиком сосредоточившегося на мысли о спасении собственной шкуры и не знающего ни благородных и светлых мыслей, ни высоких, счастливых чувств, вдохновляющих на борьбу за правое дело.

Образ пискаря, как и другие образы рыб и животных в щедринских сказках, обладал огромным социально-политическим содержанием. Таких людей-пискарей среди тогдашней интеллигенции было великое множество. Трепеща перед произволом самодержавия, эти обыватели надеялись «отсидеться» в своих «норах», подальше от бурных событий революционной борьбы.

Напомним еще «самоотверженного зайца», стремившегося выслужиться перед волком, то есть перед тем, кто его мучил и терзал, или карася-идеалиста, который хотел уверить хищную щуку в неминуемом торжестве всеобщего согласия и добродетели...

Сказки эти были очень злободневны. Современники Щедрина, прочитав сказку о премудром пискаре, вяленой вобле или карасе-идеалисте, узнавали в этих «рыбах» людей, с которыми им приходилось повседневно встречаться в редакциях либеральных газет, в чиновничьих канцеляриях и конторах.

«Да ведь это настоящая вяленая вобла!» — говорили современники Щедрина о человеке, который, желая приспособиться к крепостнической реакции 80-х годов, отделался от «лишних мыслей», «лишних чувств» и «лишней совести», распоясался в своем подхалимстве и угодничестве и тем не менее оказался заподозренным в неблагонадежности, не пришелся ко двору «орлу-меценату» и «диким помещикам». Этим хозяевам старой России нужен был «верный Трезор»

с его собачьей преданностью своему господину, с его готовностью кидаться на всякого, покусившегося на хозяйское добро.

Но Щедрин был убежден в том, что русский человек духовно растет, что русский народ пробьется к сознательной и радостной жизни. В этом смысл замечательной сказки «Коняга». Мужик и Коняга освободят «сказочную силу» народа — их уделом станет свободный труд.

В пореформенное время, указывает Щедрин, расширяется кругозор крестьянина — многому его учит городская жизнь, скитания по России. В сказке «Путем-дорогою» беседуют двое крестьян, работающих в Москве каменщиками. Их мысль уже разбужена, ими владеет стремление дойти до корня, найти Правду, то есть тот путь, который поведет народные массы к светлому будущему. Щедрин уже видел, что растет русский пролетариат, хотя и не мог еще осознать его исторической роли.

В своих сказках Щедрин звал к революционной борьбе и молодую интеллигенцию. Подрастая, честный, бескорыстный юноша не может мириться с гнетом и эксплуатацией, он должен, не щадя себя, бороться со всем тем, что уродует, калечит жизнь людей, — таков смысл сказки «Дурак».

Суров и энергичен, крепок и ясен, полон страсти, мудрости и проницательного юмора язык «Сказок».

Вспомним «Конягу». Здесь бездельники-пустоплясы, похаживая вокруг труженика-коняги, пустословят иа его счет. Передавая болтовню пустоплясов, Щедрин подчеркнул лицемерную елейность их слога, свойственные им громкие, но пустые фразы, затуманивающие суть дела, хищнические стремления, прорывающиеся сквозь те вздорные поучения, которыми они досаждают Коняге.

А тусклым, наглым, пустым речам пустоплясов, зло, разоблачающе воспроизведенным Щедриным, в сказке противостоит мощный и живописный, полный напряженного раздумья и страстной убежденности язык самого великого писателя.

Средствами этого языка Щедрин создает величественную, суровую, мрачную и вместе с тем пронизанную несокрушимой верой в будущее картину «грозной, неподвижной громады полей», которая «словно силу сказочную в плену у себя

сторожит». Веско и прозорливо звучит щедринское слово в его раздумьях о судьбе Коняги.

Щедринские сказки написаны живым и образным языком народа, и притом так, что простые и ясные слова и образы служат здесь для выражения глубоких мыслей. Как будто Щедрин рассказывает старую сказку, но сказка эта пронизана большой философской мыслью.

IV

Свое огромное идейное значение классическое наследие Щедрина сохраняло и после смерти великого сатирика, оно сохраняет его и сейчас.

Щедрин умел создавать такие художественные образы, которые обобщали политику целых классов, больших общественных групп. Именно поэтому в сочинениях и выступлениях В. И. Ленина мы так часто встречаем образы, созданные великим русским писателем.

Ленин показал, что Иудушкино предательство и лицемерие свойственны не только крепостничеству, но и царской бюрократии, буржуазии и буржуазной интеллигенции, всем врагам демократии и социализма вплоть до Иудушки Троцкого.

Своим гениальным истолкованием щедринских образов Ленин указал на то, что сатирическое оружие великого русского писателя может быть использовано против всех паразитических классов капиталистического общества, что значение его непреходяще.

В наши дни в сатирических образах Щедрина раскрываются внутреннее ничтожество, историческая обреченность не только тех реакционных сил, против которых щедринская сатира была направлена непосредственно, но и их социальных политических и идейных наследников. В этом заключается подлинный размах щедринской сатиры, помогающей и сейчас изобличать империалистическую реакцию и ее идеологических лакеев.

Во всей мировой литературе XIX века нет другого писателя, который с такой убежденностью, проницательностью и прозорливостью, как Щедрин, сумел бы показать и доказать историческую обреченность и неизбежность гибели всякого

общественного строя, основанного на угнетении и эксплуатации народа.

Но Щедрин не только учит ненавидеть и презирать старое и обреченное — его заветы помогают также строить новую, счастливую, мирную жизнь.

У Щедрина, как и у других великих наших предшественников, советская молодежь учится чувствовать и сознавать, что только жизнь и труд, отданные большому народному делу, вдохновленные высокими идеалами, в состоянии дать человеку счастье и удовлетворение.

Читая произведения Щедрина, наша молодежь учится ненавидеть ложь и лицемерие, учится добру, гражданскому мужеству.

Я. Эльсберг

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

СКАЗКИ

Для средней школы

М. Е. Салтыков-Щедрин

РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ
СКАЗКИ

Отаетственный редактор
С. М. Туркоаа
Художественный редактор
В. В. Куприяноа
Технический редактор
З. П. Коренюк
Корректоры
К. Д. Немковская и Л. Л. Бубяова

Сдаио а набор 17/VIII 1976 г. Подпнсаио к печати 10/I 1977 г. Формат $60 \times 84^1/_{16}$. Бумага типографская № 2. Печ. л. 20. Усл. печ. л. 18,6. Уч.-изд. л. 16,89. Тираж 200 000 экз. Заказ № 360. Цена 69 коп. Ленинградское отделение ордена Трудоаого Красиого Знамени издательстаа «Детская литература», Ленинград, 192187, наб. Кутузова, 6. Калининскнй полнграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглааполнграфпрома Госкомяздата Совета Мниистров РСФСР. Калинии, проспект 50-летия Октября, 46.

Салтыков-Щедрин М. Е.

Р1 Рассказы, очерки, сказки. Состав. сборника и примеч. М. Полякова. Послесл. Я. Эльсберга. Рис. М. Таранова. Л., «Дет. лит.», 1977.

318 с. с ил. (Школьная б-ка.)

В сборнике собраны рассказы, сказки, отрывки из «Губернских очерков», «Пошехонской старины» и др.

С16

69к.